

ДЖОН РОНАЛЬД РУЭЛ ТОЛКИН

СКАЗКИ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Сказки Волшебной Страны
Джон Рональд Руэл Толкин

Аннотация
Джон Рональд Руэл Толкин. Сказки Волшебной Страны
Предисловие
Роверандом
Фермер Джайлз из Хэма
  Предисловие
  Фермер Джайлз из Хэма
«Приключения Тома Бомбадила» и другие стихотворения из «Алой книги»
  Предисловие
  1. Приключения Тома Бомбадила
  2. Бомбадил катается на лодке
  3. Призвание
  4. Две принцессы
  5. Как Житель Луны засиделся допоздна
  6. Как Житель Луны сошел с вышины
  7. Каменный тролль
  8. Перри-Прудовик
  9. Мьюлипы
  10. Олифант
  11. Фаститокалон

12. Кот
13. Невеста-тень
14. Клад
15. Колокол моря
16. Последний корабль
Кузнец из Большого Вуттона
Лист работы Ниггля
Приложение
Волшебная сказка
Происхождение
Дети
Фантазия
Исцеление, Бегство, Утешение
Эпилог
Примечания
Послесловие

Аннотация

Цикл «Стихи из Алой книги» повествует о приключениях Тома Бомбадила, известного персонажа «Хоббита», а также знакомит читателя с волшебным миром Средиземья: с гномами, троллями, эльфами и прочими странными созданиями – персонажами легенд Старой Англии, которых гений Толкина наделяет романтическими и комическими чертами.

Также в сборник вошла замечательная повесть-сказка «Роверандом», написанная Джоном Р. Р. Толкиным для его детей в 1925 году. После успеха «Хоббита», в 1937 году, она была подготовлена к печати, однако увидела свет лишь в 1998 году, когда автора уже не было в живых.

Джон Рональд Руэл Толкин
Сказки Волшебной Страны

J. R. R. Tolkien
TALES FROM THE PERILOUS REALM
Печатается с разрешения HarperCollins Publishers Limited (UK) и Andrew Nurnberg Literary Agency

© The J. R. R. Tolkien Copyrights Trust, 1949, 1962
© The Tolkien Trust, 1964, 1967, 1998
© Tom Shippey, 2008
© Перевод. О. Степашкина, 2024
© Предисловие, перевод и перевод стихов. С. Лихачева, 2025
© Перевод. Н. Шантырь, 2024
© Издание на русском языке AST Publishers, 2026

* * *

Фаэри — край опасный, есть там и ловушки для неосторожных, и темницы для чрезмерно дерзких <..>. Царство волшебной сказки обширно, глубоко и высоко, и много чем изобильно: водятся там всевозможные птицы и звери, есть там безбрежные моря и бессчетные звезды, зачаровывающая красота и вездесущее зло; радость и скорбь, острые, как мечи. Забредший в это царство, пожалуй, и вправе почитать себя счастливцем — но изобилие и необычайность увиденного сковывают язык путника, что тщится о нем поведать. А пока он там, не след ему задавать слишком много вопросов, а то ворота, чего доброго, захлопнутся и ключи потеряются.

Дж. Р. Р. Толкин[1]

[1] Примечания: 1

Отрывок из лекции «О волшебных сказках», прочитанной 8 марта 1939 года. Полный текст приводится в конце настоящей книги.

Предисловие

Мы не знаем, когда именно Толкин впервые обратился мыслями к Волшебной стране — к Опасному королевству Фаэри. В своем эссе «О волшебных сказках», приведенном в конце настоящей книги, он признается, что в детстве не слишком-то интересовался историями такого рода: помимо волшебных сказок ему нравилось еще много чего другого. «Истинный вкус» к ним «пробудила филология на пороге взросления; оживила и стимулировала его война». По всей видимости, это так и есть. Первое известное нам произведение Толкина, в котором проявился интерес к фэйри, это стихотворение под названием «Солнечный лес», написанное в 1910 году, когда Толкину было восемнадцать и он все еще учился в бирмингемской школе короля Эдуарда. К концу 1915 года, когда Толкин окончил Оксфордский университет и тотчас же вступил в армию, дабы сражаться в Великой войне, он сочинил еще несколько стихотворений: некоторые из них содержали ключевые элементы его будущей подробно разработанной мифологии Фаэри. А

к концу 1917 года, в течение которого Толкин либо находился в военном госпитале, либо ждал, чтобы врачи признали его годным к воинской службе, он написал первый вариант сказаний, что спустя шестьдесят лет будут опубликованы в составе «Сильмариллиона», и Средиземье, равно как и Эльфийский дом за его пределами, в воображении автора обрели отчетливую форму.

Что было дальше — это долгая история, и сегодня мы знаем о ней куда больше, нежели прежде; но некогда сам Толкин подытожил ее сжато и выразительно в притче «Лист работы Ниггля». Принято считать, что произведение это во многом автобиографично и Толкин-писатель — неисправимый «ерундист»[2], как уверял он сам, — изобразил самого себя в образе Ниггля-художника. Ниггль, как рассказывается в притче, работал над множеством разных картин, но одна из них все больше поглощала его внимание. Сперва художник нарисовал отдельный лист, а затем — дерево; обычное дерево стало великим Древом; позади него в просветах между ветвями

[2] Примечания: 2

Говорящее имя «Ниггль» образовано от английского глагола to niggle — заниматься ерундой, размениваться на мелочи, дотошно и придирчиво возиться с мелкими деталями. В письме № 236 Толкин называет себя niggler by nature — прирожденным «ерундистом». — *Примеч. пер.*

постепенно проступала целая страна, «леса, уходящие за горизонт, и горы, увенчанные снегом». Ниггль, как пишет Толкин, «утратил интерес к прочим своим полотнам. А часть из них просто взял и прикрепил к краям главной картины».

И снова перед нами — довольно точное описание того, чем Толкин занимался в 1920-х, 1930-х и 1940-х годах. В течение этих тридцати лет он продолжал работу над вариантами сюжетов «Сильмариллиона», время от времени сочинял и стихи (иногда даже не указывая авторство), придумывал и другие истории, не всегда их записывал и в ряде случаев поначалу рассказывал их только своим детям. Так возник и «Хоббит»: действие сказки происходило в Средиземье, но эльфийской истории Сильмарилей она касалась лишь мимоходом; если воспользоваться современным термином, это был спин-офф — ответвление от основного сюжета. Следующим таким ответвлением, теперь уже от «Хоббита», стал «Властелин Колец»: толчком к его написанию послужило то, что издатель настойчиво требовал продолжения к «Хоббиту». А Толкин, в точности как Ниггль, стал брать написанное прежде и «прикреплять к краям главной картины». Том Бомбадил, возникший как имя для детской игрушки, в 1934

году проник в печать в качестве главного героя длинного стихотворения, а затем стал, пожалуй, самой загадочной фигурой в мире «Властелина Колец». В эту грандиозную эпопею оказались втянуты и другие стихи: и шуточные, как «Олифант» Сэма Гэмджи, впервые опубликованный в 1927 году, и торжественные и печальные, такие как стихотворный вариант сказания о Берене и Лутиэн, спетый Бродяжником на Непогодной вершине: его текст, в свою очередь, восходит к стихотворению, опубликованному в 1925 году, и основан на истории, написанной еще раньше.

Что именно явилось первоначальным «листом» толкиновского вдохновения и что он разумел под «Деревом», мы доподлинно не знаем, хотя «леса, уходящие за горизонт», пожалуй, наводят на мысль об энтах. Но эта небольшая аллегория лишний раз подтверждает мысль, высказанную Толкином в другом месте, а именно: «волшебные сказки», кто бы их ни рассказывал, они не столько о фэйри, сколько о Фаэри, то есть о Волшебной стране как таковой, об Опасном крае. Действительно, Толкин утверждал, что на самом деле существует не так уж много историй *про* фэйри или даже про эльфов, и подавляющая их часть — скромность не позволяла ему уточнить: «кроме

тех, которые написаны самим Толкином», — не особо интересна. Большинство действительно хороших волшебных сказок посвящены «*приключениям* людей в Опасной Стране либо на ее сумеречных границах». И снова это — очень точное описание толкиновских сказаний о Берене на границах Дориата, о Турине, который сражается с вражескими отрядами в окрестностях Нарготронда, или о Туоре, который спасается бегством из разоренного Гондолина. К понятию «фэйри» Толкин относился крайне неоднозначно. Само слово *fairy* [фэйри] он терпеть не мог как французское заимствование — ведь наряду с ним существует английское слово *elf* [эльф]; и не выносил викторианский культ феечек — миниатюрных, прелестных, беспомощных созданий, зачастую насквозь фальшивых, — которых так охотно задействовали в назидательных сказочках для детей. Действительно, эссе «О волшебных сказках» (текст лекции, прочитанной в 1939 году в честь Эндрю Лэнга, собирателя волшебных сказок, в расширенном виде был опубликован в 1945 году в составе сборника, посвященного памяти Чарльза Уильямса) ставит целью поправить научную терминологию и улучшить вкусы широкой публики. Толкин считал, что разбира-

ется в вопросе куда лучше и имеет дело с более древними, глубинными и важными смыслами, нежели были известны викторианцам, даже таким эрудированным, как Эндрю Лэнг.

Но даже если Толкин не жаловал фэйри, он был всем сердцем предан Фаэри, стране «драконов, да гоблинов, да великанов», где, по словам Бильбо Бэггинса, можно послушать «про спасенных принцесс да про удачливых сыновей вдовы». Сказки и стихотворения, вошедшие в эту книгу — многоплановые, самобытные, независимые, — показывают, как Толкин опробует разные подходы к тем или иным волшебным землям. Это, по сути дела, те самые полотна, которые Ниггль *не* «прикрепил к краям главной картины». Они интригующе намекают на направления, которые можно было бы разработать подробнее: такова, например, поздняя ненаписанная история Малого Королевства фермера Джайлза. Эти произведения позволяют нам взглянуть под совершенно иным ракурсом на толкиновское воображение в контексте целого периода, растянутого по меньшей мере на сорок лет, от зрелости и до старости. Кроме того, так уж вышло, мы хорошо знаем, как возникла каждая из этих историй.

Сказка «Роверандом», увидевшая свет только

в 1998 году, была придумана более чем семью-десятью годами раньше с одной-единственной конкретной целью: утешить маленького мальчика, потерявшего игрушечную собачку. В сентябре 1925 года семья Толкинов, отец, мать и трое сыновей, Джон (в возрасте восьми лет), Майкл (в возрасте пяти лет) и малыш Кристофер, поехали на отдых в приморский городок Файли в Йоркшире. На тот момент Майкл души не чаял в своей игрушечной собачке и повсюду таскал ее с собой. Он, его отец и старший брат отправились на пляж; отвлекшись на игру, Майкл положил собачку на камешки, но когда за ней вернулись, то уже не нашли: собачка была белая, с черными пятнышками, и высмотреть ее на белом галечном взморье так и не удалось. Отец с детьми обшарили весь пляж, и в тот день, и на следующий, а потом на берег обрушился шторм и дальнейшие поиски стали невозможны. Чтобы утешить Майкла, Толкин придумал историю, в которой оловянный Ровер вовсе не игрушка, а настоящий песик, превращенный в игрушку рассерженным колдуном. Потом игрушечный пес встречает на пляже дружелюбного волшебника, и тот отправляет его в разные путешествия, чтобы тот смог снова стать настоящим псом и воссоединить-

ся со своим былым хозяином, вторым из трех мальчиков. Как и все толкиновские истории, эта разрасталась по мере рассказывания, была записана и дополнена несколькими иллюстрациями самого Толкина, вероятно под Рождество 1927 года, и обрела законченную форму примерно тогда же, когда и «Хоббит», в 1936 году.

Помимо взморья в Файли, где Ровер встречает песчаного волшебника Псаматоса, в «Роверандоме» есть три основных места действия: светлая сторона Луны, где стоит башня Человека-на-Луне, темная сторона, куда спящие дети приходят по лунной дорожке поиграть в долине снов, и подводные владения морского царя, куда отправился сердитый колдун Артаксеркс, получив назначение на пост Пан-Атлантического и Тихоокеанского Мага, или ПАМа для краткости. На Луне и на дне моря Ровер подружился с лунным псом и морским псом: обоих звали Роверами, поэтому ему пришлось взять себе имя Роверандом. Эти трое постоянно попадают в переделки, дразнят Великого Белого Дракона на Луне, пробуждают Морского Змея на дне океана, и тот, заворочавшись, вызывает шторм, подобный тому, что разметал гальку в Файли. А гигантский кит Юин как-то раз прокатил Роверандома за

Моря Смутных Отражений и за пределы Островов Магии, откуда видна сама Прародина Эльфов и свет Фаэри — именно здесь Толкин ближе всего подошел к тому, чтобы присоединить и эту историю к своей масштабной мифологии. «Мне бы не поздоровилось, если бы нас заметили!» — заявляет Юин, поспешно ныряя; и больше мы ничего не узнаем о предполагаемом Валиноре.

Восклицание «Мне бы не поздоровилось!» прекрасно передает настрой этого раннего, шуточного произведения. Приключения песиков забавны, их «перевозчики» — чайка Мью и кит Юин — довольно безобидны, вот разве что немного важничают, и даже появляющиеся в повествовании три волшебника вполне добродушны и не так уж и компетентны (если взять, например, Артаксеркса). Тем не менее там есть намеки на пласты более древние, темные и глубокие. Великий Белый Дракон, которого песики дразнят на Луне, — не кто иной, как Белый Дракон Англии из легенды о Мерлине, непрестанно воюющий с Красным Драконом Уэльса; Морской Змей напоминает Змея Мидгарда, который убьет Тора в день Рагнарека; морской песик Ровер вспоминает своего хозяина-викинга, который очень похож на знаменитого короля Олава Трюг-

гвасона. «Роверандом» вобрал в себя и миф, и легенды, и историю. Не забывал Толкин и о том, что в Опасном краю должны быть какие-никакие опасности — даже в сказке для детей. На темной стороне Луны водятся черные пауки, а также и серые, готовые замариновать маленькую собачку и утащить в свою кладовку, а на светлой стороне обитают «очень коварные мухи-меченосцы… стеклянные жуки с челюстями наподобие стальных капканов; и бледные единорожки с жалом, разящим словно копье… и самые ужасные из всех лунных насекомых — летучие тенемыши». Не говоря уж о том, что на обратном пути из долины, в которую дети попадают во сне, «в трясинах» таилось «множество премерзких, наводящих ужас существ», которые, если бы не защита Жителя Луны, «мгновенно бы сцапали нашего песика». Еще есть морские гоблины и целый список бедствий, вызванных Артаксерксом, который выбросил в мусор все свои заклинания. Толкин уже успел оценить эффект намека и недоговоренности — впечатление от историй, которые так и остались нерассказанными, от существ и сил (таки, как Некромант в «Хоббите»), которые только маячат на границе поля зрения. Вопреки логике, время, затраченное на мелкие детали, даже когда они

ни к чему не ведут, это не просто «пустая возня» в духе Ниггля.

В «Фермере Джайлзе из Хэма» также преобладает шутливый тон, но это юмор иного толка, более взрослый и даже академичный. И снова история начиналась как сказка, экспромтом рассказанная детям Толкина: его старший сын Джон вспоминает, что услышал ее в каком-то варианте, когда семья пряталась под мостом от грозы, вероятно, уже после того, как они переехали в Оксфорд в 1926 году. (В одном из ключевых эпизодов истории дракон Хризофилакс появляется из-под моста и обращает в бегство короля и всю его армию.) В первом записанном варианте в роли рассказчика выступает «папочка», а ребенок перебивает его и спрашивает, что такое «мушкетон». История постепенно дополнялась и расширялась, в окончательной форме была прочитана перед неким Оксфордским студенческим обществом в январе 1940 года и наконец увидела свет в 1949 году.

Первая шутка заключается уже в заглавии — их два, одно на английском, второе на латыни. Толкин утверждает, будто перевел историю с латыни, и в своем «предисловии» имитирует что-то вроде научного введения с его покровительственно-менторским тоном. Вымышленный

редактор очень невысокого мнения о латыни вымышленного рассказчика: для него история ценна главным образом тем, что проливает свет на происхождение топонимов; он свысока поглядывает на тех наивных простецов, которых «может заинтересовать сама личность главного героя и его приключения». Но сказка берет реванш. Издатель с одобрением отзывается об «исторических анналах» и «историках времен короля Артура», но упоминает про «чередование войн и перемирий, радостей и горестей», а это — фактически дословная цитата из первой лэссы рыцарского романа «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» — источника столь же изобилующего чудесами, сколь и неисторичного. Как наглядно свидетельствует эта история, правда в том, что «народные песенки», над которыми редактор подсмеивается, куда более достоверны, нежели ученые комментарии, к ним прилагающиеся. В «Фермере Джайлзе» древняя традиция всегда и везде одерживает верх над новомодной ученостью. «Четыре Мудрых Грамотея из Оксенфорда» дают определение мушкетону, и определение это взято из Большого Оксфордского словаря, у которого (во времена Толкина) последовательно сменилось четыре главных редактора. Однако

мушкетон Джайлза определению не поддается — и тем не менее срабатывает. «Простые тяжелые мечи» при дворе короля «вышли из моды»: один из таких клинков король и отдает Джайлзу за ненадобностью. Но меч этот — «Хвосторуб» (или на латыни Caudimordax), и, вооружившись им, Джайлз приходит в восторг, несмотря на предстоящую встречу с драконом, ведь он так любит древние предания и героические песни, которые тоже уже не в моде.

Из моды они, может, и вышли, да только никуда не делись. Всю жизнь Толкина завораживали сохранившиеся до наших дней реликты давних эпох: слова, фразеологизмы, поговорки и даже истории и стихи, дошедшие из доисторического прошлого, которые передавались из уст в уста, естественно, зачастую искажались и в неузнаваемом виде стали частью современного коллективного повседневного опыта. Самоочевидный пример — волшебные сказки: на протяжении многих веков они сохранялись благодаря не ученым, но старушкам бабушкам и нянькам. А еще — детские стишки-прибаутки. Откуда они взялись? Старый король Коль фигурирует в «предисловии» Толкина (будучи уместно перенесен в ученую псевдоисторию), а Хризофилакс, вы-

ползая из-под моста, цитирует «Шалтая-Болтая». Еще две переработанные детские рифмованные прибаутки вошли в сборник «Приключения Тома Бомбадила» как стихотворения про «Жителя Луны». Загадки — тоже реликты прошлого, их сочиняли еще англосаксы (по сей день сохранилось больше сотни таких образчиков), ими забавляются и современные школьники. А еще есть популярные присловья, которые всегда открыты для переосмысления — кузнец «Весельчак Сэм» придумывает несколько таких пословиц в «Фермере Джайлзе», как и Бильбо во «Властелине Колец» с его афоризмом «Чистое золото не блестит», — но не исчезают совсем. А самая расхожая разновидность реликтов прошлого — это имена и названия. Они нередко восходят к глубокой древности, значение их зачастую забывается, но они по-прежнему живы и властно дают о себе знать. Толкин был убежден, что отголоски древних героических имен сохраняются даже в его собственной семье, и «Фермер Джайлз» был отчасти вдохновлен желанием «осмыслить» местные топонимы Бакингемшира — Тейм и Уормингхолл.

Однако величайшие из реликтов прошлого — это мифы, и в «Фермере Джайлзе» самая важная из одержанных побед — это победа мифического

над повседневным. Ибо кому судить, что есть что? Молодые и глупые драконы приходят к выводу: «Так значит, рыцари — это мифические существа!.. Мы всегда так думали». Глупый, чересчур цивилизованный двор предпочитает приторно-сладкий Поддельный Драконий Хвост настоящему хвосту. А потомки придворных (подразумевает Толкин) в конце концов и легенды про настоящих драконов перестанут слагать или читать и заменят их жалкими подражаниями — в точности как Повар Нокс в «Кузнеце из Большого Вуттона» со своим пошлым, ограниченным представлением о Королеве Фей и стране Фаэри. Джайлз тверд, решителен и справедлив в своем обхождении как с королем и придворными, так и с драконом, хотя не следует забывать о помощи священника — человека грамотного, который выгодно выделяется на фоне всех прочих ученых умников, — и о невоспетой героине сказки, серой кобыле. Она всегда знает, что делает, даже когда фыркает, увидев совершенно ненужные Джайлзовы шпоры. Джайлзу нет нужды притворяться рыцарем.

Сборник «Приключения Тома Бомбадила» тоже возник благодаря подсказкам родственников Толкина. В 1961 году тетушка Толкина Джейн Нив

предложила ему издать небольшую книжицу про Тома Бомбадила, которую такие, как она, могли бы позволить себе купить на рождественские подарки. В ответ Толкин составил подборку стихотворений, написанных в разные времена за предшествующие сорок лет или больше. Из этих шестнадцати произведений большинство уже были когда-то опубликованы, в том числе и в малоизвестных журналах, в 1920-х и 1930-х годах, но в 1962 году Толкин, воспользовавшись случаем, основательно их переработал. К тому времени уже вышел и обрел широкую популярность «Властелин Колец», и Толкин сделал то же, что Ниггль со своими ранними картинами: вставил ранние зарисовки в общую раму более крупного полотна. Он снова воспользовался приемом высокоученого редактора: на сей раз им стал некто, обладающий доступом к «Алой книге Западного предела», коллективному хоббитскому сочинению, из которого, как считается, и был почерпнут «Властелин Колец». На сей раз этот редактор решил подготовить к изданию не основную историю, но «маргиналии» — средневековые писцы действительно частенько делали разнообразные записи и пометы на полях более солидных трудов.

Такой прием позволил Толкину включить в сборник ни на что не претендующие шуточные стихи, такие как «Кот» (№ 12), написанный уже в 1956 году для внучки Джоанны; или стихотворения, никак не связанные со Средиземьем, такие как «Мьюлипы» (№ 9), — изначально оно было опубликовано в «Оксфорд мэгезин» в 1937 году, с подзаголовком: «Строки, сочиненные в ожидании ответа под дверью высокопоставленного ученого мужа», — или произведения, со Средиземьем все-таки связанные, хотя теперь автор питал на их счет некоторые сомнения. Так, например, «Приключение» (№ 3) впервые было написано по меньшей мере тридцатью годами раньше и с тех пор подверглось переработке и превратилось в песню, которую Бильбо поет во «Властелине Колец», но фигурирующие в нем имена и названия никак не соответствовали эльфийским языкам, разрабатываемым все подробнее. Потому редактор-Толкин объясняет, что, хотя стихотворение и принадлежит авторству Бильбо, он, по-видимому, написал его вскоре после того, как удалился на покой в Ривенделл, в ту пору, когда мало что знал об эльфийской поэтической традиции. К тому времени, как Бильбо сочинил вариант, вошедший в книгу «Властелин Колец», он уже

разбирался в эльфийском стихосложении куда лучше, хотя Бродяжник все равно считал, что от добра добра не ищут. Несколько других произведений — как, например, два стихотворения про троллей (№ 7 и № 8) или «Олифант» (№ 10) — приписываются Сэму Гэмджи, чем и объясняется их несерьезный характер. Два стихотворения про Жителя Луны (№ 5 и № 6), оба датирующиеся 1923 годом, наглядно подтверждают интерес Толкина к детским стишкам-прибауткам: в воображении Толкина это — древние полноценные законченные стихотворения, до наших дней дошедшие в искаженном, обрывочном виде; именно такие были бы популярны в его вымышленном Шире.

Однако первые два и последние три стихотворения в подборке свидетельствуют, что Толкин прорабатывал свой материал куда глубже и серьезнее. Заглавное стихотворение (№ 1) тоже уже публиковалось в «Оксфорд мэгезин» — в 1934 году, но второе (№ 2), «Бомбадил катается на лодке», возможно, было написано еще раньше. Как и Роверандом, Бомбадил впервые возник как имя для игрушки одного из сыновей Толкина, но вскоре утвердился как своего рода воплощение английской провинции и многовековых традиций сельских жителей: он могущественен,

своенравен — не без того! — но совершенно равнодушен к власти. В обоих стихотворениях Тому постоянно угрожают, Нежить — всерьез, ондатр и хоббиты, истыкавшие стрелами его шляпу, — в шутку; его поддразнивают зимородок, и пеночка, и те же хоббиты. Том в долгу не остается и обычно одерживает верх над насмешниками, но если первое стихотворение заканчивается на торжествующей и благостной ноте, в финале второго ощущается горечь утраты: Бомбадил не вернется.

Последние три стихотворения все представляют собою радикальную переработку ранних вариантов и стали куда мрачнее по тематике. «Клад» (написанный еще в 1923 году) описывает то, что Толкин в «Хоббите» назовет «драконьей хворью»: жадность и собственничество, что подчиняют себе одного за другим эльфа, и гнома, и дракона, и героя, и всех их приводят — как Торина Дубощита в «Хоббите» и эльфийского короля Тингола Серого Плаща в «Сильмариллионе» — к смерти. «Последний корабль» — наглядная иллюстрация того, как в душе Толкина боролись два стремления: с одной стороны — желание избежать смертного удела и отправиться в Неувядаемые земли подобно Фродо, а с другой стороны

— понимание того, что это не просто невозможно, но по сути нежелательно: правильнее было бы повернуть назад и прожить свою жизнь как Сэм Гэмджи. Может, оно и правильно, но, как обнаруживает Арвен, выбор этот горек, поскольку необратим. Наконец, «Колокол моря» напоминает нам, почему Опасная страна так опасна. Те, кто побывал в ней, подобно лирическому герою стихотворения, знают, что остаться им не дозволят, но по возвращении их одолевает мучительное ощущение утраты. Как говорит Сэм Гэмджи о Галадриэли, обитатели Фаэри, возможно, зла и не желают, но они все равно опасны для простых смертных. Тот, кто с ними повстречается, прежним уже не будет. С учетом толкиновской «редакторской» рамки, пусть лирический герой и не отождествляется с самим Фродо, хоббит-переписчик, который назвал стихотворение Frodos Dreme[3], выразил тем самым страх, вызванный в Шире не вполне понятными событиями Войны Кольца, равно как и (в реальности) чувства самого Толкина — боль утраты и горечь подступающей старости.

Эти темы звучат все отчетливее в последней

---

[3] Примечания: 3
Сон Фродо (*ср.-англ.*). — *Примеч. пер.*

опубликованной Толкином сказке «Кузнец из Большого Вуттона». Она возникла благодаря просьбе издателя в 1964 году написать предисловие к новому иллюстрированному изданию «Золотого ключа» за авторством викторианского писателя Джорджа Макдональда. (Толкин высоко отзывался об этом произведении в своем эссе «О волшебных сказках» почти за двадцать лет до того.) Толкин согласился, приступил к работе над предисловием, написал несколько страниц и начал иллюстрировать свои рассуждения о неожиданных отблесках Фаэри историей про повара, который пытается испечь пирог для детского праздника. На этом он отложил предисловие и более к нему не возвращался — и вместо того написал сказку. Ее доработанный вариант был прочитан перед большой аудиторией в Оксфорде 28 октября 1966 года, а в следующем году историю опубликовали.

Название у сказки подчеркнуто простенькое, проще даже, чем «Фермер Джайлз из Хэма», и сам Толкин отмечал, что оно наводит на мысль о старомодной сказочке для школьников. Однако топоним «Вуттон» [Wootton], для Англии совершенно обычный, является говорящим: некогда все имена заключали в себе какой-то смысл. Он

означает “городок в лесу”, и уже вторая фраза подтверждает, что Вуттон находился «посреди густого леса». Леса и рощи, от Мирквуда до Фангорна, для Толкина были очень важны; одно из их постоянных (и реалистичных) свойств состоит в том, что в лесах людям случается сбиться с пути и заплутать. По-видимому, именно это и случилось с жителями Большого Вуттона или по крайней мере с многими из них: они немного тщеславны, звезд с неба не хватают и довольствуются малым: их в первую очередь занимают еда и питье; это не самые дурные люди, хоть и ограниченные. А вот Кузнец представляет собою исключение. На детском празднике, который устраивают в деревне раз в двадцать четыре года, он проглатывает звезду, и эта звезда становится его пропуском в Фаэри (здесь Толкин использует написание *Faery*, в отличие от своего обычного варианта *Faërie*). Далее в сказке рассказывается о жизни Кузнеца, описываются некоторые из его видений и приключений в Волшебной стране, а также и повторяющиеся деревенские празднества, пока не наступает срок Кузнецу отдать звезду, чтобы ее запекли в пирог и она перешла к какому-то другому ребенку. В последний раз покидая Фаэри, Кузнец понимает, что «на этот раз его путь ведет

к утрате». Он в том же положении, как и лирический герой «Колокола моря», хотя, в отличие от него, легче смиряется со своей участью. Эта история — «прощание с Волшебной страной».

Вовсе не значит, что Кузнец потерпел неудачу. Благодаря пропуску в Иномирье он в реальном мире изменился в лучшую сторону и своей жизнью отчасти помог ослабить в Вуттоне «железное кольцо обыденности» и «адамантовое кольцо убежденности»: все, что стоит знать, уже и без того известно (как писал Толкин в комментариях к своей собственной сказке). А звезда неожиданным образом перешла дальше и пребудет впредь. Однако и пошлость по-прежнему сильна: главный конфликт сюжета — это противостояние между Альвом — посланцем из Фаэри в реальный мир, в то время как Кузнец путешествует в противоположном направлении, — и Ноксом, предшественником Альва на должности деревенского Мастера Повара. Нокс воплощает в себе многое из того, что Толкин терпеть не мог в реальной действительности. Грустно, что у самого Нокса настолько ограниченное представление о Фаэри или о том, что таится глубоко в чаще, за пределами будничного мирка деревни, но то, что Нокс отрицает наличие воображения у кого бы

то ни было еще и пытается свести детей к своему уровню, — непростительно. Пирог он представляет себе не иначе как приторно-сладким, а фэйри — как слащаво красивеньких. Этой безвкусице противостоят видения Кузнеца: грозные эльфийские воины, возвращающихся из сражений у Темных Границ, Королевское Древо, Ураган и плачущая береза, танцующие эльфийские девы. В конце концов Нокса повергает в страх его ученик Альв, представ перед ним в своем истинном обличии — как король Фаэри; но образ мыслей Нокса не меняется. Именно за ним в сказке остается последнее слово, большинство обитателей Вуттона об уходе Альва не слишком-то горюют, а звезда переходит из семьи Кузнеца в семью Нокса. Если Кузнец, и Альв, и Фаэри и оказали какое-то влияние на деревню, проявится оно нескоро. Но, вероятно, так уж устроен мир.

То есть *наш* мир устроен именно так. В «Листе работы Ниггля» Толкин изображает свое ви'дение некоего иного мира, в котором есть место и для Средиземья, и для Фаэри, и для всех других сокровенных желаний сердца. Тем не менее, хотя эта притча представляет собою «божественную комедию» и заканчивается смехом, сотрясающим основы мироздания, начало ее омрачено

страхом. В нескольких письмах Толкин рассказывал, что вся эта история от начала и до конца привиделась ему во сне и он тут же ее записал (где-то между 1939 и 1942 годом — здесь свидетельства разнятся). Это тем более правдоподобно, поскольку такие кошмары являются нам всем. Студентам накануне экзамена снится, что они проспали; ученым, которым предстоит делать доклад, снится, что они выходят на кафедру, а текста выступления в руках нет и в голове пусто. А в основе «Листа работы Ниггля» со всей очевидностью лежит страх *так и не закончить начатого.* Ниггль знает, что срок его ограничен: его «дедлайн» — это со всей очевидностью смерть, путешествие, которое предстоит всем нам; он пишет картину, которую отчаянно хочет завершить, но он все откладывает и откладывает дело в долгий ящик, а когда наконец энергично принимается за работу, приключаются разные события, его отвлекающие. Потом он заболевает; появляется Инспектор, который видит в его картине лишь кусок холста, пригодный для ремонта крыши; художник начинает спорить; входит Водитель и сообщает, что Нигглю пора в путь и взять с собой ничего нельзя, кроме маленькой сумочки, которую тот прихватывает в последний

момент. Но даже ее Ниггль забывает в купе, а когда спохватывается, поезд уже ушел. Словом, час от часу не легче: такого рода кошмары всем нам хорошо знакомы. И в случае Толкина нетрудно вообразить, чем сон подсказан. К 1940 году он проработал над мифологией «Сильмариллиона» более двадцати лет, но ничего из этих материалов не было опубликовано, кроме как россыпь стихотворений и «спин-офф» — «Хоббит». Толкин писал «Властелина Колец» начиная с Рождества 1937 года, и эта работа тоже продвигалась медленно. Его кабинет был битком набит набросками и черновиками. Можно также предположить, что, подобно большинству преподавателей, он считал свои многочисленные административные обязанности досадной помехой, хотя Ниггль (как, вероятно, и Толкин) пристыженно признаёт, что легко отвлекается на что угодно и времени своего не ценит.

Умение сосредоточиться на работе и правильно распределять время — вот чему Нигглю предстоит научиться в Работном Доме: большинство критиков сходятся на том, что это — некий вариант Чистилища. И Ниггль получает свою награду — обнаруживает, что в Ином мире мечты сбываются: перед ним оказывается его Дерево, куда

лучше нарисованного и лучше даже, чем художнику представлялось в воображении, а за ним видны Лес и Горы, которые он только начинал про себя придумывать. И однако ж там есть еще над чем потрудиться и что улучшить, а для этого Ниггло нужно работать рука об руку со своим соседом Пэришем, который в реальном мире, как казалось, вечно его отвлекал. Воплощение их совместного ви'дения признают очень полезным местом для выздоравливающих даже Голоса, которые судят людские жизни; но и тогда это только преддверие к замыслу гораздо более великому, о котором смертные могут лишь догадываться. Но надо же с чего-то начинать. Как говорит Королева Фей в «Кузнеце»: «Пусть хотя бы куколка напоминает о Волшебной Стране», и лучше грезить о Фаэри, нежели закрывать глаза на то, что за будничным миром повседневности есть нечто большее.

В конце концов, в «Листе» представлены два финала, один — в Ином мире, другой — в мире, который Ниггль покинул. Иномирный финал исполнен радости и смеха, но в реальном мире надежда и память обречены на гибель. Великое полотно Ниггля с изображением Дерева «пускают в дело» — используют для того, чтобы залатать

дыру в крыше; обрывок картины с изображением одного-единственного листа попадает в музей, но музей сгорает дотла, и Ниггль оказывается совсем позабыт. Последнее, что про него говорят, это: «А я и не знал, что он красками баловался»; и по всей видимости, будущее — за Советником Томпкинсом с его взглядами касательно практического образования и — не забываем, что история написана самое позднее в начале 1940-х, — касательно уничтожения нежелательных элементов общества. Если для нас и есть лекарство, то это — «дар», говорит Толкин, подчеркивая, что Ниггль употребляет слово «в его прямом смысле». Или — если воспользоваться другим словом, обозначающим то же самое, — «благодать».

Таким образом, «Лист работы Ниггля» заканчивается и тем, что Толкин в эссе «О волшебных сказках» называет «*дискатастрофой*… горем и неудачей», и тем, что он считает «высшей функцией» волшебной сказки и *евангелия*, «благой вести», которая стоит за нею, и это — «эвкатастрофа», «внезапный “поворот к лучшему”», «внезапная, чудесная благодать», которая обнаруживается у братьев Гримм, в современной волшебной сказке и в наивысшей мере — в собственных толкиновских «Сказках Волшебной

страны». В среднеанглийской поэме «Сэр Орфео», которую Толкин подготовил к печати в 1943–1944 годах (в виде брошюрки без указания авторства, экземпляров которой, что характерно, почти не сохранилось), бароны утешают управляющего, которому только что сообщили о смерти его господина: «…And telleth him hou it geth, / It is no bot of mannes deth». «Уж так повелось, — говорят они, — ничем тут не поможешь»; или, как Толкин передал смысл последней строки в своем переводе, опубликованном посмертно в 1975 году, «death of man no man can mend» — «смерть человеческую никто из людей исправить не может». Бароны сочувствуют утрате, намерения у них самые добрые, но при этом они смотрят на вещи здраво: так уж действительно заведено от века. Но на сей раз поэма доказывает их неправоту, ведь Орфео жив и спас свою королеву из плена в Фаэри. Такой же «поворот» мы видим во «Властелине Колец»: после того, как Кольцо было уничтожено, Сэм рухнул наземь на склоне горы Рока, понимая, что смерть неизбежна, — и пришел в себя живым и невредимым: он спасен, и перед ним — воскресший Гандальв. В Волшебной стране царит радость, и на Темных границах тоже, радость тем более великая, что бросает вызов скорбям и

утратам реальной жизни — и побеждает.

Том Шиппи

Роверандом

1

Жил некогда маленький песик по кличке Ровер. Был он совсем юным и ни-и-ичегошеньки не знал! И он был так счастлив, играя своим желтым мячиком в залитом солнечным светом саду…

А иначе никогда не сделал бы он того, что он сделал.

Не всякий старик в потертых штанах непременно злой. Их носят дворники, что подбирают на улицах бутылки и кости (валяющиеся где попало), — они сами могут быть владельцами маленьких собак. Иногда их надевают садовники. А еще иногда — правда, совсем уж редко — в них ходят волшебники, слоняющиеся в выходной день и раздумывающие, что бы им такое сотворить.

Это был как раз волшебник. Он только что вошел в наш рассказ и задумчиво приближался к Роверу по садовой дорожке. На плечах его болтался старый лоснящийся пиджак, изо рта свисала старая трубка, а на голове топорщилась старая зеленая шляпа. И не будь Ровер столь занят облаиванием мячика, вероятно, заметил

бы он торчавшее позади из шляпы синее перо; и тогда, возможно, заподозрил бы он, что перед ним волшебник, — как заподозрила бы это любая другая тонко чувствующая маленькая собака. Но он перьев вообще никогда не видел.

Когда старик наклонился и поднял мяч (он в тот момент подумал: а не превратить ли его в апельсин? или в косточку? или в кусочек мяса?), пес заворчал и сказал:

— Положи на место! (без «пожалуйста»).

Разумеется, волшебник, будучи волшебником, прекрасно его понял и ответил в том же духе:

— Ну-ка, тихо, дурень! (тоже без «пожалуйста»).

И затем он положил мячик в карман — просто чтобы слегка подразнить пса — и отвернулся.

Мне ужасно неловко, но я вынужден сказать, что Ровер немедленно вцепился ему в брюки и выдрал из них приличный клок. Не исключаю, что он мог выдрать клок и из волшебника. Потому что тот внезапно снова обернулся, очень рассерженный, и крикнул:

— Идиот! Убирайся! И стань игрушкой!

Странные вещи начали происходить вслед за тем.

Ровер был собачкой очень маленькой, но тут

он вдруг почувствовал, что стал еще гораздо меньше. Трава чудовищно выросла и колыхалась где-то в вышине над его головой. И там, далеко-далеко, словно сквозь верхушки деревьев, увидел он гигантский, подобный солнцу, желтый шар, падающий на землю.

Он слышал, как защелкнулись ворота за уходящим, но увидеть его не смог. Попытался залаять, но издал лишь едва слышный писк, чересчур слабый, чтобы люди обратили внимание. Я думаю, на него не обратила бы внимания даже собака.

Он стал таким крошечным, что я уверен, если бы в тот момент мимо проходила кошка, она приняла бы Ровера за мышь и съела бы его. Тинкер бы съел. (Тинкером звали большущего черного кота, жившего в том же доме.)

При мысли о Тинкере Ровер перепугался не на шутку. Однако кошки тут же улетучились у него из головы, потому что сад, окружавший его, внезапно исчез, и он почувствовал, что его подхватывает порывом ветра и уносит куда-то. Когда же вихрь наконец стих, пес обнаружил, что лежит в темноте, зажатый среди каких-то тяжелых предметов. Так он и лежал — судя по его ощущениям, в душной коробке — очень долго и неудобно. Ему ужасно хотелось есть и пить, но

это было еще не самое худшее: он понял, что не может двигаться.

Вначале песик подумал, что не в состоянии двигаться, потому что плотно запакован, однако позже он сделал жуткое открытие: он вообще не мог шевелиться в дневное время. Вернее, мог, но с неимоверным усилием и только когда никто этого не видел. И лишь после полуночи на короткое время получал он возможность передвигаться и слегка вилять одеревенелым хвостом.

Он стал игрушкой. И из-за того, что вовремя не сказал «пожалуйста», теперь все время должен был сидеть на задних лапах и «служить», словно выпрашивая подачку.

Такую позу придал ему волшебник.

По прошествии времени, показавшегося ему очень долгим и мрачным, Ровер вновь попытался залаять — громко, чтобы услышали люди. Затем он попробовал укусить какую-нибудь из вещей в коробке — а там были глупые маленькие игрушечные зверушки; действительно игрушечные, из дерева и олова, а вовсе не такие заколдованные живые собачки, как Ровер… Тщетно: он не мог ни лаять, ни кусаться.

Но вот кто-то подошел и снял с коробки крышку, впустив в нее свет.

— Нам бы стоило утром выставить кое-каких зверей в витрину, Гарри, — произнес голос, и в коробку просунулась рука.

— А это что?.. — Рука ухватила Ровера. — Не помню, чтобы видел ее прежде. Откуда она в трехпенсовой коробке?.. Нет, ты когда-нибудь видел столь правдоподобную игрушку? Посмотри-ка на шерсть и глаза!

— Проставь на ней шесть пенсов, — сказал Гарри, — и помести на самом видном месте в витрине.

И вот там, в витрине, на самом солнцепеке бедный маленький Ровер должен был находиться все утро, весь день, почти до самого ужина; и все это время он был вынужден сидеть на задних лапах и делать вид, что заискивающе просит, хотя в действительности был очень зол.

— Я убегу от первых же людей, которые меня купят, — сообщил он другим игрушкам. — Я не игрушка и ни за что игрушкой не буду. Я — настоящий. Скорей бы уж меня купили… Ненавижу этот магазин — не торчать же мне всю жизнь в витрине!

— Зачем тебе двигаться? — удивились другие игрушки. — Мы же не двигаемся! Гораздо спокойней стоять просто так, не думая ни о чем.

Дольше отдыхаешь — дольше живешь. Так что помолчи, твоя болтовня мешает нам спать, а ведь впереди у некоторых из нас далеко не радужная перспектива…

Больше они разговаривать не хотели, и бедному Роверу сделалось совсем одиноко. И был он очень несчастен и очень раскаивался в том, что порвал брюки волшебнику.

Не могу сказать, имел ли к этому отношение волшебник, но женщина вошла в магазин именно в тот момент, когда Ровер чувствовал себя таким несчастным. Она увидела его в витрине и подумала, что эта прелестная маленькая собачка ужасно понравилась бы ее мальчику. У нее было трое сыновей, и один из них, средний, чрезвычайно увлекался коллекционированием собачек; особенно ему нравились маленькие черно-белые. Итак, она купила Ровера, и тот был завернут в бумагу и положен в корзину для покупок среди прочих вещей, купленных ею к чаю.

Вскоре Роверу удалось высвободить из бумаги голову. Пес чувствовал, что один из бумажных пакетов пахнет кексом, но обнаружил, что не может до него дотянуться, и от досады зарычал еле слышным игрушечным рыком. Одни лишь креветки услышали его и спросили, в чем дело.

Он рассказал им все, ожидая, что они будут очень ему сочувствовать, но они сказали только:

— А как бы тебе понравилось, если бы тебя сварили? Тебя варили когда-нибудь?

— Нет, насколько я помню, меня никогда не варили, — отвечал Ровер, — хотя меня время от времени купали, и это не очень приятно. Но я полагаю, что быть сваренным и вполовину не так ужасно, как быть заколдованным.

— Тогда тебя точно никогда не варили, — сказали они. — Это самое худшее, что только может случиться с кем бы то ни было. Мы краснеем от ужаса при одной лишь мысли об этом.

Ровер почувствовал себя уязвленным и потому заявил:

— Ну и ладно, все равно вас скоро съедят, а я буду сидеть и смотреть.

После этого креветкам нечего было сказать ему, и, предоставленный сам себе, он мог сколько угодно лежать и строить предположения, что за люди купили его.

Он вскоре узнал это. Его принесли в дом; корзину поставили на стол и вынули из нее все пакеты. Креветок сразу унесли в кладовку, Ровера же прямиком передали маленькому мальчику, для которого он был куплен. Тот понес его в детскую

и стал с ним разговаривать.

Если бы пес не был так сердит и слушал, что говорит ему мальчик, тот бы ему непременно понравился. Ведь мальчик лаял на самом лучшем собачьем языке, какой только ему был доступен, и знал он этот язык совсем не так плохо. Однако Ровер даже не пытался ответить. Он все думал о своей клятве убежать от первых же людей, которые его купят, и о том, как бы ему это сделать. И все время, пока мальчик поглаживал его и двигал по столу и по полу, он был вынужден сидеть на задних лапах и «служить».

Но вот наконец настала ночь, и мальчика отправили спать. Ровера, вынужденного все так же «служить», покуда тьма не сгустилась полностью, поставили на стул около кровати. Занавески плотно задвинули. А снаружи луна поднялась из моря и положила на воду свою серебряную дорожку, по которой можно дойти до края мира и дальше — разумеется, тому, кто умеет по ней ходить.

Отец, мать и трое сыновей жили у самого берега моря в белом доме, глядящем окнами поверх волн прямиком в никуда.

Когда мальчики затихли, Ровер распрямил свои усталые негнущиеся лапы и подал голос —

столь тихо, что не услышал никто, кроме старого безобразного паука в углу на потолке. Затем он спрыгнул со стула на кровать, а с кровати скатился на ковер и бросился вон из комнаты, вниз по ступеням, через весь дом…

Поскольку прежде он был живым, то умел бегать и прыгать намного лучше, нежели большинство игрушек ночью. Тем не менее путешествовать в таком виде оказалось ужасающе сложно и опасно: при его нынешнем росте спускаться по лестнице было равносильно тому, чтобы прыгать со стен, а уж забираться обратно…

И все напрасно. Разумеется, обе двери были заперты. И не было ни щели, ни дыры, в которую он мог бы пролезть.

Так бедный Ровер и не сумел убежать в ту ночь. Утро застало нашего усталого маленького песика сидящим на задних лапках и делающим вид, что «просит», на том самом месте около кровати, откуда он начал свой побег.

Обычно, когда выдавалось ясное утро, два старших мальчика любили, встав спозаранок, носиться до завтрака вдоль берега по песку. В тот раз, проснувшись и раздвинув занавески, они увидели солнце, выпрыгивающее из моря: все огненно-красное, с облаками на макушке,

оно как будто приняло холодную ванну и теперь вытиралось полотенцем. Мальчики быстренько вскочили, оделись и стремглав помчались гулять — вниз, с обрыва, на пляж, — и Ровер был с ними.

Когда мальчик, которому принадлежал Ровер, уже выбегал из спальни, взгляд его упал на комод, куда он, умываясь, поставил песика.

— Он просится гулять! — сказал мальчик и положил Ровера в карман брюк.

Но Ровер вовсе не просился «гулять», и уж определенно не в кармане брюк. Он хотел отдохнуть и набраться сил, чтобы подготовиться к следующей ночи, думая, что уж в этот-то раз он непременно найдет выход и убежит и будет бежать все дальше и дальше, пока не придет к своему дому, и саду, и желтому мячику на лужайке. У него было странное убеждение, что, если бы он только смог вернуться обратно на лужайку, все встало бы на свои места, чары развеялись — или, возможно, он бы проснулся и обнаружил, что все это было сном.

Итак, в то время как мальчики скатывались по каменистой тропе и носились по песку, пес пытался лаять и бороться, извиваясь в кармане. Можете себе представить, каково ему было —

ведь он едва мог пошевелиться!

И все же он делал что мог, и удача улыбнулась ему. В кармане лежал носовой платок, смятый и скомканный, и, карабкаясь по нему, Ровер умудрился высунуть наружу нос и принюхаться.

То, что он учуял и увидел, чрезвычайно удивило его. Он никогда прежде не видел моря и не знал его запаха, ведь деревушку, где он родился, отделяли от шума и запаха моря сотни и сотни миль…

И тут внезапно — именно в тот момент, когда он высунулся, — над самыми головами мальчиков пронеслась гигантская серо-белая птица, издающая звуки, которые могла бы издавать огромная крылатая кошка. Ровер так перепугался, что вывалился из кармана на мягкий песок.

И никто этого не услышал. Гигантская птица улетела, не обратив на его жалкий лай никакого внимания, а мальчики всё бежали дальше и дальше по песку, совершенно не думая о нем…

Поначалу Ровер был чрезвычайно доволен собой.

— Я убежал! Я убежал! — лаял он своим игрушечным лаем, который могли бы услышать разве что другие игрушки, а их там не было.

Потом он перекатился на бок и растянулся на

чистом сухом песке, все еще отдающем прохладой звездной ночи.

Однако когда мальчики исчезли вдали, спеша домой, и никто его так и не заметил, и он остался совсем-совсем один на пустынном берегу, он уже не чувствовал себя таким довольным. Берег был абсолютно пуст, если не считать чаек. Единственными отпечатками на песке, за исключением следов их когтей, были дорожки, прочерченные подошвами мальчиков: в то утро они выбрали для прогулки чрезвычайно отдаленную часть пляжа, куда заходили редко.

Да и вообще туда нечасто кто-либо заходил. Потому что, хотя песок там был чистый и желтый, а галька белая, а море синее-пресинее, с серебряной пеной в маленькой бухточке под серыми скалами, какое-то странное чувство возникало у всех, кому доводилось оказаться там, — за исключением тех моментов раннего утра, когда нарождалось солнце. Люди говорили, что в этом месте случаются странные вещи, иногда прямо средь бела дня. В вечернее же время в бухту во множестве заплывали русалки и русалы, а также крохотные морские гоблины, разгонявшие своих малюсеньких морских коньков по гребням волн и на всем скаку спрыгивавшие с них кто дальше

в пену у кромки воды, к самому подножию скал.

А причина такой странности была проста: в этой бухте жил старейший из всех песчаных колдунов — *псаматистов,* как зовет их морской народ на своем плещущем, брызгучем языке.

Псаматос Псаматидес было его имя. Во всяком случае, так он говорил и чрезвычайно ревниво относился к тому, чтобы оно произносилось должным о бразом…

При всем том был он стар и мудр, и странный народец всякого сорта приходил к нему, ибо он был превосходным магом и в придачу существом чрезвычайно добродушным (по отношению к тем, кто, по его мнению, этого заслуживал), хотя с виду и слегка желчным. Морской народ обычно неделями хохотал до упаду над его шутками на какой-нибудь из вечеринок при луне.

Однако днем найти его было непросто. Он любил закопаться, пока сияет солнце, поглубже в теплый песок, так, чтобы лишь кончик одного из его длинных ушей торчал наружу. Впрочем, будь даже оба его уха высунуты, большинство людей, подобных вам или мне, все равно приняли бы их просто за щепки.

Вполне вероятно, что старый Псаматос все знал о Ровере. И уж определенно он был знаком с вол-

шебником, заколдовавшим нашего пса, — ведь магов и волшебников на свете не так уж много, и они прекрасно знают друг о друге и следят за действиями друг друга, поскольку в частной жизни далеко не всегда являются друзьями.

Итак, Ровер одиноко лежал на мягком песке, чувствуя себя все более и более странно, а Псаматос — хотя Ровер и не видел его — подглядывал за ним из кучи песка, специально насыпанной для него предыдущей ночью русалками.

Однако песчаный колдун не говорил ничего. И Ровер не говорил ничего. И уже прошло время завтрака, солнце поднялось и раскалилось.

Ровер смотрел на море, спокойно шумевшее рядом, и вдруг его обуял чудовищный страх. Вначале он подумал, что это песок запорошил ему глаза, но потом понял, что не ошибся: море придвигалось все ближе и ближе, поглощая все больше и больше песка, волны становились всё выше и пенистей…

Прилив наступал. Ровер лежал как раз чуть ниже линии наивысшей его отметки — но ведь бедный пес совсем ничего об этом не знал! Он все больше приходил в ужас от происходящего и уже представлял себе, как бурлящие волны вплотную придвигаются к скалам и смывают его

в покрытое пеной море (что гораздо хуже, чем любое купание в мыльной пене).

И все это время он продолжал жалко «просить»...

Такое на самом деле могло произойти — но не произошло. Смею предположить, что Псаматос имел ко всему этому некоторое отношение: как мне представляется, заклятье, тяготевшее над Ровером, не так сильно действовало в той странной бухте, в непосредственной близости от резиденции другого мага.

Как бы там ни было, когда море подошло уже почти вплотную и Ровер уже почти обезумел от ужаса, мучительно пытаясь откатиться хоть немного повыше, он внезапно обнаружил, что может двигаться.

Нет, его величина не изменилась, но он больше не был игрушкой — он мог двигать всеми лапами быстро-быстро, как надо, хотя на дворе и стоял день! Он больше не должен был «служить», и у него была возможность бежать туда, где песок был более твердым! И еще: он мог лаять — не игрушечным, а настоящим, хотя и соответствовавшим его волшебной величине лаем!

Пес был в таком восторге и лаял так громко, что, если бы вы находились поблизости, вы бы

ясно услышали его голос — будто дальнее эхо, донесенное ветром холмов.

И тут внезапно песчаный колдун высунул из песка голову. Ростом он был с очень большую собаку и чрезвычайно уродлив. Роверу же при его нынешней величине он показался просто чудовищным. Пес даже на задние лапы присел и мгновенно прекратил лаять.

— По какому поводу такой шум, малыш? — сказал Псаматос Псаматидес. — В это время дня я сплю.

На самом деле он мог спать в любое время суток, если не происходило ничего, что могло бы доставить ему удовольствие — танец русалок в бухте, например (разумеется, с его личного разрешения). В таком случае он полностью вылезал из песка и сидел на самом краю скалы, откуда было лучше видно. В воде русалки очень грациозны, но когда они пытаются танцевать на берегу, стоя на хвосте… Псаматосу это представлялось очень забавным.

— В это время я сплю, — повторил он, поскольку Ровер не ответил. Но тот все молчал и лишь вилял хвостом, будто извиняясь таким образом.

— Ты знаешь, кто я такой? — спросил колдун. — Я — Псаматос Псаматидес, глава всех

псаматистов! — Он произнес это еще несколько раз, очень гордо и отчетливо, выговаривая каждую букву, и с каждым «Пс» из его носа выдувалось целое облако песку.

Ровер оказался почти погребенным под ним. Пес сидел такой перепуганный и такой несчастный, что песчаному колдуну стало его жалко. Он внезапно перестал смотреть свирепо и рассмеялся:

— Ты очень смешной, малыш! Нет, правда, песик, я не помню, чтобы когда-нибудь видел такую крохотную собачку.

И он снова засмеялся, а затем вдруг посерьезнел.

— Не поругался ли ты в последнее время с кем-нибудь из волшебников? — прищурив один глаз, спросил он почти шепотом. И выглядел он при этом таким дружелюбным и таким знающим, о ком идет речь, что Ровер рассказал ему все. Возможно, в этом и не было необходимости, потому что, как я уже говорил вам, Псаматос, вероятно, и так все знал. Тем не менее Ровер почувствовал себя гораздо лучше, рассказывая свою историю кому-то, кто казался таким понимающим и кто, вне всякого сомнения, обладал бо́льшим чувством смысла, чем обыкновенные игрушки.

— Это был волшебник что надо, — сказал колдун, когда Ровер завершил свой рассказ. — Старина Артаксеркс, судя по твоему описанию. Он родом из Персии. Но как это бывает иногда даже с самыми лучшими из волшебников, если они покидают свой дом — в отличие от меня, не делающего этого никогда, в один прекрасный день, возвращаясь к себе, он сбился с пути. Первый, кто ему попался, вместо Персии направил его в Першор[4]. С тех пор он так и живет в тех краях, лишь изредка устраивая себе каникулы, чтобы проветриться. Говорят, для старика он чрезмерно падок на сладкое. И обожает сливы: может съесть до двух тысяч в день. И чрезвычайно увлекается сидром. Гм… но это я так, к слову…

Тем самым Псаматос дал понять, что отклонился от основной темы.

— Вопрос в том, чем же я сумею тебе помочь?

— Я не знаю, — сказал Ровер.

— Ты, вероятно, хочешь домой? Боюсь, я не могу вернуть тебе твою прежнюю величину — во всяком случае, не испросив сначала разрешения у Артаксеркса. У меня нет сейчас охоты с ним ругаться. Хотя, думаю, отправить тебя домой я

---

[4] Примечания: 4

По-английски «Персия» и «Першор» звучат почти одинаково, так что немудрено, что «первый, кто попался» мог спутать. — *Примеч. пер.*

бы мог. В конце концов, Артаксеркс ведь всегда может услать тебя куда-нибудь снова, если ему так уж этого захочется. Впрочем, если он действительно сильно раздражен, то в следующий раз может заслать тебя в какое-нибудь гораздо худшее место, нежели магазин игрушек…

Роверу услышанное совсем не пришлось по вкусу, и пес рискнул сказать, что, если он вернется домой таким маленьким, его, наверное, не признает никто, кроме кота Тинкера, а ему вовсе не хотелось бы, чтобы Тинкер признал его в нынешнем виде.

— Что ж, прекрасно, — сказал Псаматос. — Тогда подумаем о чем-нибудь еще. А кстати, поскольку в данный момент ты опять настоящий, не хочешь ли ты что-нибудь съесть?

Прежде чем Ровер успел сказать: «Да, пожалуйста! ДА!! ПОЖАЛУЙСТА!!!» — на песке прямо перед ним возникли крошечная тарелочка с хлебом и мясной похлебкой и две крошечные косточки — именно того размера, который ему был нужен, и маленькая, доверху полная воды миска, на которой маленькими синими буквами было написано: «Пей, песик, пей». Он съел и выпил все и только потом спросил: «Как вы это сделали?.. Спасибо».

Мысль добавить «спасибо» осенила его внезапно, так как он вспомнил, что волшебники и существа подобного рода, похоже, весьма неравнодушны к таким вещам.

Псаматос только улыбнулся. Ровер же улегся на горячий песок и сразу уснул. И снились ему кости и кошки, которых он загонял на сливовые деревья и которые оборачивались волшебниками в зеленых шляпах, швырявшими в него гигантскими, похожими на мозговые кости сливами. А ветер дул ровно и мягко и наносил песок, засыпая Ровера чуть не выше головы…

Вот почему мальчики так и не нашли пса, хотя они еще раз специально спустились в бухту, когда малыш обнаружил свою пропажу. На этот раз с ними был их отец. И они искали и искали до тех пор, пока солнце не начало снижаться и не настало время ужина. Тогда отец забрал детей домой, ибо он слышал об этом месте слишком много странного и не мог позволить детям дольше там оставаться.

Спустя некоторое время мальчику купили обычную трехпенсовую собачку (в том же самом магазине). Но он так и не мог забыть свою маленькую «просящую» собаку, хотя и обладал ею совсем недолго.

Однако это было потом.

А сейчас вы можете представить его сидящим за чаем, очень печального, вообще безо всякой собаки…

…тогда как в это же время далеко-далеко оттуда некая старая дама — хозяйка Ровера, так дурно воспитавшая нашего пса в бытность его обыкновенной собакой нормального размера, — пишет объявление о пропаже щенка: *«…белый, с черными ушами, откликается на кличку Ровер…»*

…а сам Ровер спит себе на песке…

…в то время как Псаматос мало-помалу придвигается все ближе и ближе к нему, сложив свои коротенькие ручки на пухленьком животике…

2

Когда Ровер проснулся, солнце стояло очень низко. Тень от скал пролегла по песку. Псаматоса нигде не было видно.

Совсем близко от пса, поглядывая на него искоса, стояла большая морская чайка, и на какой-то миг Ровер испугался, что она собирается его съесть.

Но чайка произнесла:

— Добрый вечер! Я давно жду, когда ты проснешься. Псаматос сказал, что ты должен

проснуться к ужину, но сейчас уже гораздо позже.

— Скажите, пожалуйста, а что я должен делать, мистер Птица? — спросил Ровер очень вежливо.

— Меня зовут Мью, — сказала чайка, — и я заберу тебя отсюда, как только взойдет луна и появится лунная дорожка. Но перед этим нам надо еще кое-что сделать. Влезай-ка мне на спину — посмотрим, как тебе понравится летать.

Поначалу Роверу совсем не понравилось летать.

Это было еще терпимо, пока Мью держался близко к земле, скользя ровно и спокойно на недвижных, широко раскинутых крыльях. Но когда он пулей выстреливал вверх или мгновенно бросался из стороны в сторону, каждый раз под разным углом, или падал вниз внезапно и круто, будто собираясь нырнуть в море, маленький пес, у которого в ушах завывало от ветра, больше всего на свете мечтал очутиться опять в безопасности на твердой земле.

Он несколько раз сказал об этом, но в ответ услышал лишь: «Держись крепче! Мы еще и не начинали!»

Так они полетали недолго, и Ровер только-только начал привыкать — и немного уставать, как

вдруг: «Стартуем!» — вскричал Мью, и пес чуть не «стартовал» со спины. Потому что Мью как ракета взмыл ввысь и с огромным ускорением взял курс прямо по ветру.

Вскоре они были уже так высоко, что Ровер смог увидеть, как далеко-далеко за темными холмами солнце заходит прямо за край земли. Они устремили свой полет к гигантским черным скалам, так круто обрывавшимся в море, что нечего было и думать по ним карабкаться. Ничего не росло на их гладкой поверхности, покрытой каким-то белесым, тускло светившимся в сумерках налетом. У подножия гулко плескалось и хлюпало море. Сотни морских птиц ютились на узких скальных уступах. Одни перекликались скорбными голосами, другие сидели безмолвно, нахохлившись. Время от времени какая-нибудь из них вдруг срывалась со своего насеста, чтобы выписать в воздухе кривую перед тем, как нырнуть в море — такое далекое, что его волны казались сверху всего лишь морщинками.

Это было жилище Мью, и ему перед отлетом нужно было повидаться кое с кем из своего народа, и самое главное — со старейшими, самыми уважаемыми Черноспинными чайками: он должен был взять у них кое-какие послания. Итак,

он оставил Ровера на одном из уступов, гораздо более узком, нежели дверная приступка, и велел ему ждать и не сваливаться.

Можете быть уверены, что Ровер приложил все усилия к тому, чтобы не свалиться, с трудом удерживаясь под сильными боковыми порывами ветра, и что все это ему совершенно не нравилось. Он жался к самой поверхности скалы и поскуливал. Словом, это было ужасно неприятное место, никак не предназначенное для пребывания там заколдованных и одолеваемых заботами маленьких собачек.

Наконец отсветы солнца полностью растаяли в небе. С моря поднялся туман, и в сгущающейся тьме начали загораться первые звезды. И вот, оставив море далеко внизу, круглая и желтая, над туманом всплыла луна и проложила по воде сверкающую дорожку.

Вскоре возвратился Мью и подхватил Ровера, который уже начал было дрожать от страха. После холодной скалы перья птицы показались ему такими теплыми и уютными, что пес зарылся в них как можно глубже.

И вот Мью подпрыгнул высоко в воздух над морем, и все чайки сорвались со своих уступов и издали, прощаясь, пронзительный крик, в то

время как Мью с Ровером уже устремились прочь от берега вдоль лунной дорожки, протянувшейся теперь прямиком к темному краю мира.

Ровер ни в малейшей степени не представлял себе, куда ведет лунная дорожка, и был в тот момент слишком перепуган и возбужден, чтобы задавать вопросы. Однако он начал уже немного привыкать к тому, что с ним происходят необычные вещи.

По мере того как они летели над мерцавшим серебряным морем, луна поднималась все выше и выше и делалась все белее и ярче, до тех пор, покуда уже ни одна звезда не осмеливалась светить рядом с ней. И вот уже она одна-единственная сияла на востоке небосклона.

Было очевидно, что Мью летит по велению Псаматоса и туда, куда пожелал Псаматос; и, очевидно, Псаматос помогал Мью своей магией — ибо тот летел гораздо быстрее и ровнее, чем могут летать самые огромные чайки, даже когда они мчатся наравне с ветром. И тем не менее прошли целые столетия, прежде чем Ровер увидел что-либо еще, кроме лунного сияния и моря далеко внизу. И все это время луна становилась все больше и больше, а воздух все холодней и холодней.

Внезапно взгляд песика уловил нечто темное на краю моря. Пятно росло, пока наконец Ровер не понял, что это остров. Его ушей достиг разносящийся далеко над водой отзвук чудовищного лая, в котором смешались все его возможные оттенки: визг и вой, ворчанье и рычанье, огрызанье и хныканье, тявканье и скулеж, издевка и злоба, лицемерие и мольба… И среди всех голосов выделялся один, самый ужасающий — такой лай могла бы издавать гигантская голодная кровожадная ищейка во дворе дома людоеда. Шерсть у Ровера на загривке внезапно встала дыбом, и он подумал, что вот было бы здорово спуститься туда и полаять со всеми этими собаками, вместе взятыми… Но вовремя вспомнил, какой он маленький.

— Это Остров собак, — сказал Мью. — Или, иначе, Остров бездомных собак. Сюда попадают все бездомные собаки, которые того заслужили, и еще некоторые, которым просто повезло. Я слышал, для них это совсем недурное место. Они могут шуметь тут, сколько душе угодно: никто не закричит на них, не швырнет тяжелым предметом. Им очень нравится лаять вместе, и они наслаждаются этим замечательным концертом каждый раз, как взойдет луна. Мне говорили, на

острове есть костные деревья, плоды которых подобны мозговой кости с сочной сердцевиной. Когда плод созревает, он падает с дерева.

Но нет, мы летим не туда! Ты ведь понимаешь, что не можешь в полной мере называться собакой, хотя ты уже и не совсем игрушка. Честно говоря, полагаю, Псаматос хорошенько поломал голову, прежде чем решил, что с тобой делать, когда ты сказал, что не хочешь домой.

— Куда же мы летим? — спросил Ровер. Он огорчился, что не сможет поближе познакомиться с Островом собак, особенно когда услышал о костных деревьях.

— Прямо вверх по лунной дорожке — к краю мира, а затем через край и на Луну. Так сказал старый Псаматос.

Роверу совсем не понравилась идея лететь за грань мира. К тому же Луна выглядела такой холодной…

— Но почему на Луну? — спросил он. — В мире полным-полно мест, где я никогда не был. Я ни от кого не слышал, чтобы на Луне были кости или хотя бы собаки.

— Ну, по крайней мере, одна собака там точно есть — у Человека-на-Луне. И так как он — человек весьма достойный и, кроме того, величайший

из всех магов, у него наверняка должны быть кости для его собаки, а значит, и для гостей, очевидно, найдутся.

Что же касается того, почему тебя послали именно туда, беру на себя смелость утверждать, что ты узнаешь это, когда придет время, — если не будешь неудачно шутить и все время ворчать.

Вообще не понимаю, почему Псаматос столь великодушно о тебе заботится. Совершенно не похоже на него делать что-либо без значительной на то причины; ты же ни с какой стороны не выглядишь значительным.

— Спасибо, — сказал Ровер, чувствуя себя совсем подавленным. — Несомненно, очень мило со стороны всяких волшебников так беспокоиться обо мне, хотя иногда это и несколько утомительно. Никогда не знаешь, что произойдет дальше, стоит лишь раз столкнуться с волшебниками и их друзьями…

— На самом деле это гораздо б*о*льшая удача, чем того заслуживает какой-то тявкающий щенок, — промолвила чайка, после чего они долго не разговаривали.

Луна становилась все больше и ярче, а мир под ними — все темнее и отдаленнее. Наконец — и все-таки внезапно — мир кончился, и Ровер

увидел звезды, сияющие из черноты у них под ногами. Далеко-далеко внизу ему была видна белая, искрящаяся в лунном свете водяная пыль — там, где водопады переливались через край мира и обрушивались прямиком в пространство. Это заставило песика почувствовать себя еще неувереннее. У него закружилась голова, и он предпочел поглубже закопаться в перья Мью и надолго зажмуриться.

Когда же он снова открыл глаза, под ними вся, целиком лежала Луна: новый белый мир, сверкающий как снег, с далеко открытыми просторами, на которых раскинули свои длинные голубые и зеленые тени остроконечные горы.

На вершине самой высокой из гор, такой высоченной, что казалось, она сейчас проткнет их — именно в этот момент Мью ринулся вниз, — Ровер увидел белую башню. Расчерченная розовыми и бледно-голубыми узорами, она поблескивала так, словно была сложена из миллионов влажных, мерцающих морских ракушек. Башня стояла на самом краю белой пропасти — белой, словно меловые скалы, и при этом сверкавшей ослепительнее, чем, бывает, сверкнет блик лунного света в далеком окне безоблачной ночью.

Насколько пес мог видеть, на скале не было и

следа какой-либо тропы. Впрочем, это было не важно, потому что Мью уже планировал вниз и буквально через секунду совершил посадку на крыше башни, на такой головокружительной высоте над лунным миром, что его родные черные скалы в сравнении с ней показались бы совсем низкими и безопасными.

К величайшему изумлению Ровера, в тот же миг сбоку в крыше открылась маленькая дверца и наружу высунулась голова с длинной серебристой бородой.

— Неплохо летели, неплохо! — закричал старичок. — Я засек время с момента, как вы пересекли край мира: тысяча миль в минуту, я думаю. Хорошо, что не врезались в мою собаку. Где ее черти носят по всей Луне, хотел бы я знать?..

И он вытянул наружу необъятный телескоп и приложил к нему один глаз.

— Вот он! Вот он! — завопил старик куда-то вверх. — Опять пристает к лунным зайчикам[5], пропади он пропадом… А ну спускайся! Спускайся немедленно! — И вслед за тем он засвистел на одной долгой, ясной, звонко-серебряной ноте.

Ровер поглядел вверх, думая, что этот смеш-

---

[5] Примечания: 5

Moonbeams (*англ.*) — блики лунного света, «лунные зайчики» (по аналогии с sunbeams — солнечными зайчиками). — *Примеч. пер.*

ной старичок, должно быть, сумасшедший, если свистит своей собаке в небо, но, к своему вящему изумлению, увидел высоко-высоко над башней маленькую белую собаку с белыми крыльями, гоняющуюся за чем-то похожим на прозрачных бабочек.

— Ровер! Ровер! — звал старичок; и в тот самый миг, когда наш Ровер вскочил на ноги на спине Мью, чтобы ответить: «Я здесь!» — не успев удивиться, откуда старичок знает его имя, — он увидел, что летающая собака правит прямиком вниз и «прилуняется» старичку на плечо.

Тут наш пес понял, что собаку Человека-на-Луне тоже зовут Ровером. Это ему совсем не понравилось. Но так как никто не обратил на него внимания, он снова сел и начал рычать сам с собой.

У пса Человека-на-Луне были чуткие уши. Он мгновенно спрыгнул на крышу башни и принялся лаять как сумасшедший, а затем сел и зарычал:

— Кто привез сюда другую собаку?!

— Какую другую собаку? — спросил Человек.

— Этого дурацкого щенка на спине у чайки, — ответил лунный пес.

Тут уж, разумеется, Ровер снова вскочил и зала-

ял так громко, как только мог:

— Сам ты дурацкий щенок! Кто только позволил тебе зваться Ровером? Да ты больше смахиваешь на кошку или летучую мышь, чем на собаку!

Из этого вы можете понять, что псы сразу собрались подружиться. Просто таким образом у собак принято обращаться к подобным себе чужакам.

— Эй вы, оба, а ну-ка летите прочь! И прекратите этот шум! Мне надо побеседовать с почтальоном, — произнес Человек.

— Пошли, крохотулька, — пролаял лунный пес, и тут Ровер вспомнил, что он действительно всего-навсего крохотулька — даже по сравнению с лунным псом, просто маленьким. И вместо того чтобы пролаять в ответ что-нибудь невоспитанное, он сказал только:

— Я бы и пошел, если б у меня были какие-никакие крылья и если бы я знал, как летают.

— Крылья? — сказал Человек-на-Луне. — Нет ничего легче. Бери и катись!

Мью засмеялся и действительно скатил его со спины прямо через край башенной крыши. Ровер успел лишь ахнуть и едва начал представлять себе, как падает и падает много-много миль, подобно камню, прямо на торчащие в долине белые скалы, как внезапно обнаружил, что является

обладателем прекрасной пары белых с черными пятнами крыльев — точь-в-точь под стать ему самому.

Но все равно он падал долго, прежде чем смог остановиться, так как, естественно, еще не привык к крыльям.

О да, ему понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к ним. Однако еще задолго до того, как Человек закончил разговаривать с Мью, Ровер уже пытался гоняться за лунным псом вокруг башни.

Он как раз начал слегка уставать, когда лунный пес нырнул вниз и, спикировав к вершине горы, приземлился на самом краю обрыва у подножия стены. Ровер последовал за ним, и вскоре они уже сидели бок о бок со свешенными языками, переводя дыхание.

— Так, значит, тебя назвали в мою честь Ровером? — спросил лунный пес.

— Не в твою честь, — ответил наш Ровер. — Я уверен: моя хозяйка, давая мне имя, никогда не слышала о тебе.

— Это не важно. Я был самой первой собакой, названной Ровером когда бы то ни было, тысячи лет назад. Поэтому ты должен быть назван Ровером именно в честь меня.

Да, я действительно был Ровером, бродягой![6] Никогда и нигде не оставался надолго и никогда никому не принадлежал, пока не попал сюда. С тех пор как я был щенком, я не занимался ничем иным, кроме как убегал. Бегал и бегал до тех пор, пока в одно прекрасное утро — удивительно прекрасное, когда солнце сияло мне прямо в глаза, — не свалился, гоняясь за бабочками, через край мира.

Отвратительное ощущение, должен тебе сказать! К счастью для меня, как раз в этот момент под миром проходила Луна, и, спустя жуткий промежуток времени, пока я проваливался сквозь облака, и врез*а*лся в падающие звезды, и все такое прочее, я упал на нее. Шмякнулся в одну из тех громадных серебряных паутин, что развешивают здесь от горы до горы гигантские серые пауки. И паук тут как тут — уже спускался по своему трапу, чтобы замариновать меня и утащить в свою кладовку, когда появился Человек-на-Луне.

Он видит абсолютно все, что происходит по эту сторону Луны, с помощью своего телескопа. Пауки боятся его, потому что он не трогает их, только если они прядут для него серебряные нити

---

[6] Примечания: 6
Rover (*англ.*) — бродяга, скиталец. — *Примеч. пер.*

и канаты. Он имеет все основания подозревать пауков в том, что они ловят его лунных зайчиков, хотя он и не позволяет им этого. А они делают вид, что живут только за счет дракономотыльков и летучих тенемышей. Как-то раз он нашел крылья лунных зайчиков в кладовке у одного паука и превратил этого паука в камень быстрее, чем ты бы глазом моргнул.

Ну так вот, он вытащил меня из паутины, потрепал по загривку и сказал:

— Это было пренеприятное падение. Лучше тебе иметь пару крыльев во избежание подобных случайностей. Ну, лети и забавляйся! Не приставай к лунным зайчикам и не убивай моих белых кроликов. И приходи домой, когда проголодаешься, — окно в крыше всегда открыто.

Я подумал, что он — человек порядочный, хотя и немного чокнутый. Но не заблуждайся на этот счет — я имею в виду относительно чокнутости. Я никогда не посмею всерьез испугать его лунных зайчиков или его кроликов. Он способен вмиг превратить тебя во что-нибудь совершенно кошмарное. Ну, а теперь расскажи, почему ты прилетел сюда с почтальоном?

— С почтальоном? — переспросил Ровер.

— Разумеется. Мью — почтальон старого песча-

ного колдуна, — произнес лунный пес.

Едва Ровер закончил повесть о своих приключениях, как послышался свист Человека. Они мигом взлетели на крышу. Старик сидел там, свесив ноги через край, и, быстро распечатывая письма, выбрасывал конверты. Ветер подхватывал их, закручивал штопором и уносил в небо, а Мью летел за ними, ловил и клал обратно в маленький мешочек.

— Я как раз читаю про тебя, Роверандом, мой пес, — сказал он. — Я зову тебя Роверандом, и Роверандомом будешь ты, ибо у меня здесь не может быть двух Роверов. И я вполне согласен с моим другом Саматосом (я не собираюсь вставлять всякие там смехотворные «П» для того только, чтобы ублажить его), что тебе лучше побыть некоторое время здесь. Я получил также письмо от Артаксеркса — если тебе известно, кто это такой, и даже если тебе это не известно, — где он просит меня отослать тебя прямиком назад. Похоже, он сильно раздражен тем, что ты убежал и что Саматос помог тебе. Но покуда ты находишься здесь, нам можно не беспокоиться о нем, равно как и о тебе.

А теперь летите и забавляйтесь. Не приставайте к лунным зайчикам и не убивайте моих белых

кроликов. И возвращайтесь домой, когда проголодаетесь. Пока! Окно в крыше всегда открыто.

И он мгновенно растворился в разреженном воздухе. А ведь только тот, кто никогда на Луне не бывал, и может рассказать вам, какой разреженный там воздух.

— Ну что ж, счастливо, Роверандом, — промолвил Мью. — Надеюсь, ты получаешь удовольствие, причиняя хлопоты волшебникам. Прощай, пока! Не убивай белых кроликов, и все еще, возможно, будет хорошо — ты благополучно вернешься домой, хочешь ты того или нет.

И Мью улетел столь стремительно, что прежде чем вы бы успели сказать «фью-у-у!», он уже был точкой в небе — и исчез.

Теперь Ровер не только был размером с игрушку, его и звали теперь по-другому. И он был вынужден оставаться на Луне один-одинешенек — не считая, разумеется, Человека-на-Луне и его пса.

Роверандом, как мы теперь тоже будем называть его во избежание путаницы, не возражал ни против чего. Иметь крылья оказалось делом таким увлекательным, а Луна давала так много новых впечатлений и, как выяснилось, была таким исключительно интересным местом, что

он забыл и думать, для чего бы это Псаматосу понадобилось посылать его сюда. И много времени утекло, прежде чем он это понял.

А между тем он пережил множество самых разнообразных приключений как в одиночку, так и вместе с лунным Ровером.

Вообще-то он не слишком часто отлетал далеко от башни, ибо на Луне, и особенно на светлой ее стороне, насекомые велики и свирепы. И в большинстве своем они столь бесцветны и прозрачны и столь бесшумны, что, даже если бы они подкрались к вам совсем близко, вы бы вряд ли увидели или услышали их.

Там были очень коварные мухи-меченосцы, большие белые дракономотыльки с огненными глазами, стеклянные жуки с челюстями наподобие стальных капканов; и бледные единорожки с жалом, разящим словно копье; и пятьдесят семь разновидностей пауков, готовых сожрать все, что бы они ни поймали; и самые ужасные из всех лунных насекомых — летучие тенемыши.

Одни только лунные зайчики, сверкающие и трепыхающиеся, не представляли никакой опасности, и их Ровер не боялся.

Роверандом поступал так, как поступали на этой стороне Луны птицы: он летал мало и пре-

имущественно около дома либо на открытом пространстве с хорошей видимостью — подальше от мест, где могли бы прятаться насекомые. И передвигался он очень тихо, особенно в лесах. Вообще большинство существ здесь старались не производить никакого шума. Даже птицы не щебетали.

Единственные слышимые звуки производили растения. Множество цветов — белокольчики, яснокольчики, серебрянокольчики, звяколокольчики, звонерозы и рифмоцарски, крохосвисты, жеструбы и кремалторны (светло-светло-кремовые) и многие-многие другие с совсем уж непереводимыми названиями весь день напролет издавали мелодичные звуки. А перистые травы и папоротники — небывалоструны, полифоники, меднодуховоязычки и, кроме того, все стучащие и трещащие в лесах, равно как и все тростничковые в молочно-белых прудах, не переставали музицировать тихо и нежно даже ночью. Поистине еле слышимая изысканная музыка не прекращалась там никогда.

Но птицы молчали. Большинство из них были совсем крошечные. Они скакали в серой траве под деревьями, увертываясь от мух и всегда готовых наброситься на них зудопчел. Многие

давным-давно утратили крылья или забыли, как ими пользоваться. Роверандом тревожил их в гнездах на земле, когда медленно проплывал через бледные травы, охотясь на маленьких белых мышей или вынюхивая серых белок на опушках лесов.

Что это были за леса! Затканные серебряно-кольчиками, звонящими все сплошь тихо и в лад, тянущие колоннадой вверх из этого серебряного ковра длинные черные стволы, покрытые никогда не опадающей светло-голубой листвой — столь густой, что ни один, даже самый сильный телескоп на Земле не дал бы возможности увидеть ни этих стволов, ни серебрянокольчиков под ними…

В более позднее время года все деревья одновременно вспыхивали бледно-золотыми цветами; и поскольку леса Луны практически не имеют края, это, несомненно, оказывало влияние на ее цвет — если глядеть снизу, из нашего мира.

Однако не стоит думать, что Роверандом все свое время проводил около дома. В конечном счете ведь собаки знали, что Человек видит все и всегда придет к ним на помощь. Поэтому они пускались во множество авантюр и были участниками многих увлекательных приключений.

Иногда они отправлялись странствовать, на много дней забывая про дом. Раз или два они совершали вылазки в дальние горы. Сидя там на белых скалах, они оглядывались назад, на сверкавшую далеко-далеко иглу лунной башни, и наблюдали за крохотными, не крупнее лунного Ровера, овцами, стада которых перемещались по склонам холмов. У каждой овцы на шее висел золотой колокольчик, звеневший всякий раз, как она переступала с места на место, набивая полный рот сочной серой травой. И все колокольчики звенели вместе, как единое созвучие, и все овцы сверкали как снег, и никто никогда не тревожил их. Оба Ровера были слишком хорошо воспитаны (и побаивались Человека-на-Луне), а других собак там не было, равно как не было коров, лошадей, львов, тигров, волков… Да-да, совсем никого из четвероногих, более крупных, нежели кролики и белки, и те игрушечного размера. Единственное исключение составлял изредка попадавший в поле зрения казавшийся огромным белый слон ростом почти с осла. Я не упомянул здесь драконов, потому что они покуда еще не проникли в нашу историю. Тем не менее они были там, но очень далеко от башни, ибо все ужасно боялись Человека-на-Луне. За исключе-

нием одного. (Но даже он наполовину боялся…)

Когда бы собаки ни возвращались к башне, влетая в окно, они всегда находили обед свежеприготовленным — как если бы они предупредили о времени своего прибытия. Но при этом они редко видели Человека. Он был занят внизу, в подвалах, откуда вырывались клубы белого пара и облака серого тумана и плыли по ступеням вверх, уносясь в распахнутые окна.

— Что он там делает наедине с собой целый день? — спросил Роверандом Ровера.

— Что делает? — переспросил лунный пес. — О, он всегда ужасно занят. Кстати, с тех пор, как ты прибыл к нам, он выглядит еще более занятым. Я полагаю, он делает сны.

— Зачем ему делать сны?

— М-м, для обратной стороны Луны. На этой стороне ни у кого снов не бывает — все сновидцы уходят туда.

Роверандом сел и почесался: ему не показалось, что такое объяснение хоть что-то прояснило. Однако лунный пес ничего больше не смог ему растолковать, и если вы спросите мое мнение, то я полагаю, что он и не знал об этом больше ничего.

Как бы там ни было, вскоре случилось нечто,

заставившее все подобные вопросы улетучиться из головы Ровера. Дело в том, что собаки попали в одну увлекательнейшую переделку. Я бы даже сказал, чересчур увлекательную — пока она происходила. И случилось это по их собственной вине.

Они отсутствовали дома уже несколько дней и зашли гораздо дальше, чем когда-либо с тех пор, как Ровер попал на Луну; и они абсолютно не заботились о том, чтобы подумать, куда несут их ноги. На самом деле они сбились с пути и все отдалялись и отдалялись от башни, полагая при этом, что возвращаются домой. Лунный пес утверждал, что облазил всю светлую сторону Луны и знает ее наизусть (в действительности он был весьма склонен к преувеличениям). Однако со временем и он был вынужден признать, что местность выглядит несколько странно.

— Боюсь, я очень давно здесь не был, — промолвил он наконец, — и начал немножко забывать это место.

На самом-то деле он никогда прежде здесь не был. Нечаянно они забрели слишком близко к полутени на краю темной стороны Луны — туда, где в сумерках среди всяких полузабытых вещей искажаются пути и воспоминания. В тот самый

момент, когда они определенно уверили себя, что находятся на правильном пути домой, они вдруг с изумлением обнаружили перед собой какие-то высоченные горы — безмолвные, голые, зловещие; и лунный пес уже больше не претендовал на то, что видел их когда-либо раньше. Они были серые, а не белые, выглядели так, словно были сложены из старого остывшего пепла; и лишенные признака жизни длинные туманные долины пролегали между ними.

Затем пошел снег. На Луне часто идет снег, но «снег» этот (как его там называют), обычно приятный, теплый и совершенно сухой, оборачивается чудесным белым песком, который вдобавок полностью улетучивается. Этот же был похож на наш: он был сырой и холодный. И грязный.

— Я чувствую себя так, будто я бездомный, — сказал лунный пес. — Это совсем как та штуковина, которая так часто падала с неба в городе, где я жил щенком, в том мире — ну, ты знаешь… Ох, ну и печные же трубы там были: высоченные, как лунные деревья! И черный дым, и алый огонь очага… Иногда я чувствую, что устаю от белого цвета. На Луне кошмарно трудно по-настоящему вымазаться.

Теперь вы можете в некоторой степени пред-

ставить себе вкусы лунного пса. И поскольку сотни лет назад таких городов в мире не было, вы можете предположить также, что он весьма сильно преувеличивал и время, прошедшее с момента его падения через край мира.

Однако именно в этот момент большой и грязный снежный комок залепил ему левый глаз, и он изменил свое мнение.

— Я думаю, эта ерунда заблудилась и свалилась из того мерзкого старого мира, пропади он к крысам и кроликам! — произнес он. — И мы тоже, похоже, заблудились! Давай поищем какую-нибудь дыру и зароемся в нее.

Чтобы найти хоть какую-то дыру, понадобилось некоторое время, и они успели ужасно промокнуть и замерзнуть. Они чувствовали себя так скверно, что, к сожалению, забились в первое же попавшееся укрытие, не приняв мер предосторожности, что необходимо делать в первую очередь, когда находишься в незнакомом месте на самом краю Луны. Укрытие, в которое они влезли, не было дырой — оно было пещерой, и пребольшой. В ней было темно и сухо.

— Здесь премило и довольно тепло, — промолвил лунный пес, закрыл глаза и немедленно погрузился в дремоту.

— Оу! — взвизгнул он почти сразу же, в одно мгновенье приходя в себя, как это умеют собаки. — Здесь слишком тепло!

Он вскочил на ноги. Было слышно, как в глубине пещеры лает маленький Роверандом. И когда он пошел посмотреть, в чем дело, то увидел струйку огня, тянущуюся по полу в их сторону. В тот миг он больше не чувствовал себя бездомным, тоскующим по огню очага. Он схватил Роверандома за загривок, быстро, как молния, кинулся вон из пещеры и, выскочив из нее, буквально взлетел на вершину скалы, находящейся рядом со входом.

Там они и сидели, дрожа и глядя на вход, и это было чрезвычайно глупо с их стороны. Им бы надо было нестись домой — или куда угодно — быстрее ветра. Как вы видите, лунный пес знал о Луне не все, иначе он знал бы, что это было логовище Великого Белого Дракона — того самого, который боялся Человека лишь наполовину (и то лишь когда тот бывал рассержен). Сам Человек слегка опасался Дракона. «Эта чертова тварь», — называл он его, когда вообще упоминал о нем.

Как вам, вероятно, хорошо известно, все белые драконы происходят с Луны. Однако этот побывал в нашем мире и вернулся обратно, так что

он кое-что повидал. Это он сражался с Красным Драконом в Пещере драконов во времена Мерлина — о чем вы можете прочесть во всех наиболее достоверных книгах по истории того времени, — после чего тот, другой дракон стал О-очень Красным. Это он позже причинил много вреда на Трех Островах. Оттуда он направился на вершину Сноудона, где жил некоторое время. И пока он там находился, люди не утруждали себя скалолазанием — за исключением одного, которого Дракон чуть было не поймал, когда тот выпивал прямо из горлышка. Человек этот свернул свое занятие столь быстро, что бутылка так и осталась валяться на вершине, дав основание множеству людей следовать сему дурному примеру.

Долгое время спустя, вскоре после исчезновения короля Артура, в эпоху, когда драконьи хвосты стали почитаться большим деликатесом у саксонских королей, Дракон перелетел оттуда в Гвинфу. Гвинфа находится совсем неподалеку от края мира, и оттуда было несложно перелететь на Луну, особенно столь мощному и чудовищно гадкому дракону, как этот. С тех пор он так и жил на краю Луны, поскольку не знал точно, насколько сильными могут быть заклинания и ухищрения Человека-на-Луне.

Тем не менее это не мешало ему время от времени вмешиваться в цветовую гамму Луны.

Иногда, когда у него случались драконьи пирушки или приступы раздражения, он испускал из своей пещеры настоящее пламя, красное или зеленое, и нередко оттуда вылетали тучи дыма. Раз или два он всю Луну затягивал красным дымом, так что совершенно гасил ее свет.

В таких случаях Человек-на-Луне наглухо запирался у себя (и запирал свою собаку) и говорил только: «Опять эта чертова тварь!» Он никогда не объяснял, какая тварь или где она живет, — он просто спускался в подвалы, раскупоривал свои лучшие заклинания и старался прояснить порядок вещей так быстро, как только было возможно.

* * *

Теперь вы знаете всё. И если бы собаки знали хотя бы половину этого, они не стояли бы на месте. Но они стояли так по меньшей мере столько времени, сколько понадобилось мне, чтобы объяснить вам, что такое Белый Дракон. И за это время весь Дракон целиком — белый, с зелеными глазами, поминутно испускающий зеленый огонь и выдыхающий, подобно паровозу, клубы

черного дыма, выполз из пещеры.

Затем он издал совершенно ужасающий рев. Горы содрогнулись и отозвались эхом. Снег испарился, лавины обрушились, водопады застыли.

У Дракона были крылья, похожие на паруса кораблей (когда те еще были парусниками, а не паровыми машинами). И он не остановился бы ни перед чем, чтобы убить кого угодно, начиная с мыши и кончая императорской дочерью. Он был настроен убить этих двух собак, о чем и предупредил их несколько раз, прежде чем подняться в воздух.

Это была *его* ошибка: псов как ветром сдуло с их скалы. И они с такой скоростью понеслись оттуда прямо по ветру, все быстрей и быстрей, что сам Мью был бы горд за них.

Дракон последовал за ними, хлопая крыльями, как дракон-хлопушка, и треща ими, как дракон-трещотка, сбивая верхушки гор и заставляя все овечьи колокольчики звонить как колокол при пожаре. (Теперь вы поняли, для чего были нужны колокольчики?!)

К счастью, на сей раз прямо по ветру было верное направление. А кроме того, как только колокольчики обезумели, из башни вылетела гигантская ракета. Ее можно было увидеть с лю-

бой точки Луны: будто золотой зонтик взорвался тысячей серебряных кистей, отчего в нашем мире вскоре проистек непредсказанный дождь падающих звезд.

Если для бедных собак это послужило указанием, куда им лететь, то для Дракона являлось как бы предостережением. Но он уж слишком «набрал обороты», чтобы обращать внимание на подобные вещи.

Итак, сумасшедшая погоня продолжалась. Если вы когда-нибудь видели птицу, охотящуюся за бабочкой, и если вы можете представить себе более чем гигантскую птицу, охотящуюся за двумя более чем незначительными бабочками среди белых гор, тогда вы только-только приблизились к представлению о рывках и увертываниях на волосок от гибели и о диких зигзагообразных бросках этого полета домой. Собаки не преодолели еще и полпути, а Роверандом уже не раз хвостом ощущал позади жаркое дыхание.

Что же в это время делал Человек-на-Луне?

Ну, сначала он выпустил эту огромную ракету. Затем он произнес: «Чертова тварь!» и еще: «Чертовы щенки! Они вызовут преждевременное затмение!» И вслед за тем он спустился в подвалы и раскупорил кромешно-черное заклинание,

видом напоминавшее желеподобную смесь дегтя с медом и пахнувшее как Пятое ноября вперемешку с квашеной капустой[7].

В этот самый момент Дракон, вытянув громадную когтистую лапу, начал заход над башней, чтобы сшибить Роверандома прямо в никуда. Но так и не сшиб: Человек-на-Луне выстрелил из нижнего окна заклинанием и со всплеском поразил им Дракона в желудок (который у всех драконов особенно чувствителен). И затем он резко крутанул им, словно рычагом.

Дракон, потеряв от боли соображение, не сумел справиться с управлением и с грохотом врезался в гору. И трудно сказать, чему был нанесен больший ущерб — его носу или горе: и то и другое «вышло из формы».

Итак, обе собаки ввалились внутрь башни через верхнее окно и еще целую неделю никак не могли отдышаться. А Дракон медленно, петляя из стороны в сторону, полетел восвояси и еще много месяцев тер нос.

Следующее затмение сорвалось, потому что

---

[7] Примечания: 7

5 ноября 1605 года в Лондоне был раскрыт заговор, имевший целью свержение короля и роспуск парламента. В этот день, известный как «День Гая Фокса» (по имени самого известного из заговорщиков) в Англии жгут костры и устраивают фейерверки. (Вероятно, поэтому Пятое ноября должно пахнуть порохом.) — *Примеч. пер.*

Дракон был слишком занят зализыванием своего обожаемого пузика и не уделил этому внимания. И у него так и не сошли черные пятна — там, где его поразило заклинание. Боюсь, они теперь уже никогда не сойдут. Поэтому с тех пор его зовут Пятнистое Страшилище.

3

День спустя Человек-на-Луне посмотрел на Роверандома и сказал:

— Ты был на волосок от гибели. Похоже, светлую сторону ты исследовал совсем неплохо для молодой собаки. Думаю, когда ты наконец отдышишься, тебе стоит посетить другую сторону.

— А мне можно? — спросил лунный пес.

— Тебе это не пойдет на пользу, — сказал Человек, — да я и не советую. Ты можешь увидеть там то, от чего почувствуешь себя еще более бездомным, нежели от огня и дымовых труб, и что может оказаться не лучше драконов.

Лунный пес не залился краской только потому, что не мог этого сделать. Он ничего не сказал, но пошел и сел в углу и стал с изумлением думать о том, сколько же этот старый человек знает обо всем, что происходит, и обо всем, что говорится. Кроме того, он на какое-то время задумался, что

означают слова старика. Но ненадолго: он был парень легкомысленный.

Что касается Роверандома, то когда он наконец спустя несколько дней отдышался, Человек-на-Луне пришел и свистнул ему.

Затем они шли все вниз и вниз по ступенькам, в подвалы, прорытые в скале и имевшие крохотные окошки, глядевшие по разные стороны пропасти на дикие лунные места, и затем по тайным ступеням, которые, как казалось, вели прямо в основание гор; и так до тех пор, пока, по прошествии долгого времени, не очутились в полностью затемненном месте и не остановились — хотя голова Роверандома продолжала кружиться от всех этих миль ввинчивания вглубь подобно пробке.

В полной темноте Человек-на-Луне засветился бледным светом наподобие светляка, и это был их единственный источник света. Его было тем не менее вполне достаточно, чтобы разглядеть большой люк в полу. Старик потянул люк на себя. И по мере того как тот приподнимался, казалось, тьма истекает из отверстия подобно туману, так что Роверандом больше не мог различить сквозь нее даже слабого мерцания, исходившего от Человека.

— Вниз, ступай вниз, хорошая собака, — произнес голос из черноты.

И вы вряд ли удивитесь, если услышите, что Роверандом не был хорошей собакой и не мог сдвинуться с места. Он прижал уши и отполз в самый дальний угол: он гораздо больше боялся этой дыры, чем старика.

Однако ничто не помогло. Человек-на-Луне просто поднял его и швырнул прямо в черную дыру.

И, падая, падая в никуда, он слышал, как тот кричит ему, уже издали:

— Падай прямо и затем лети по ветру! Жди меня на другом конце-е-е!..

Это должно было бы его утешить, но не утешило. Позже Роверандом всегда говорил, что даже падение через край мира не могло бы быть хуже. Это был самый отвратительный миг во всех его приключениях. Когда бы он ни подумал о нем, у него всегда возникало чувство пустоты в животе. Вы и теперь можете быть уверены, что он опять переживает все это, когда громко скулит и дергается во сне на коврике у камина.

Однако все когда-нибудь подходит к концу. Спустя некоторое время падение начало замедляться и наконец почти полностью прекратилось.

Остальной путь Роверандом проделал при помощи крыльев, и это напоминало полет все вверх и вверх через большую печную трубу. К счастью, ему всю дорогу помогал сильный сквозняк.

Как же он обрадовался, когда наконец добрался до верха!

Там он и лежал, тяжело дыша, на краю дыры, на другом ее конце, и послушно, хотя и с беспокойством, ждал Человека-на-Луне.

Тот появился еще не скоро, и у Роверандома достало времени разглядеть, что он находится на дне глубокой темной лощины, окруженной низкими темными холмами. Казалось, на их вершинах отдыхают черные облака, и между облаками виднелась только одна звезда.

Внезапно песик почувствовал, что очень хочет спать. Какая-то птица пела неподалеку в темных мрачных кустах усыпляющую песню, и это было странно и удивительно после немых крошечных птичек светлой стороны, к которым он привык. Он смежил веки.

— Эй, псина, просыпайся! — услышал он сквозь сон и вскочил как раз вовремя, чтобы увидеть, как Человек вылезает из дыры по серебряному канату, который в тот момент ловко закреплял на ближайшем дереве огромный бледно-серый

паук (гораздо крупнее Человека).

Наконец Человек-на-Луне вылез и сказал пауку:

— Спасибо! Ну, а теперь живо убирайся!

И что бы вы думали: паук убрался, с превеликим удовольствием. На темной стороне Луны живут черные пауки, весьма ядовитые, хотя, возможно, и не такие огромные, как чудовища светлой стороны. Они ненавидят все белое, или белесое, или светлое, но особенно они ненавидят белесых пауков светлой стороны: этих они ненавидят люто — как богатых родственников, редко наносящих визиты своим не столь удачливым собратьям. Серый паук рухнул по своему канату обратно в дыру, и в этот самый миг из дупла вывалился черный паук.

— Эй-эй! — закричал старик черному пауку. — А ну-ка, назад! Это моя личная дверь, не забывай! Сделаешь мне гамак покрепче вон из тех двух тисов, и я, так и быть, прощу тебя.

— Ну и долгое же это дело — карабкаться сначала вниз, а потом вверх, сквозь середину Луны, — сказал он Роверандому. — Думаю, не помешал бы небольшой отдых, пока они не прибыли. Знаешь, они очень милые, но требуют порядочно энергии. Конечно, я мог бы прибег-

нуть к крыльям, да только я от них быстро устаю. А кроме того, это означало бы необходимость расширить дыру — ведь она не соответствовала бы моим габаритам с крыльями. Кстати сказать, я великолепный канатолаз.

— И как тебе эта сторона? — продолжал он. — Темная со светлым небом, да? А та была светлая с темным небом… Полная противоположность. Только здесь гораздо меньше настоящего цвета — ну, того, что я зову настоящим цветом: громкого и многозвучного.

Вон, видишь: чуть-чуть мерцает под деревьями? Огнебабочки, алмазные жуки, рубиномотыльки и все такое… Чересчур крошечные, чересчур — как все яркое на этой стороне. И живут ужасно — в соседстве, хм, с совами размером с орла, черными как смоль, и с воронами, бесчисленными, как воробьи, размером с грифа, и со всеми этими черными пауками… Однако что лично мне здесь меньше всего по нраву, так это бархатистые кучехвостки. Ни перед чем не останавливаются, летают где попало в облаках целыми тучами и не убираются даже с моей дороги. Стоит мне испустить сияние, как они тут как тут и забивают мне всю бороду…

И все же у этой стороны есть свои прелести,

юноша, и прежде всего та, что ни один человек и ни один пес с Земли, кроме тебя, не видел ее! Разве что во сне.

Тут Человек внезапно прыгнул в гамак, который, пока он говорил, сплел черный паук, и в одну секунду уснул.

Роверандом сидел в одиночестве и наблюдал за ним, опасливо поглядывая, нет ли поблизости черных пауков. Небольшие мерцающие огоньки, красные, зеленые, золотые и голубые, вспыхивали и передвигались то здесь, то там под темными неподвижными деревьями. Небо было блеклое, со странными звездами над плывущими клочковатыми бархатными облаками. Тысячи соловьев, казалось, заливались еле слышно где-то в долине за ближайшими холмами.

И затем вдруг Роверандом различил звук детских голосов — или эхо эха голосов, — донесшийся до него вместе с внезапным мягким дуновением ветерка. Он выпрямился и залаял так громко, как еще ни разу не лаял с тех пор, как началась наша история.

— О боже! — вскричал Человек-на-Луне, дико подскочив со сна и вываливаясь из гамака на траву, почти на хвост Роверандому. — Они что, уже прибыли?

— Кто? — спросил Роверандом.

— Если ты их не слышал, так чего же брешешь? — сказал старик. — Пошли. Нам сюда.

Они начали спускаться по длинной тропе под нависшими кустами, отмечаемой слабым свечением камней по сторонам. Тропа уводила все дальше. Кусты сменились пиниями; ночной воздух был напоен ароматом сосны. Затем тропа начала карабкаться вверх, и спустя некоторое время они выбрались на вершину — самую низкую в кольце окруживших их холмов.

Роверандом заглянул вниз, в соседнюю долину, и все соловьи вдруг, словно по сигналу, прекратили петь. В воздухе поплыли детские голоса, ясные и нежные: много-много поющих голосов, сливающихся в единую музыку волшебной песни. Старик и пес дружно бросились вприпрыжку вниз по склону холма. И клянусь, Человек-на-Луне прямо-таки перелетал со скалы на скалу!

— Давай-давай! — торопил он. — Я — козел бородатый, седой и лохматый, и тебе меня не поймать!

И Роверандому приходилось лететь изо всех сил, чтобы не отставать.

Но вот внезапно перед ними открылся отвесный обрыв, не очень высокий, но гладкий и

блестящий, как антрацит. Заглянув за край, Роверандом увидел внизу сад в сумеречном свете. И по мере того как он смотрел, сумерки сменялись мягким сиянием полуденного солнца. Однако он так и не смог обнаружить, откуда исходил свет, заливавший все это скрытое отовсюду место, но абсолютно не проникавший вовне.

Внизу раскинулось множество длинных-предлинных лужаек с фонтанами, и повсюду были видны дети. Одни танцевали словно в полудреме, другие блуждали как лунатики, разговаривая сами с собой. Некоторые пробуждались от глубокого сна, иные уже совсем проснулись и бегали, смеясь, толкались, собирали букеты, строили беседки, ловили бабочек, перекидывались мячами, карабкались на деревья… И все они пели.

— Откуда они здесь? — спросил Роверандом, озадаченный и очарованный.

— Из дому, конечно, из постели, — сказал Человек.

— Но как они сюда попали?

— А вот этого тебе никогда не узнать. Тебе крупно повезло — как и любому, кому посчастливилось здесь очутиться, каким бы путем он сюда ни попал. Но дети попадают сюда совсем не так, как ты. Некоторые из них бывают здесь

часто, другие редко. Я делаю бо́льшую часть их снов. Ну, какую-то часть они, конечно, приносят с собой — как завтрак в школу… Правда, как это ни неприятно, существуют и другие сны — их делают пауки. Но только не в этой долине и если я не ловлю их за этим занятием. Ну, а теперь пошли, поучаствуем!

Темный обрыв круто уходил вниз. Он был слишком гладким даже для паука, не всякий бы осмелился даже попробовать спуститься. Да и потом, ведь в саду были скрыты сторожевые посты…

…не говоря уже о Человеке-на-Луне, без участия которого все происходящее, в частности, было бы неполным, поскольку все частности в некотором смысле являлись его собственной частью.

И вот теперь он скользил в самый центр этой своей части. Он просто сел и поехал, как на санках — фью-у-у, — прямо в середину толпы детей, с Роверандомом, крутящимся у него на макушке: тот совершенно забыл, что может летать. Или мог — потому что когда он наконец смог твердо встать на ноги, там, внизу, то обнаружил, что у него больше нет крыльев.

— Что эта собачка делает? — спросил Человека один из малышей. Роверандом снова и снова вер-

телся вокруг себя как волчок, пытаясь заглянуть за спину.

— Ищет свои крылья, малыш. Он думает, что они стерлись, пока он съезжал вниз, но на самом-то деле они у меня в кармане. Ведь здесь, внизу, крылья запрещены: никто не имеет права покинуть это место без разрешения, правда?

— Да! Дед-Борода-во-Сто-Лет! — закричали одновременно около двенадцати голосов, а один мальчик ухватил старика за бороду и шустро вскарабкался по ней к нему на плечо. Роверандом ожидал, что вот, прямо сейчас, он превратится в мошку, или в ластик, или во что-нибудь такое… Но…

— Черт возьми, а из тебя выйдет неплохой канатолаз, сынок! — произнес Человек. — Я буду давать тебе уроки.

И он подбросил мальчика высоко-высоко в воздух. И — ничуть не бывало: тот не упал на землю, а… встал в воздухе. Человек-на-Луне достал из кармана серебряный канат и кинул ему.

— Ну-ка, слезай быстренько, — сказал он, и мальчишка соскользнул прямиком старику в руки, где его вдобавок еще и хорошенько пощекотали.

— Ты проснешься, если будешь так громко сме-

яться, — сказал Человек и, опустив малыша на траву, вернул его в толпу.

Роверандом, предоставленный сам себе, только-только направился к чудесному желтому мячику («Ну совсем как мой, у меня дома…» — подумал он), как вдруг услышал голос, который, несомненно, был ему хорошо знаком.

— Это же моя собачка! — произнес голос. — Моя маленькая собачка! Я всегда знал, что она настоящая. Кто бы мог подумать, что она здесь! А я-то все искал и искал ее на берегу, и звал ее, и вспоминал каждый день!

Как только Роверандом услышал этот голос, он сел на задние лапы и начал «просить».

— Моя «просящая» собачка! — сказал мальчик (ну конечно же, это был он!), подбежал и погладил пса по спине. — Ты куда пропал?

Однако Роверандом смог только произнести:

— Ты меня понимаешь?

— Конечно, — отвечал мальчик. — Просто в тот раз, когда мама принесла тебя домой, ты совсем не хотел понимать меня, хоть я и старался изо всех сил разговаривать с тобой лаем. И я сомневаюсь, чтобы ты сам пробовал мне что-нибудь говорить: мне казалось, ты все время думаешь о чем-то другом.

Роверандом сказал, что он очень извиняется, и рассказал мальчику, как выпал у него из кармана, и про Псаматоса и Мью, и вообще обо всех событиях, которые произошли после того, как он потерялся.

Вот каким образом мальчик и его братья узнали об этом чудном, живущем в песке старикане, а также о множестве других полезных вещей, которые в противном случае остались бы им неизвестны. Имя «Роверандом» показалось мальчику замечательным.

— Я тоже буду звать тебя так, — сказал он. — И не забывай, что ты все-таки принадлежишь мне!

Потом они бегали, играли в мячик, и еще в прятки, и в долгую прогулку, и в охоту на кроликов (разумеется, с единственным результатом — удовольствием, поскольку кролики существовали только в воображении), и в «чей плеск в пруду громче», и во множество других игр, одну за другой, бесконечные века; и они нравились друг другу все больше и больше…

Мальчик все кувыркался и кувыркался на росистой лужайке, хотя детям, казалось, давным-давно уже пора было спать. (Похоже, в этом месте никто не обращал внимания ни на сырую траву, ни на время идти спать.) А песик снова и снова

прыгал через него и при этом стоял на голове, как не сделала бы ни одна собака в мире со времен дохлой собаки Матушки Хаббард. А мальчик хохотал и…

…вдруг исчез, совершенно неожиданно, бросив Роверандома на лужайке одного!

— Он проснулся, вот и все, — сказал Человек-на-Луне, внезапно появившись. — Отправился домой, и как раз вовремя. О! У него до завтрака всего четверть часа. Сегодня утром он пропустит прогулку на пляже. Ну что ж! Боюсь, нам тоже пора…

Итак, крайне неохотно Роверандом отправился вместе со стариком на светлую сторону Луны.

Всю дорогу они шли пешком, что заняло у них очень много времени. Роверандому это путешествие совсем не показалось приятным, а ведь они видели всякие необычности и с ними происходили разнообразные приключения — разумеется, совершенно безопасные, поскольку Человек-на-Луне находился рядом. Это было весьма кстати, потому что в трясинах жило множество премерзких, наводящих ужас существ, которые в ином случае мгновенно бы сцапали нашего песика.

Темная сторона была столь же сырой, сколь сухой была светлая сторона, и заполняли ее самые

необычайные растения и твари, о которых я обязательно рассказал бы вам, если бы Роверандом обратил на них хоть сколько-нибудь внимания. Но он не обратил: он все время думал о саде и мальчике.

Наконец они добрались до сумеречного края и в последний раз оглянулись на пепельные долины, в которых жило множество драконов. А прямо перед ними, за проходом среди гор, уже расстилалась Великая Белая Равнина с сияющими скалами. Они увидели наш мир, восходящий над плечом лунных гор, — огромную круглую зелено-золотую луну, — и Роверандом подумал: «Там живет мой мальчик!» Эта луна выглядела устрашающим и громадным выходом куда-то.

— Сны сбываются? — спросил он.

— Некоторые из моих — да, — ответил старик. — Некоторые, но не все. И редко какие прямо сразу или в точности в том виде, в каком привиделись. Но почему ты спросил про сны?

— Я только поинтересовался, — произнес Роверандом.

— Из-за мальчика, — сказал Человек. — Я так и думал.

И затем он вытащил из кармана телескоп, который растянулся на неслыханную длину.

— Чуть-чуть взглянуть, я думаю, тебе не повредит, — промолвил он.

Роверандом посмотрел в телескоп, когда ему удалось, наконец, зажмурить один глаз и оставить открытым второй.

Он ясно увидел наш мир. Дальний конец лунной дорожки падал прямиком на море. Ему показалось, что он разглядел — еле различимо — длинные линии, прочерчиваемые стремительно скользящими по дорожке вниз крошечными людьми, но он не был полностью уверен. Свет луны быстро меркнул. Разгорался день.

Внезапно он увидел бухту песчаного колдуна. (Но ни следа Псаматоса! Тот не допускал, чтобы за ним подглядывали.) Спустя некоторое время в круглое поле зрения вступили два маленьких мальчика, идущих по песку, взявшись за руки. «Ищут раковины — или меня?» — подумал пес.

Картина быстро сдвинулась, и перед ним предстал белый дом на обрыве, с садом, сбегающим к морю. И в воротах — вот уж неприятный сюрприз! — он увидел старого волшебника с его старой зеленой шляпой на затылке и расстегнутым жилетом, сидящего на камне и курящего трубку, — как если бы ему ну совершенно нечего было делать, кроме как вечно сидеть и наблю-

дать.

— Что делает там, в воротах, старый Арта-как-вы-там-его-зовете? — спросил Роверандом. — Я-то думал, он давно обо мне забыл. Его каникулы еще не закончились?

— Нет, он поджидает тебя, моя псина. Он не забыл. Если ты вернешься туда прямо сейчас, настоящий или игрушечный, он в ту же секунду наложит на тебя какое-нибудь новое заклятье. Это не из-за того, что он так ценит свои штаны — их вскоре после того случая починили, но он чрезвычайно раздосадован тем, что Саматос прервал его колдовство. Правда, Саматос еще не оставил попыток восстановить с ним отношения.

И сразу вслед за тем Роверандом увидел, как ветер срывает с головы Артаксеркса шляпу и за ней срывается волшебник. И вот — полюбуйтесь! — на его штанах красовалась великолепная заплата, ярко-оранжевая с черными разводами.

— А я-то думал, волшебники способны лучше чинить свои штаны… — сказал Роверандом.

— Да, но он-то считает, что сделал это прекрасно! — сказал старик. — Он отколдовал кусок чьих-то занавесок. Люди получили страховку в случае пожара, он же получил красочное пятно, и

обе стороны остались довольны. Тем не менее ты прав: я полагаю, это неудачный ход. Прискорбно видеть, после того как знаешь человека столько веков, что его магия слабеет… Однако для тебя это, возможно, и удача.

Человек-на-Луне щелчком свернул телескоп, и они продолжили путь.

— Возьми назад свои крылья, — сказал он, когда они достигли башни. — Ну а теперь лети и забавляйся. Не приставай к лунным зайчикам, не убивай моих белых кроликов и возвращайся домой, когда проголодаешься или когда у тебя что-нибудь заболит.

Роверандом сразу же полетел искать лунного пса, чтобы рассказать ему про другую сторону Луны. Однако тот слегка ревновал, что пришельцу разрешили увидеть то, что не разрешали ему, и сделал вид, что ему совершенно не интересно.

— Все это звучит премерзко, — прорычал он. — Уверен, мне не хочется это увидеть. Полагаю, теперь тебе будет скучно на светлой стороне, где у тебя есть только я и нет твоих двуногих друзей. Жаль, что персидский волшебник так уперся и ты не можешь вернуться домой.

Роверандом был слегка уязвлен. Он снова и снова говорил лунному псу, что очень рад своему

возвращению и что ему никогда не будет скучно на светлой стороне.

Вскоре они опять стали добрыми друзьями и продолжали заниматься вместе массой самых разнообразных вещей.

И все-таки сказанное лунным псом в порыве дурного настроения оказалось правдой. В том не было вины Роверандома, и он делал все что мог, чтобы не показать этого, но почему-то ни одно из приключений или исследований не радовало его так, как прежде: пес постоянно думал о том, как они с мальчиком веселились в саду.

Они навестили долину белых лунных гномов (сокращенно — «луномов»), ездящих верхом на кроликах, делающих блины из снежных хлопьев и выращивающих в своих ухоженных садиках маленькие, не больше лютика, золотые яблоньки. Они насыпали битых стекол и гвоздей около логовищ нескольких малых драконов, пока те спали, и до полуночи лежали неподалеку, чтобы услышать, как те ревут от ярости — ведь, как я уже говорил вам однажды, у драконов весьма нежные желудки, и ровно в двенадцать часов ночи, каждую ночь в течение всей своей жизни — не говоря уже об ином времени суток — они выходят из дому немного промочить горло. Ино-

гда псы даже осмеливались дразнить пауков, кусая паутину, освобождая запутавшихся в ней лунных зайчиков — и улетая как раз вовремя, покуда пауки кидали им вслед с вершины холмов свои лассо. Но все время Роверандом ждал почтальона Мью и *«Мировых новостей»* (ведь даже маленькая собака знает, что хотя в основном они касаются убийств и футбольных матчей, но, бывает, в самом дальнем уголке в них можно найти и кое-что получше).

Он пропустил следующий прилет Мью, так как был на прогулке. Однако когда он вернулся, старик все еще был занят чтением писем и новостей. И похоже было, его здорово что-то развеселило: он сидел на краю крыши, свесив ноги, попыхивал чудовищного размера белой глиняной трубкой, выпуская целые облака дыма наподобие парового, и улыбался во все свое круглое старое лицо.

Роверандом почувствовал, что не может больше этого вынести.

— У меня болит внутри, — сказал он. — Я хочу вернуться к мальчику, чтобы его сон мог сбыться.

Старик отложил письмо (а оно было об Артаксерксе, и презабавное!) и вынул изо рта трубку.

— Действительно? Может быть, останешься?

Это так неожиданно! Рад был встретить тебя! Непременно как-нибудь свались сюда снова! Сча-а-астлив буду видеть тебя в любое время, — выпалил он на одном дыхании.

— Замечательно, — продолжил он уже более отчетливо. — Артаксеркс пристроен.

— …Каким образом?! — спросил Роверандом, задрожав от возбуждения.

— Он женился на русалке и живет теперь на дне Глубокого Синего Моря.

— Надеюсь, она лучше заштопает его брюки! Зеленая заплата из морских водорослей будет хорошо гармонировать с его зеленой шляпой.

— Мой милый пес! Он женился в целом новом костюме из зеленых водорослей с розовыми коралловыми пуговицами и эполетами из актиний. И они сожгли его старую шляпу на берегу! Все это устроил Саматос. О! Саматос глубок, как глубоко Глубокое Синее Море, и я ожидаю, что таким образом он полагает выгодно уладить множество дел. Множество — а не только твое, мой пес.

Интересно, чем все обернется?! По-моему, Артаксеркс впадает в детство в двадцатый или двадцать первый раз. Суетится из-за пустяков. Трудноизлечим, выражаясь точнее. Прежде он был неплохим магом, но у него портится ха-

рактер: в последнее время он стал совершенно непереносим. Когда он заявился к старому Саматосу и, откопав его деревянной лопатой средь бела дня, вытянул из норы наружу за уши, саматист счел, что это уж слишком, — и меня это нисколько не удивляет. «Столько беспокойства, как раз в мое самое лучшее время для сна, и все из-за какой-то там несчастной шавки», — так он мне пишет, и можешь не краснеть.

Итак, когда оба они слегка поостыли, он пригласил Артаксеркса на русалочью вечеринку, и вот так все и произошло. Они вытащили Артаксеркса поплавать под луной — и он теперь никогда уже не вернется ни в Персию, ни даже в Першор. Он влюбился в пожилую, однако премилую дочь очень богатого морского царя, и они поженились на следующую же ночь.

Возможно, это и неплохо. В Океане некоторое время не было постоянного официального Мага. Протей, Посейдон, Тритон, Нептун и прочие им подобные — все они давным-давно превратились в пескарей или мидий; и в любом случае они никогда не интересовались ничем и не заботились ни о чем за пределами Средиземноморья: слишком уж увлекались сардинами. Старина Нйорд тоже давным-давно отошел от дел. И потом, разу-

меется, он ведь мог уделять делу только половину внимания после своей глупейшей женитьбы на великанше. Ты, вероятно, помнишь, что она влюбилась в него, потому что у него всегда были чистые ноги (это так удобно дома!), и разлюбила его, когда уже было слишком поздно: оказалось, что ноги у него всегда мокрые. Я слышал, нынче он совсем развалился. Совершенно одряхлел, бедняга. Ужасно кашляет из-за мазута в Северных морях. Греется сейчас на солнышке где-нибудь на побережье Исландии.

Был, конечно, еще Старик-из-моря… Ну, этот хоть и мой двоюродный брат, но гордиться здесь абсолютно нечем. Та еще обуза: не желал ходить, вечно требовал, чтобы его кто-нибудь носил, — о чем, смею надеяться, ты слышал. Оттого и помер: сел год или два назад на плавучую мину (если ты знаешь, что это такое), прямо на одну из кнопок! Даже моя магия в данном случае ничего не смогла поделать. Это было хуже, чем с Шалтаем-Болтаем.

— А как же насчет Британии? — спросил Роверандом, поскольку он все-таки был английской собакой, хотя в действительности ему было скучновато слушать все это, а хотелось услышать еще что-нибудь о своем волшебнике. — Я думал,

Британия правит волнами…

— В действительности она никогда даже ног не замочила. Она предпочитает фамильярно похлопывать на бережку львов по загривку и восседать на пенсе, держа в руке вилку для рыбных блюд. И уж конечно, из моря можно извлечь нечто гораздо большее, нежели волны.

Ну, теперь-то они заполучили Артаксеркса, и, я надеюсь, от него будет хоть какая-то польза. Правда, я полагаю, что в первые несколько лет он попытается выращивать сливы на полипах, если ему позволят, конечно. И это будет гораздо легче, чем управлять морским народом.

Ну-ну-ну! О чем, бишь, я?.. Разумеется, ты можешь теперь вернуться, если хочешь. Вообще-то, отбрасывая церемонии, тебе просто необходимо вернуться, и как можно скорее. Твой первый визит — к старику Саматосу. И не следуй моему дурному примеру — не забывай говорить «Пс» при встрече!

Мью возвратился на следующий же день и принес новую почту — бесчисленное количество писем для Человека-на-Луне и связки газет — *«Иллюстрированную еженедельную прополку водорослей»*, *«Океанские взгляды»*, *«Русалочью почту»*, *«Моллюск»* и *«Утренний всплеск»*. Во всех

газетах были помещены (на правах исключительной публикации) совершенно одинаковые фотографии свадьбы Артаксеркса: на берегу, при полной луне, в присутствии мистера Псаматоса Псаматидеса, известного финансиста (просто титул, в знак уважения), ухмылявшегося на заднем плане. Надо сказать, качество фотографий было получше, чем в наших газетах. По крайней мере, они были цветные, и на них было видно, что невеста-русалка действительно очень красива (ее хвост был в пене).

Настало время прощаться. Человек-на-Луне лучился улыбкой, глядя на Роверандома. Лунный пес старался выглядеть безразличным. У самого Роверандома был слегка поджат хвост. Однако он лишь сказал:

— Счастливо, щен! Береги себя. Не приставай к лунным зайчикам, не убивай белых кроликов и не переедай за ужином!

— Сам ты щен! — отвечал лунный Ровер. — И прекращай есть брюки волшебников!

И все. Тем не менее я верю, что с тех пор он беспрерывно приставал к Человеку-на-Луне, упрашивая послать его на каникулы к Роверандому, и что тот несколько раз разрешал ему такое путешествие.

И затем Роверандом улетел с Мью, а Человек ушел в свои подвалы. А лунный пес все сидел на крыше и смотрел, пока они не скрылись из виду.

4

Дул ледяной ветер, срываясь с Полярной звезды, когда они пересекли край мира и холодная пыль водопадов обдавала их.

Путь назад давался с трудом, потому что на сей раз в магии Псаматоса не было спешки. Поэтому они рады были отдохнуть на Острове собак. Однако из-за своей все еще заколдованной величины Роверандом не получил от этого посещения особого удовольствия. Все собаки были чересчур большими и шумными и чересчур презрительно отнеслись к нему, а кости на костяных деревьях оказались слишком крупными и крепкими для его зубов.

Был рассвет послепослезавтрашнего дня, когда они наконец завидели вдали черные скалы дома Мью. Когда же они приземлились в бухте Псаматоса, солнце мягко грело им спины, а верхушки бугорков песка у воды уже посветлели и высохли.

Мью коротко крикнул и стукнул клювом по лежавшей на земле деревяшке. Деревяшка немед-

ленно встала вертикально и обернулась левым ухом Псаматоса, к которому присоединилось и другое ухо, а затем, очень быстро, — и вся голова колдуна вместе с шеей.

— Эй вы, двое, что вам угодно в это время дня? — грозно прорычал Псаматос. — Это мое лучшее время для сна!

— Мы вернулись! — произнесла чайка.

— И ты, я вижу, позволил, чтобы тебя всю дорогу тащили на спине? — сказал Псаматос, поворачиваясь к песику. — После драконьей охоты я мог бы предположить, что такой небольшой перелет для тебя — сущая ерунда.

— Извините, пожалуйста, — промолвил Роверандом, — но я оставил мои крылья там: в действительности они не принадлежат мне. И я бы предпочел снова стать обыкновенной собакой.

— О! Прекрасно. Тем не менее, надеюсь, тебе понравилось быть Роверандомом. Тебе непременно должно было это понравиться[8]. Впрочем, теперь ты снова можешь быть просто Ровером, если

---

[8] Примечания: 8

Не исключено, что Толкин здесь намекает на еще один источник происхождения имени «Роверандом»: *Roverandom* созвучно *reverence* (ср.: «реверанс») — почтение, уважение, что в сочетании с суффиксом dom возможно перевести как «царство почтительности» (ср. *kingdom*) — намек на то, что приключения приучили-таки Ровера быть вежливым. — *Примеч. пер.*

ты этого действительно хочешь. И, конечно, ты можешь отправляться домой и играть там своим желтым мячиком, и спать на креслах, когда представится случай, и сидеть на коленях, и вообще быть респектабельной маленькой пустолайкой.

— А как же мальчик? — спросил Ровер.

— Но я думал, ты сбежал от него, дурачок, аж на Луну, — промолвил Псаматос, делая вид, что удивлен и раздосадован, однако в одном из его знающих глаз мелькнул веселый огонек. — Я сказал: домой, и я имел в виду твой дом. Не заикайся и не возражай!

Бедный Ровер заикался, потому что пытался выговорить очень вежливое «мистер П-саматос». На это ему понадобилось некоторое время.

— П-п-пожалуйста, мистер П-п-псаматос, — наконец произнес он как можно более проникновенно, — п-п-пожалуйста, п-простите, но я снова с ним встретился, и я больше не стану убегать, и потом, ведь я действительно принадлежу ему, разве не так? П-поэтому я просто обязан вернуться к нему!

— Чушь и ерунда! Разумеется, ты не обязан и не вернешься! Ты принадлежишь той старой даме, что первой купила тебя, и вернуться должен к ней. Если бы ты знал Закон, глупая ты соба-

чонка, тебе было бы известно, что краденое или заколдованное покупать нельзя. Мать мальчика потратила на тебя шесть пенсов, вот и все. Да и вообще, что значит какая-то встреча во сне? — заметил Псаматос, лукаво подмигнув Роверу.

— Я думал, некоторые из снов Человека-на-Луне оборачиваются правдой, — сказал маленький Ровер очень печально.

— О! Неужели? Ну, это дело Человека-на-Луне. Мое же дело — вернуть тебе прежнюю величину и отправить назад по месту принадлежности. Артаксеркс отбыл в иные сферы своего применения, так что его можно в расчет не брать. Подойди-ка сюда!

Он немного придержал Ровера, плавно провел своей жирной ручкой около его головы и — ну-ка, быстро!

Никаких изменений не произошло…

Он повторил все сначала — и снова никаких изменений…

Тут Псаматос выскочил из песка, и Ровер впервые увидел, что у него ноги как у кролика. И он начал топать, и кататься, и поддавать ногой песок в воздух, и крушить морские раковины, и фыркать, как рассерженный морж…

И все-таки ничего не произошло!

— Что натворил волшебник водорослевый, чтоб ему волдырями с бородавками покрыться! — выругался он.

— Что натворил персидский снимать слив и сливок, чтоб ему в банку с повидлом влипнуть! — заорал он и продолжал орать, пока не устал.

Затем он сел.

— Ну и ну! — произнес он в конце концов, когда немного поостыл. — Век живи — век учись. Но Артаксеркс!.. Это нечто особенное. Кто бы мог подумать, что он будет помнить о тебе среди всех своих свадебных восторгов и потратит свое самое сильное заклятье — на кого?! — на собаку, перед самым своим медовым месяцем! Как будто его первого заклинания было недостаточно, чтобы шкуру спустить с несчастного глупого щенка!.. Ну ладно. Во всяком случае, я избавлен от необходимости выдумывать, что делать, — продолжил Псаматос. — Возможно только одно. Тебе придется отыскать его и попросить у него прощенья.

Но, даю слово, я ему это попомню! Я буду помнить до тех пор, пока море не станет вдвое солонее и вполовину суше.

А пока вы, оба! Отправляйтесь-ка погулять и приходите через полчасика, когда у меня настроение улучшится.

Мью и Ровер двинулись вдоль берега по направлению к обрыву. Мью летел медленно, а Ровер печально трусил вслед за ним.

Они подошли к дому, в котором жили отец с матерью и три мальчика. Ровер даже в ворота зашел и сел на клумбе под окном своего мальчика. Было еще очень рано, но он все равно залаял и лаял, лаял безнадежно… Дети либо крепко спали, либо их не было в доме, потому что к окну никто не подошел. Во всяком случае, так думал Ровер. Он забыл, что в этом мире все совсем не так, как в саду с обратной стороны Луны, и что заклятье Артаксеркса все еще лежит на его величине и, следовательно, на громкости его лая.

Спустя некоторое время Мью медленно и скорбно понес его обратно к бухте.

Здесь его ждал совершенно неожиданный сюрприз: Псаматос разговаривал с китом! Это был Юин — старейший из всех Верных Китов. Со своей гигантской, возвышающейся над глубокой заводью головой Юин показался крошечному Роверу целой горой.

— Извиняюсь, но я не мог раздобыть немедленно что-нибудь поменьше, — промолвил Псаматос. — Но он очень удобный.

— Входи! — сказал кит.

— Пока! Входи! — сказала чайка.

— Входи! — сказал Псаматос. — И быстро! Только не вздумай кусаться или царапаться изнутри: Юин может закашляться, и у тебя будут проблемы.

Это было почти так же жутко, как тогда, когда ему велели прыгать в дыру в подвале Человека-на-Луне. Ровер попятился. И тогда Мью и Псаматос впихнули его вовнутрь.

Да-да, они запихнули его безо всяких церемоний, и китовьи челюсти с треском захлопнулись.

Внутри царила поистине непроницаемая тьма и пахло рыбой. Ровер сидел и дрожал. И пока он сидел, не смея даже почесать ухо, он слышал — или думал, что слышит, — как плюхает по воде китовый хвост. И он чувствовал — или думал, что чувствует, — как кит все глубже и глубже погружается, направляясь ко дну Глубокого Синего Моря.

Тем не менее, когда кит остановился и вновь широко разинул пасть (очень довольный, что может наконец-то сделать это, — потому что киты предпочитают плавать с широко раскрытой, наподобие трала, пастью, в которую сама в изрядном количестве заплывает пища; однако Юин был очень внимательным млекопитаю-

щим) и Ровер выскользнул наружу, там было глубоко, неизмеримо глубоко, однако совсем не сине. Откуда-то лился зеленоватый свет. Ровер обнаружил, что стоит на тропе из белого песка, извивающейся среди смутно видимого фантастического леса.

— Ступай прямо! Тебе не придется идти долго, — произнес Юин.

Ровер пошел прямо, насколько позволяла тропа, и вскоре увидел перед собой ворота величественного дворца, сделанного, казалось, из розового и белого камня и сиявшего бледным, пронизывающим стены светом. В окнах ослепительно сверкали зеленые и голубые огни. Стены со всех сторон окружали громадные морские деревья, даже еще более высокие, нежели дворцовые купола, которые, мерцая в темной воде, вздымались на необозримую высоту.

Огромные каучуковые стволы деревьев изгибались и колыхались словно стебли травы, и в тени их бесконечных ветвей гнездились рыбки, наподобие птиц, — золотые, серебряные, красные, синие, фосфоресцентные… Правда, рыбы не пели. Но зато пели русалки во дворце.

Как они пели!

И все морские волшебные существа пели хором,

и музыка плыла из окон, а сотни обитателей моря играли на трубах, дудках и морских раковинах.

Из темноты под деревьями ухмылялись, глядя на Ровера, морские гоблины, и он изо всех сил старался побыстрее проскользнуть мимо них: глубоко под водой лапы его стали неповоротливыми и грузными.

Почему он не утонул?

Я не знаю. Хотя предполагаю, что об этом позаботился Псаматос Псаматидес (а он знает о море гораздо — о да, гораздо больше, нежели большинство людей может даже представить себе; и это несмотря на то, что он никогда не погружал в него даже мизинца), пока Ровер и Мью гуляли, а он сидел, остывал и обдумывал новый план.

Как бы там ни было, Ровер не утонул. Но еще прежде чем добраться до входа, он уже почти желал очутиться в любом другом месте — пусть даже в сырых внутренностях кита. Потому что из пурпурных кустов высовывались такие причудливые формы и личины, что он чувствовал себя перед ними совершенно беззащитным.

Но вот наконец он очутился около огромной двери, а вернее, золотой, обрамленной кораллами арки с вделанной в нее дверью из цельной гигантской жемчужины, крепившейся на акульих

зубах. Дверным молотком служило громадное кольцо, инкрустированное белыми полипами, выпустившими наружу маленькие красные щупальца. Впрочем, Ровер все равно не мог достать до него да и никоим образом не смог бы его сдвинуть. Поэтому он залаял.

К его удивлению, лай прозвучал довольно громко. Как только он пролаял трижды, музыка во дворце стихла и дверь открылась.

И кто бы, вы думали, открыл ее? Артаксеркс собственной персоной, одетый в нечто бархатное, сливового цвета, и в зеленые шелковые брюки. И у него все еще была во рту большая трубка. Вот только выпускала она не табачный дым, а красивые радужные пузыри. Однако шляпы на нем не было.

— Ага, — сказал он. — Итак, ты вернулся. Я так и думал, что тебя скоро утомит этот старый Псаматос.

Ох, как же он фыркнул это преувеличенное «П»!

— Он же ни на что не способен! Ну, и зачем же ты пожаловал сюда? У нас тут вечеринка, а ты прервал музыку.

— Пожалуйста, мистер Артарксекс… То есть я имею в виду Артерксакс… — начал было Ровер,

очень волнуясь и стараясь быть чрезвычайно вежливым.

— О, не важно, как это произносится! Я не обращаю на это никакого внимания! — произнес волшебник довольно сварливо. — Приступай прямо к объяснению, и покороче: у меня нет времени на пустую болтовню.

Со времени женитьбы на богатой дочери морского царя и назначения на пост Пан-Атлантического и Тихоокеанского Мага (ПАМа для краткости, когда его не было поблизости) он весьма преисполнился чувством собственной значимости (по отношению к посторонним).

— Если ты желаешь видеть меня по какому-нибудь неотложному делу, тебе лучше войти и подождать в зале. Возможно, я выберу момент после окончания танцев.

Он закрыл дверь позади Ровера и удалился. Бедный пес остался один посреди огромного затемненного пространства под тускло освещенным куполом. Всюду виднелись сплошь занавешенные водорослями остроконечные арки. Все они были темными, за исключением одной, сквозь которую лился яркий свет и доносилась громкая музыка. Музыка все звучала и звучала, ни разу не повторяясь и ни на минуту не прерываясь для

отдыха, и казалось, будет звучать вечно.

Роверу вскоре ужасно надоело ждать. Он подошел к сияющему дверному проему и заглянул за занавеску. Взгляду его открылась просторная бальная зала, имевшая семь куполов и десять тысяч коралловых колонн, полных теплой искрящейся воды и светящихся магическим образом. Золотоволосые русалки и темноволосые сирены пели и танцевали там свои танцы, сходные с набеганием волн друг на друга, — не танцы на хвосте, но дивные плавательные танцы: вверх-вниз, туда-сюда, в чистой, прозрачной воде.

Никто не заметил, как нос песика просунулся сквозь водоросли в дверь, и, поглазев немного, Ровер вполз внутрь целиком. Пол был сделан из серебристого песка и розовых раковин, широко раскрывших свои створки наподобие крыльев бабочек и взмахивавших ими в легких завихрениях воды, так что пес был вынужден осторожно пробираться среди них, держась поближе к стене.

Внезапно над ним раздался голос:

— Какая прелестная собачка! Это земная собачка — не морская, я уверена. Как она сюда попала, такая крошка?..

Ровер взглянул вверх и увидел красивую морскую леди с большим черным гребнем в золотых

волосах, сидящую на уступе невысоко над ним. Ее достойный сожаления хвост свисал, покачиваясь, и она чинила один из зеленых носков Артаксеркса.

Разумеется, это была новоиспеченная миссис Артаксеркс (более известная как «принцесса ПАМ»: она была личность довольно популярная, чего никак нельзя было сказать о ее супруге). Артаксеркс в этот момент сидел подле нее и — было у него время на досужую болтовню или нет — слушал последнюю из своих многочисленных жен.

Вернее, слушал, пока не объявился Ровер. Миссис Артаксеркс бросила свою болтовню, а также починку носка, как только завидела песика, и, плавно соскользнув вниз, взяла его на руки и нежно понесла к себе в кресло. В действительности это был подоконник первого этажа: для морских обитателей почти нет разницы между дверьми и окнами — по той же причине, по которой у них нет лестниц. А также зонтиков.

Морская леди вновь удобно расположила свое прекрасное (и довольно обширное) тело на сиденье и водрузила Ровера к себе на колени. И немедленно из-под подоконника-кресла раздалось ужасающееее рычанье.

— Лежать, Ровер! Лежать! Хорошая собака! —

произнесла миссис Артаксеркс.

Однако обращалась она вовсе не к нашему Роверу, а к белой морской собаке, вылезшей невесть откуда, несмотря на то что ей было сказано, и теперь рычавшей, ворчавшей и колотившей по воде своими маленькими перепончатыми лапками, бьющей по ней большим толстым хвостом и пускающей пузыри своим острым носом.

— Фу, какая гадость! — произнесла эта новая собака. — Поглядите-ка на его жалкий хвост! Посмотрите на его лапы! На его дурацкую шерсть!

— Да ты на себя посмотри! — не задержался с ответом Ровер, сидя на коленях морской леди. — И тебе вряд ли захочется делать это снова! Ты, гибрид утки с головастиком, претендующий на то, чтобы зваться собакой! И кто только вздумал назвать тебя Ровером?

Из этого вы можете понять, что они весьма понравились друг другу с первого же взгляда.

Действительно, вскоре они уже были большими друзьями. Ну, возможно, не такими, как с лунным псом, но это разве только из-за того, что пребывание Ровера под водой было более кратковременным. А кроме того, глубины — не такое уж приятное место для маленьких собачек, не то

что Луна. В них полно темных и ужасных мест, куда никогда не проникал и не проникнет свет, потому что они так никогда и не будут открыты, покуда на свете есть свет. Ужасающие существа живут там — слишком старые, чтобы это можно было себе представить, слишком сильные, чтобы на них подействовали хоть чьи-то заклинания, слишком огромные, чтобы их измерить. Артаксеркс успел уже это заметить. Пост ПАМа — не самое увлекательное занятие в мире…

— Ну а теперь плывите и забавляйтесь! — произнесла его жена, когда собачья перепалка закончилась и животные стали просто обнюхивать друг друга. — Не приставайте к огненным рыбам, не жуйте актинии, не попадайтесь двустворчатым моллюскам — и возвращайтесь к ужину!

— Простите, пожалуйста, — робко сказал Ровер, — но я не умею плавать.

— О господи! Какая досада! — промолвила она. — А ну-ка, ПАМ (она была единственная, кому не возбранялось называть его так в глаза)! Вот наконец-то нечто, что ты действительно мог бы сделать.

— Конечно-конечно, моя дорогая! — произнес волшебник, горя желанием услужить ей и

довольный, что может продемонстрировать кое-какие из своих магических способностей и тем самым доказать, что он не совершенно бесполезен в качестве официального лица (надо сказать, на морском языке у чиновников существует прозвище — что-то вроде нашего «банный лист»[9]).

Он вытащил из кармана жилета небольшую волшебную палочку — в действительности это была его авторучка, но под водой ею нельзя было писать: морской народ пользуется такими чудными вязкими чернилами, что их никак не применишь в обычной земной ручке, — и взмахнул ею над Ровером.

Что бы ни говорили некоторые, Артаксеркс, несомненно, был очень хорошим магом. А иначе с Ровером никогда бы не случилось все то, что случилось. Другое дело, что магическое искусство, которым он владел, касалось вещей малозначительных и, кроме того, нуждалось в постоянной практике.

Как бы там ни было, после первого же его взмаха хвост Ровера начал приобретать рыбоподобие, его лапы стали перепончатыми, а шкура все больше и больше походила на непромокаемый

---

[9] Примечания: 9

Очевидно, из-за их назойливости. — *Примеч. пер.*

дождевик. Надо сказать, наш пес быстро привык к своему новому облику и обнаружил, что научиться плавать гораздо легче, чем летать, что это почти так же приятно и совсем не столь утомительно — конечно, если вы не будете упорно пытаться утонуть.

После пробного заплыва вокруг бальной залы он первым делом укусил морскую собаку за хвост. Разумеется, в шутку. Однако эта шутка моментально привела к драке, поскольку морской пес обладал несколько обидчивым характером. Спасаясь, Ровер бежал со всех ног. О да, ему понадобилось все его проворство!

Вот это была погоня! Из окна в окно, сквозь темные коридоры и вокруг колонн, наружу, вверх, вокруг куполов… Пока наконец сам морской пес не выдохся, и его дурной характер тоже, и тогда псы уселись рядышком на верхушке самого высокого купола близ флагштока. Сотканное из алых и зеленых водорослей и усыпанное жемчугом знамя морского царя плыло над ними.

— Как тебя зовут? — спросил морской пес после паузы, во время которой он никак не мог перевести дыхание. — Ровер? — переспросил он. — Так это же мое имя! Я первый получил его, поэтому тебя не могут так звать!

— Откуда ты знаешь, что ты первый?

— Ну как же! Я же вижу, что ты еще щенок, тогда как я был заколдован сотни и сотни лет назад. Полагаю, я — самый первый из всех собак-Роверов.

Мой первый хозяин был истинным ровером — бродягой, морским скитальцем, чей корабль бороздил северные воды. Это был большущий корабль — очень длинный, с алыми парусами и резным носом в виде дракона. И мой хозяин любил его и звал Алый Червь.

А я любил хозяина, хотя и был всего лишь щенком. Хозяин едва замечал меня, поскольку я недостаточно вырос, чтобы ходить на охоту, а в плаванье он собак не брал. Но однажды я отправился в море, не спросясь.

Он прощался с женой. Дул свежий ветер, и люди скатывали Алого Червя в воду. Вокруг шеи дракона кипела белая пена, и я внезапно почувствовал, что могу больше никогда не увидеть хозяина, если не отправлюсь вместе с ним. Кое-как я вскарабкался на борт и спрятался за бочкой с водой. И прежде чем меня нашли, мы были уже далеко в море.

Тогда-то меня и прозвали Ровером — когда вытаскивали на свет за хвост. «Вот так морской

бродяга!» — сказал один. «И странная же у него судьба: никогда не вернуться домой», — сказал другой, с чудными глазами. И действительно, я так и не вернулся домой. И я так и не вырос нисколько, хотя теперь я гораздо старше — и мудрее, разумеется.

В тот раз у нас случился морской бой. Я взбежал на нос, а вокруг падали стрелы и мечи звенели о щиты. Люди Черного Лебедя взяли нас на абордаж и швырнули за борт всех людей моего хозяина. Он был последним. Он стоял рядом с драконьей головой, затем бросился в море во всей броне, и я бросился вслед за ним. Он пошел ко дну быстрее, чем я, и его подхватили под водой русалки.

Я попросил их поскорее вынести его на землю, ибо многие будут плакать, не вернись он домой. Они улыбнулись и взвились с ним вверх и унесли его прочь. И теперь некоторые говорят, что они вынесли его на берег, а другие качают головами, когда я их спрашиваю об этом. На русалок нельзя положиться: они хранят свои секреты так, что превосходят в этом даже устриц.

Я часто думаю, что на самом-то деле, вероятно, они похоронили его в белом песке: далеко-далеко отсюда все еще можно видеть кусок Алого Червя, потопленного людьми Черного Лебедя. Во вся-

ком случае, он был там, когда я в последний раз проплывал мимо. Вокруг рос лес водорослей и покрывал его целиком, за исключением головы дракона — на ней каким-то чудом не обосновались даже полипы. И вот под ней-то я и увидел насыпь из белого песка.

Я покинул те места очень давно. Мало-помалу я превратился в морского пса — в то время старейшие обитательницы моря неплохо колдовали, и одна из них была добра ко мне. Это она преподнесла меня в качестве подарка морскому царю, деду правящего ныне, и с тех пор я всегда нахожусь во дворце или поблизости от него.

Вот тебе вся моя история. Случилось это сотни лет назад. С тех пор я повидал много верхних и нижних морей, но никогда больше не был дома.

Ну, а теперь расскажи о себе! Я полагаю, ты никоим образом не с Северного моря — прежде мы звали его Английским морем — и не знаешь никаких древних мест на Оркнейских островах или поблизости от них?

Наш Ровер вынужден был сознаться, что никогда прежде и не слыхивал ни о чем таком, кроме как просто о «море», да и об этом-то весьма немного.

— Но зато я был на Луне, — сказал он и поведал

своему новому другу все, что, как он надеялся, тот сможет понять.

Морскому псу ужасно понравился рассказ Ровера, и он поверил по крайней мере половине услышанного.

— Веселенькая байка, — промолвил он. — Лучшая из всех, что я слышал за долгое время. Я видел Луну — знаешь, я иногда поднимаюсь на поверхность, — но я и представить себе не мог на ней ничего подобного. Но черт! Каков наглец этот небесный щенок! Три Ровера! Два — и то слишком, но уж три… И я ни на минуту не поверю, что он старше меня. Да я сильно удивлюсь, если ему стукнуло хотя бы сто лет…

И весьма вероятно, что он был абсолютно прав. Как вы, очевидно, успели заметить, лунный пес многое сильно преувеличивал.

— Во всяком случае, — продолжал морской пес, — он сам дал себе имя. Мое же было мне дано.

— Так же, как мое — мне, — сказал наш песик.

— Да, но безо всякого смысла и прежде чем ты мог так или иначе его заслужить. Мне нравится идея Человека-на-Луне. Я тоже буду звать тебя Роверандомом. И, будь я на твоем месте, я бы так это и оставил: похоже, совершенно неизвестно, куда

тебя еще может занести… Ну, пошли ужинать!

Ужин у них был рыбный. Однако Роверандом к этому скоро привык. Такая еда, судя по всему, устраивала его перепончатые лапы.

После ужина он вдруг вспомнил, зачем, собственно, явился на дно морское, и отправился искать Артаксеркса.

Он нашел его, когда тот выдувал пузыри на потеху морской детворе и превращал их в настоящие мячи.

— Пожалуйста, мистер Артаксеркс, не мог бы я побеспокоить вас, чтобы вы превратили меня… — начал было Ровер.

— О! Убирайся! — произнес волшебник. — Ты что, не видишь, что ли? Мне некогда. Я занят. Не сейчас.

Таким образом Артаксеркс весьма часто обращался с теми, кого считал незначительным. Он достаточно хорошо понимал, чего хочет Ровер, однако ничуть не торопился.

Итак, бедный Роверандом уплыл несолоно хлебавши и отправился в постель (точнее, в скопление водорослей на высокой скале в саду).

Случилось так, что именно в это самое время под скалой отдыхал старый кит. И если кто-нибудь вам скажет, что киты не спускаются на дно

и не остаются там подремать несколько часиков, можете позволить себе не беспокоиться: старый Юин во всех отношениях был китом исключительным.

— Ну? — спросил он. — Как дела? Я вижу, ты все еще величиной с игрушку. Что, Артаксеркс не может сделать что-нибудь — или не хочет?

— Я думаю, он может, — сказал Роверандом. — Поглядите-ка на мой новый вид! Но каждый раз, как я пытаюсь подойти к вопросу величины, он твердит, что занят и что у него нет времени на долгие объяснения.

— Хм! — произнес кит и свалил хвостом подводное дерево, при этом Роверандома чуть не смыло со скалы.

— Сомневаюсь, чтобы ПАМ добился успеха в этих краях. Впрочем, это не моя забота. С тобой все будет в порядке, рано или поздно. А пока здесь есть масса нового, что ты можешь увидеть завтра. Спи. Спокойной ночи!

И он уплыл в темноту.

Доклад, сделанный им по возвращении в бухту, поверг старого Псаматоса в еще бо́льшую ярость.

Все огни во дворце погасли. Ни лучика от луны или звезд не пробивалось сквозь темную толщу воды, зеленый цвет которой все мрачнел и мрач-

нел, покуда не перешел в черноту без единого проблеска. Разве что проплывет неторопливо сквозь водоросли большая светящаяся рыба…

Сон Роверандома был глубок в ту ночь и на следующую, а также и все последующие ночи. И весь следующий день, а также следующий за ним он все высматривал и высматривал волшебника — и нигде не мог найти его. Он уже начинал чувствовать себя вполне морским псом и подумывать, а не для того ли он попал сюда, чтобы остаться здесь навечно, когда как-то раз утром морской пес сказал ему:

— Ну его к черту, этого волшебника! Не приставай ты к нему! Оставь его в покое хотя бы сегодня. Давай лучше уплывем куда-нибудь, по-настоящему далеко!

И они уплыли. И это «по-настоящему далекое» плавание обернулось для них путешествием на много и много дней.

За это время псы покрыли огромное расстояние; ведь вы должны помнить, что они были созданиями заколдованными и мало кто из обычных обитателей моря смог бы за ними угнаться.

Устав от обрывов и гор на дне и от соревнований в скорости на средней высоте, они поднимались выше, выше и выше, на мили и мили, прямо

сквозь толщу воды. Но когда бы они ни достигали поверхности, кругом не было видно никакой земли.

…Море вокруг было гладким, спокойным и серым. Внезапно оно подернулось рябью, и темные заплаты запестрели на нем под слабым дуновением холодного ветра — ветра рассвета. В мгновение ока солнце, издав клич, проглянуло из-за обода моря, такое красное, словно выпило горячего вина, и, стремглав вспрыгнув в воздух, отправилось в свое ежедневное путешествие. Кромки волн окрасились в золото, а тени меж ними — в темную прозелень.

На границе моря и неба прямо в солнце плыл корабль, и на фоне пылающего огня мачты его казались черными.

— Куда он плывет? — спросил Ровер.

— О! Полагаю, в Японию, или в Гонолулу, или в Манилу, или на остров Пасхи, или Четверга, или во Владивосток, или куда там еще, — промолвил морской пес, чьи географические познания были несколько туманны, несмотря на хваленые сотни лет рыскания по морям. — Я думаю, это должен быть Тихий океан. Не знаю только, какая из его частей — теплая, судя по ощущениям. Это довольно-таки обширное водное пространство.

Поплыли дальше, не мешало бы чего-нибудь перекусить!

Когда они вернулись несколькими днями позже, Роверандом снова отправился на поиски волшебника — у него было такое чувство, что он дал тому отдохнуть достаточно долго.

— Пожалуйста, мистер Артаксеркс, не могли бы вы… — начал он как обычно.

— Нет! Не мог! — заявил Артаксеркс даже еще более категорично, чем всегда.

Впрочем, на этот раз он действительно был очень занят. По почте поступили жалобы.

Как вы все, разумеется, можете себе представить, в море существует множество дел, которые идут неважно. И даже самый лучший ПАМ не может этого предотвратить. А с некоторыми из этих дел вообще непонятно что можно поделать. Обломки кораблей сыплются на крышу вашего дома. Извержения вулканов, случающиеся на дне моря, — точь-в-точь как у нас, — могут разметать ваше премированное стадо золотых рыбок, или разрушить дипломированную клумбу актиний, или уничтожить единственную и неповторимую жемчужную раковину или знаменитую скалу и коралловый сад. Дикая рыбина может затеять драку на проезжей части и покалечить русало-

чью детвору. Безмозглые акулы заплывают к вам в окно столовой и портят весь обед. Дремучие, немыслимых размеров монстры черных пропастей наводят ужас и творят безобразия…

Морской народ испокон веков терпел все это, однако не без жалоб. О да, они любили жаловаться! Конечно, они и теперь писали письма и в *«Еженедельную прополку водорослей»*, и в *«Русалочью почту»*, и в *«Океанские взгляды»*, но ведь теперь у них был ПАМ! И вот они писали также и ему и ругали за все *его* — даже за то, что кого-то из них ущипнул за хвост его собственный ручной омар.

Они говорили, что его магия не соответствует требованиям (и это было действительно так), и что его зарплату необходимо снизить (что было правильно, но грубо), и что ему малы ботинки (что было также почти верно, хотя им бы надо было сказать «шлепанцы» — поскольку он был слишком ленив, чтобы часто надевать ботинки), и еще много чего — вполне достаточно, чтобы Артаксерксу было о чем беспокоиться каждое утро, особенно по понедельникам. Каждый раз по понедельникам его ожидало несколько сотен конвертов!

Был как раз понедельник. Поэтому Артаксеркс

бросил в Роверандома обломок камня, и тот ретировался как устрица из сетки.

Он очень даже обрадовался, когда, вылетев в сад, обнаружил, что вид его ничуть не изменился. И вправду, смею сказать, что, не ретируйся он так быстро, волшебник вполне мог бы превратить его в морского слизня или заслал бы его на самый Край Запредела (где бы он ни был) или даже в Клубящийся Котел (который находится в самом глубоком месте самого глубокого моря).

Пес был очень раздосадован и пошел излить душу морскому Роверу.

— Оставил бы ты его лучше в покое. Во всяком случае, пока не кончится понедельник, — посоветовал морской пес. — Если бы я был тобой, я бы вообще пропускал все понедельники. Пошли поплаваем!

После этого случая Роверандом дал волшебнику отдохнуть так долго, что они оба почти забыли друг о друге. Хотя не совсем: собаки так легко не забывают обломки камней…

Похоже было, что Роверандом весьма прочно обосновался во дворце в статусе домашнего животного. Он вечно пропадал где-то с морским псом, и нередко к ним присоединялась русалочья детвора. По мнению Роверандома, она была

не такая веселая, как двуногие дети (но это, конечно, потому, что он не принадлежал морю изначально и не мог быть беспристрастным), но все же давала ему возможность чувствовать себя достаточно счастливым. Благодаря ей он мог бы остаться здесь навечно и в конце концов забыть про мальчика…

…если бы не кое-что, случившееся чуть позже.

Когда мы подойдем к этим событиям, вы можете задать себе вопрос: а не имел ли к ним отношения Псаматос?

Во всяком случае, в море было огромное количество детей, так что выбирать было из кого. У старого морского царя были сотни дочерей и тысячи внуков, и все они жили в том же самом дворце, и всем им ужасно нравились оба Ровера — и миссис Артаксеркс они нравились тоже. Жаль, что Роверандому не пришло в голову рассказать ей свою историю, ибо уж она-то знала, как добиться от ПАМа всего чего угодно, при любом его настроении. Но в таком случае, разумеется, пес раньше бы покинул те места и, несомненно, лишился множества впечатлений.

Он посетил вместе с миссис Артаксеркс и некоторыми из морских ребятишек Великие Белые Пещеры, где втайне от постороннего глаза хра-

нятся все драгоценности, что когда бы то ни было сгинули в море, и еще великое множество тех, что всегда были в море, включая, конечно же, целые горы жемчуга.

В другой раз они навестили малых морских фей, живущих на дне в своих крохотных стеклянных домиках. Плавают морские феи редко — чаще передвигаются по дну моря пешком, выбирая наиболее ровные места, и при этом всегда что-то напевают себе под нос. Или же ездят в колесницах-ракушках, запряженных самыми крошечными из рыбок; или скачут верхом, накинув на маленьких зеленых крабов уздечки из тончайших нитей (что, разумеется, не мешает тем, как обычно, передвигаться боком). И им досаждают морские гоблины, которые больше ростом, и уродливы, и скандалисты, и ничего другого не делают, кроме как дерутся, охотятся на рыб и носятся повсюду на своих морских конька…
Гоблины достаточно долго могут обходиться без воды и любят в шторм скользить на гребне прибоя к самой кромке берега. Некоторые из морских фей тоже так умеют, однако предпочитают тихие теплые летние ночи на пустынных побережьях, вследствие чего их мало кто может увидеть…

А как-то раз вернувшийся старина Юин для

перемены обстановки устроил псам прогулку верхом на себе. Ну и ощущение же это было — будто вы оседлали движущуюся гору! Они отсутствовали много-много дней и добрались до самого восточного края мира. Там кит всплыл на поверхность и изверг водяной фонтан такой высоты, что бо́льшая его часть выплеснулась через край, за пределы мира.

А еще как-то он отправился с ними на другую сторону мира (и подобрался к ней так близко, как только посмел). И это было еще более долгое и еще более восхитительное путешествие; как Роверандом понял гораздо позже, когда вырос и стал пожилой, умудренной опытом собакой, — самое изумительное из всех пережитых им путешествий.

Рассказать вам обо всех их приключениях в Неотмеченных-на-карте-Водах и о том, что они видели мельком в землях, не известных географии, прежде чем пересекли Моря Смутных Отражений и достигли великой Бухты Волшебной Страны (это мы, люди, так зовем ее) позади Островов Магии, и увидели там, далеко-далеко, на самом краю Запада горы Прародины Эльфов и разлитый над волнами свет Самого Волшебства… — о, это составило бы по меньшей мере

другую историю. На миг Роверандому даже показалось, что он видит эльфийский город на зеленом холме пониже линии гор — белоснежный проблеск, страшно далеко; но тут Юин вновь нырнул, да так внезапно, что он не смог удостовериться наверняка. Если это действительно так, то он — одно из очень и очень немногих двуногих или четвероногих созданий, ходящих по нашей земле, кто смог бросить взгляд на ту, другую землю — пусть и очень издали.

— Мне бы не поздоровилось, если бы нас заметили! — сказал Юин. — Никто из Лежащих Вовне Земель, как полагают, никогда даже и не приближался к этому месту ни прежде, ни теперь. Так что — молчок!

Ну что еще сказать о собаках? Нет, они не забыли о каменных обломках и дурном характере. Несмотря на все самые разнообразные достопримечательности и на все свои поразительные путешествия, в самой глубине памяти Роверандом неизменно хранил свою обиду. И каждый раз, когда он возвращался домой, она вылезала наружу.

Первой же его мыслью бывало: «Ну и где теперь этот чертов волшебник? Что пользы быть с ним вежливым? Да я опять при первой же, хоть

крохотной возможности раздеру ему все брюки сверху донизу!..»

В таком состоянии духа был он и в тот раз, когда, после очередной безуспешной попытки поговорить с Артаксерксом наедине, увидел мага, отбывающего по одной из ведущих из дворца царских дорог. Тот, конечно, был слишком гордым, чтобы, в его-то годы, отращивать хвост или плавники и учиться плавать как следует. Единственное, что он делал так же хорошо, как рыба, так это пил (даже в море! какова же должна была быть его жажда!). Массу времени, которое в ином случае он мог бы использовать для официальных дел, он проводил, наколдовывая в большие бочонки, стоявшие в его личных апартаментах, сидр. Если же он хотел передвигаться побыстрее, то на чем-нибудь ехал.

Когда Роверандом увидел его, он ехал в своем «экспрессе» — гигантской, закрученной винтом раковине, влекомой семью акулами. Народ освобождал дорогу моментально: акулы ведь очень больно кусаются…

— Давай за ним! — крикнул Роверандом морскому псу, и они припустили вслед по обрыву. И эти две противные собаки швыряли в карету здоровенные камни всюду, где она приближа-

лась к обрыву. Как я уже говорил, они могли передвигаться изумительно быстро, и вот они мчались вперед, прячась в водорослевых кустах и спихивая вниз все, что лежало на самом краю. Это чрезвычайно досаждало волшебнику, но они тщательно следили за тем, чтобы он их не заметил.

Артаксеркс и выехал-то в ужасном расположении духа, а не успев проехать и мили, был просто в бешенстве — к которому, впрочем, примешивалась значительная доля тревоги. Ибо ему предстояло расследовать ущерб, причиненный весьма необычным водоворотом, появившимся внезапно и в такой части моря, которая ему ну совсем не нравилась. Он полагал — и был совершенно прав, — что к происходящим в том районе пренеприятнейшим вещам лучше бы не иметь никакого отношения.

Беру на себя смелость предположить, что вы уже смогли догадаться, в чем там было дело. Артаксеркс — мог.

Древний Морской Змей просыпался.

Или полудумал сделать это.

Долгие годы пребывал он в глубоком сне, но теперь начал поворачиваться. Когда он не был свернут в кольца, то достигал сотен миль в

длину (некоторые говорят даже, что он мог бы протянуться от края до края мира, но это преувеличение); когда же он был свернут, то лишь одна пещера, помимо Клубящегося Котла — где он обычно и жил и где многие желали бы ему оставаться, — да, одна только пещера во всех океанах могла вместить его. И находилась она, к превеликому несчастью, вовсе не за сотни миль от дворца морского царя.

Когда Морской Змей во сне разворачивал одно-два из своих колец, воды взбаламучивались и сокрушали человеческие дома и нарушали покой людей на сотни и сотни миль вокруг. И было, конечно же, очень глупо посылать ПАМа посмотреть, что там такое, потому что Морской Змей слишком огромен, и силен, и стар, и туп, чтобы кто бы то ни было вообще мог его контролировать. «Примордиальный»[10], «предысторический», «Сама Морская Стихия», «легендарный», «мифический» и «придурок» — таковы были другие эпитеты, прилагаемые к нему, и Артаксеркс это слишком хорошо знал.

Даже если бы Человек-на-Луне работал без устали пятьдесят лет, он не состряпал бы заклинания

---

[10] Примечания: 10
Предвечный. — *Примеч. пер.*

столь развернутого и могущественного, чтобы оно оказалось способным сковать Морского Змея. Единственный раз он только попытался — когда в этом была уж совсем большая нужда, — и в результате по меньшей мере один континент ушел под воду.

Бедняга Артаксеркс рулил прямо ко входу в пещеру. Но еще не успев выйти из экипажа, он увидел высовывающийся из устья пещеры кончик змеиного хвоста.

Был он больше, чем целый состав гигантских цистерн для воды, и был он зеленый и склизкий…

Этого Артаксеркс вынести уже не мог. Он хотел домой, и немедленно, прежде чем этот Червяк начнет поворачиваться снова — как все червяки, в самый случайный и неожиданный момент.

И тут все испортил маленький Роверандом. Он знать ничего не знал о Морском Змее и его чудовищной мощи. Он думал лишь о том, как бы досадить этому идиотскому волшебнику с его кошмарным характером. И когда подвернулся момент — а Артаксеркс стоял как дурак, замерев и уставившись на видимый конец Змея, тогда как его скакуны ни на что особо внимания не обращали, — пес подполз поближе и укусил одну

из акул за хвост, просто для смеха.

Для смеха! Но какого смеха!

Акула подпрыгнула и устремилась прямо вперед, и повозка подпрыгнула и также устремилась вперед; и Артаксеркс, который только-только повернулся, чтобы влезть в нее, свалился на спину. Затем акула укусила единственное, до чего могла в тот момент дотянуться, а это был хвост впереди стоящей акулы. И та акула укусила следующую, и так далее, пока передняя из семи, не видя перед собой больше ничего, что можно было бы укусить…

О боже! Идиотка!!!

…Если б только она не бросилась вперед и не укусила за хвост Морского Змея!!!

Морской Змей совершил новый и весьма неожиданный поворот! И в следующий момент собаки почувствовали, как их, перепуганных до потери сознания, завертело волчком во взбесившейся воде, с размаху ударяя о крутившихся с головокружительной скоростью рыб и вращающиеся спиралью морские деревья, в туче выкорчеванных водорослей, песка, раковин и всякого хлама.

Становилось все ужасней и ужасней, потому что Змей продолжал поворачиваться.

И посреди всего этого вращался по всему пространству бедный старый Артаксеркс, кляня их последними словами.

Акул, я имею в виду.

К счастью для нашей истории, он так никогда и не узнал, что сделал Роверандом.

Я не ведаю, как собакам удалось добраться до дому. Во всяком случае, прежде чем это смогло произойти, прошло много, очень много времени. Сначала их вымыло на берег одним из ужасающих приливов, порожденных шевелением Морского Змея. Затем их выловили рыбаки и уже почти отослали в Аквариум (отвратительная судьба!), но в последний момент им удалось избежать этого ценой сбитых, не приспособленных к суше лап, которыми им пришлось пользоваться изо всех сил все время, пока они пробирались сквозь бесконечный земной беспорядок.

И когда наконец они вернулись домой, там тоже был ужасный беспорядок. Весь морской народ столпился вокруг дворца, выкрикивая:

— Подать сюда ПАМа! (Да-да! Они называли его так прилюдно, без всякого уважения).

ПОДАТЬ СЮДА ПАМа!! ПОДАТЬ СЮДА ПАМа!!!

А ПАМ прятался в подвалах.

В конце концов миссис Артаксеркс отыска-

ла его там и заставила выйти наружу, и весь морской народ завопил, когда он выглянул из чердачного окошка:

— Прекрати это безобразие! ПРЕКРАТИ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ!! **ПРЕКРАТИ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ!!!**

И они устроили такой гвалт, что люди на всех берегах всего мира подумали: почему это море сегодня шумит громче обычного?..

И ведь так оно и было!

И все это время Морской Змей продолжал поворачиваться, бессознательно пытаясь засунуть себе в пасть кончик хвоста.

Но хвала небу! Он не проснулся как следует, до конца, — а иначе он мог бы выползти наружу и в гневе тряхнуть хвостом, и тогда еще один континент пошел бы ко дну. (Конечно, насколько это *действительно* было бы достойно сожаления, зависит от того, что это за континент и на каком живете вы…)

Однако морской народ жил не на континенте, а в море и прямо-таки в самом пекле событий…

…и там становилось чересчур жарко. И они требовали, чтобы морской царь обязал произвести какое-нибудь заклинание, найти средство или решение, способное успокоить Морского Змея. Ибо они не могли дотянуться руками до лица,

чтобы перекусить или высморкаться, — так сотрясалась вода; и каждый ударялся о кого-нибудь еще, и вся рыба заболела морской болезнью — так колыхалась вода; и все вокруг так завихрялось и было так много песку, что все поголовно кашляли и танцы пришлось прекратить.

Артаксеркс тяжело вздохнул. Но все-таки он был обязан что-то предпринять. И вот он отправился в свою мастерскую и заперся на две недели, во время которых произошли три землетрясения, два подводных урагана и ряд беспорядков среди морского народа. Затем он наконец вышел и испустил грандиознейшее заклинание (в сопровождении убаюкивающего песнопения) в некотором отдалении от пещеры; и все отправились домой и засели в подвалах в ожидании — все, кроме миссис Артаксеркс и ее незадачливого мужа. Волшебник был обязан остаться (на расстоянии — но не на безопасном расстоянии!) и наблюдать за результатом, миссис же Артаксеркс была обязана остаться и наблюдать за волшебником.

Единственное, что сделало заклинание, — оно вызвало у Змея кошмарный сон. Ему приснилось, что он сплошь покрыт полипами (это было пренеприятно и частично соответствова-

ло действительности) и, кроме того, медленно поджаривается в вулкане (что было очень болезненно и, увы, полностью являлось плодом его воображения).

И это разбудило его!

Впрочем, возможно, магия Артаксеркса все-таки была лучше, чем о ней полагали. Во всяком случае, Морской Змей не выполз наружу — к счастью для нашей истории. Он только положил голову туда, где был его хвост, зевнул, открыв пасть, широченную, как пещера, и издал такой громкий храп, что его услышали во всех подвалах всех морских королевств.

И произнес:

— ПРЕКРАТИТЕ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ!

И добавил:

— ЕСЛИ ЭТОТ ЗАКОНЧЕННЫЙ ИДИОТ-ВОЛШЕБНИК НЕ УЙДЕТ ОТСЮДА НЕМЕДЛЕННО

И ЕСЛИ ОН КОГДА-НИБУДЬ ТОЛЬКО ПОПРОБУЕТ СУНУТЬ В МОРЕ ХОТЬ ПАЛЕЦ,

Я ВЫЙДУ,

И ТОГДА Я СНАЧАЛА СЪЕМ ЕГО,

А ПОТОМ РАЗНЕСУ ВСЕ ДО КАПЛИ.

ВДРЕБЕЗГИ.

ВСЕ!

СПОКОЙНОЙ НОЧИ!

И миссис Артаксеркс увела ПАМа домой в полуобморочном состоянии.

Когда он пришел в себя — а произошло это быстро, о чем позаботились, — он снял со Змея заклинание и запаковал в мешок. И все говорили и кричали:

— Прогоните ПАМа прочь! Скатертью дорога! ВСЁ! Счастливо!

И морской царь сказал:

— Мы не хотим лишаться тебя, но мы думаем, что тебе лучше уйти.

И Артаксеркс почувствовал себя очень маленьким и незначительным (что было ему весьма полезно). Даже морской пес смеялся над ним.

Однако забавно, что Роверандом был огорчен.

В конце концов, у него ведь были свои собственные основания понимать, что магия Артаксеркса далеко не бездейственна. И разве это не он укусил за хвост акулу? И вообще, ведь все это начал он сам — тем, брючным покусом…

Он сам принадлежал земле и потому чувствовал, как тяжело бедному земному волшебнику, которого преследует весь этот морской народ.

Так или иначе, он подошел к старику и произнес:

— Пожалуйста, мистер Артаксеркс!..

— Да? — сказал волшебник вполне приветливо (он был так рад, что его не называют ПАМом, и он уже много недель не слышал обращения «мистер»). — Чего тебе, песик?

— Извините, пожалуйста. Честное слово, мне ужасно неприятно. Я не хотел…

При этом Роверандом думал о Морском Змее и акульем хвосте, но Артаксеркс (к счастью!) решил, что он подразумевает его брюки.

— Ну-ну, пойдем, — промолвил волшебник. — Не будем ворошить прошлое. Чем меньше сказано — тем легче исправить. Я думаю, нам обоим лучше отправиться домой, вместе, а?

— Но, пожалуйста, мистер Артаксеркс, — сказал Роверандом, — нельзя ли попросить вас вернуть мне мою обычную величину?

— Ну конечно! — заявил волшебник, довольный, что нашелся кто-то, все еще верящий, что он хоть что-то может сделать. — Ну конечно же! Однако, пока ты еще здесь, внизу, тебе безопаснее оставаться таким, какой ты есть. Давай-ка сначала уберемся отсюда! И потом, я действительно, поистине именно сейчас очень занят.

И он действительно и поистине был занят.

Он пошел в мастерскую и собрал все свои па-

раферналии, инсигниции, меморандумы[11], символы, своды рецептов, магические напитки, приборы, а также мешки и бутылки самых разнообразных заклинаний. Он сжег все, что могло гореть, в водонепроницаемом горне, остаток же свалил в саду с обратной стороны дворца. После этого там стали происходить сверхъестественные вещи. Цветы разрослись так, словно обезумели. Овощи стали чудовищно огромными. Рыбы, которые съели овощи и цветы, превратились в морских червяков, морских котов, морских коров, морских львов, морских тигров, морских дьяволов, морских свиней, дюгоней, цефалоподов, ламантинов и пагуб — или же просто отравились. А кроме того, там столь густо выросли всякие бедствия — призраки, привидения, замешательства, обманы, галлюцинации, — что никто во дворце больше не имел ни минуты покоя, и все его обитатели вынуждены были оттуда переехать.

Сказать по правде, они зауважали волшебника после того, как лишились его, и хранили о нем память.

Но это уже было гораздо позже. А в тот момент они требовали, чтобы он ушел.

---

[11] Примечания: 11

Параферналии, инсигниции, меморандумы (*лат.*) — принадлежности, эмблемы, записи. — *Примеч. пер.*

Когда все было готово, Артаксеркс попрощался с морским царем — надо сказать, весьма холодно. Даже морская детвора не выглядела при прощании слишком огорченной, ведь он выдувал для нее пузыри (о чем я вам рассказывал) крайне редко. Правда, кое-кто из его бесчисленных свояченицы все же постарался быть вежливым — ведь рядом была миссис Артаксеркс; однако в действительности все с нетерпением ждали того момента, когда он выйдет за ворота и они смогут послать Морскому Змею смиренное послание: «Достойный сожаления волшебник отбыл и больше никогда не вернется, Ваша милость. Молим Вас, усните!»

Разумеется, миссис Артаксеркс ушла тоже. У морского царя было столько дочерей, что он вполне мог позволить себе потерять одну из них, особенно не скорбя, тем более десятую по старшинству. Он снабдил ее мешком драгоценностей и влажным поцелуем на ступенях дворца и вернулся к себе на трон.

Однако все остальные, и более всего множество морских племянниц и племянников миссис Артаксеркс, ужасно сожалели об одном — что им приходится терять также и Роверандома.

Больше всех был удручен этим морской пес.

— Всегда, когда будешь на море, капни мне весточку — и я мигом всплыву поглядеть на тебя.

— Обязательно! — сказал Роверандом.

И с тем они покинули дворец.

Старейший из всех китов ждал их. Роверандом сел на колени миссис Артаксеркс, и как только все они устроились у кита на спине, так тут же и отправились. И весь народ сказал «до свидания» очень громко и «скатертью дорога» тихо, но не очень.

Так Артаксеркс лишился звания Пан-Атлантического и Тихоокеанского Мага.

Кто творил с тех пор для морского народа колдовство, я не ведаю. Думаю, скорее всего, старый Псаматос и Человек-на-Луне управлялись с этим вдвоем. Они-то на это способны как никто!

5

Кит причалил у тихого берега далеко-далеко от бухточки Псаматоса — на этом особо настаивал Артаксеркс.

Миссис Артаксеркс и кит остались ждать, тогда как волшебник с Роверандомом в кармане прогулялся пару миль в соседний приморский городок, где обменял свой замечательный бархатный наряд (произведший на улицах сенсацию)

на старый костюм, зеленую шляпу и немного табака. Он также приобрел сидячую ванну для миссис Артаксеркс (вы не должны забывать про ее хвост!).

— Пожалуйста, мистер Артаксеркс, — начал Роверандом еще раз, когда, ближе к середине дня, они снова сидели на песчаном берегу. Волшебник курил трубку, прислонясь спиной к киту, и выглядел он при этом гораздо более счастливым, нежели все предшествовавшее время, и совсем не занятым. — Не вернете ли вы мне мой настоящий вид? И нормальную величину тоже, пожалуйста!

— О, прекрасно! — промолвил Артаксеркс. — Я подумал, что могу вздремнуть чуть-чуть, прежде чем заняться делом, но — не возражаю. Покончим с этим! Ну-ка, где моя…

И затем он вдруг замолк. Он внезапно вспомнил, что сжег и выбросил все свои заклинания на дне Глубокого Синего Моря.

Он действительно ужасно расстроился. Он вскочил и стал шарить в карманах брюк, и в карманах жилета, и в карманах пиджака, снаружи и внутри, и никак не мог найти ни капельки магии ни в одном из них.

(Конечно же, ее там не было, глупый старик! Он был так взволнован, что даже забыл, что купил

этот костюм в магазине ростовщика всего час или два назад. А до того костюм принадлежал — или, во всяком случае, был продан им в магазин — пожилому дворецкому, и уж тот-то, будьте покойны, перед тем как отдать его, вычистил все карманы.)

Волшебник сел и вытер лоб ярко-красным платком, и выглядел он опять жутко несчастным.

— Я действительно очень, очень извиняюсь! — сказал он. — Я никогда не думал оставлять тебя в таком виде навсегда. Но сейчас я не знаю, как тебе можно помочь. Пусть это послужит тебе уроком, чтобы впредь ты не кусал брюк милых, добрых волшебников!

— Какая смехотворная чушь! — перебила его миссис Артаксеркс. — Здесь нет ни милого, ни доброго, ни волшебника, если ты не можешь немедленно вернуть песику его вид. И более того: раз так, я возвращаюсь на дно Глубокого Синего Моря и больше никогда не вернусь к тебе.

Бедный старина Артаксеркс выглядел почти таким же встревоженным, как тогда, когда Морской Змей устроил весь этот переполох.

— Дорогая моя, — сказал он, — мне очень жаль, но я специально наложил на собаку мое самое-пресамое сильное антирасколдовательное

заклятье после того, как Псаматос (черт бы его побрал!) начал вмешиваться, — чтобы показать, что ему не все дозволено и что я не потерплю, чтобы какой-то там песчано-кроличий волшебник вмешивался в мою частную жизнь, портя мне все удовольствие от развлечения. Я совершенно забыл оставить противоядие, когда производил чистку там, внизу! Обычно я хранил его в маленьком черном мешочке, висевшем на двери моей мастерской.

— О боже, боже! Я уверен, ты согласишься, что это была только шутка, — снова обратился он к Роверандому, и от огорчения нос его вырос и покраснел.

Он все продолжал повторять «О боже, боже!» и трясти головой и бородой и никак не замечал, что Роверандом не обращает на это никакого внимания, а кит подмигивает.

Миссис Артаксеркс поднялась и подошла к своему багажу. Затем она засмеялась и…

…в руке у нее оказался линялый черный мешочек.

— Хватит мотать бородой, займись-ка делом, — заявила она.

Однако когда Артаксеркс увидел мешок, он так изумился, что несколько мгновений не мог

ничего делать, а только смотрел на него с широко открытым ртом.

— Ну же! — сказала его жена. — Это твоя сумка? Я подобрала ее и еще несколько небольших предметов, принадлежащих мне, на той гадкой мусорной куче, которую ты оставил в саду.

Она развязала мешок, чтобы заглянуть внутрь, и оттуда выскочила волшебная палочка-авторучка, а вслед за ней вылетело облако потешного дыма, скручиваясь в странные формы и забавные физиономии.

И тут Артаксеркс поднялся.

— Эй, дай его мне! Ты растрачиваешь его! — закричал он. И затем он сгреб Роверандома за щетину на загривке и в мгновение ока, прежде чем вы успели бы сказать «нож», сунул его в мешок, повернул вокруг оси три раза, махая зажатой в другой руке ручкой, и…

— Спасибо! Это замечательно! — сказал он и открыл мешок.

Раздался грохот, и — вот так чудо — мешок исчез, и остался только Ровер, совсем такой, каким он был всегда, пока впервые в жизни не встретил на лужайке волшебника.

Ну, возможно, не совсем такой: он немного подрос, так как стал теперь на несколько месяцев

старше.

Бессмысленно было бы пытаться описать, в каком он был восторге, каким забавным и уменьшенным все ему казалось — даже старейший из китов, каким сильным и свирепым он ощущал себя.

И был один момент, когда он с таким вожделением смотрел на брюки волшебника…

Однако он вовсе не хотел, чтобы все началось сначала, и потому, отбегав от радости кругами милю и отлаявшись так, что чуть голова не отвалилась, он подошел и сказал «спасибо» и даже добавил «очень рад был познакомиться с вами», что, как вы понимаете, было верхом вежливости.

— Не за что, — произнес Артаксеркс. — И это — последнее мое волшебство. Я удаляюсь на покой. А *тебе* лучше отправиться домой. У меня нет больше магии, чтобы с ее помощью отправить тебя туда, так что тебе придется идти самому. Но ведь это не составит труда для сильной молодой собаки?..

Итак, Ровер сказал «до свидания», и кит подмигнул ему, а миссис Артаксеркс дала кусок пирога, и это было последнее, что он о них запомнил.

Это потом уже, спустя много-много време-

ни, посетив приморский район, где он никогда прежде не был, он узнал, что произошло с ними дальше, — ибо они там были. Не кит, разумеется, но отошедший от дел волшебник и его жена.

Они осели в приморском городке, и Артаксеркс, взявший имя «мистер А. Пам», держал рядом с пляжем магазинчик, где продавал сигареты и шоколад. Торговля ими шла вяло. Артаксеркс был очень, очень осторожен и никогда не прикасался к воде — даже если это была питьевая вода. (Впрочем, это не было для него слишком обременительно — ведь увлекался-то он сидром…) И он изо всех сил старался прибирать весь тот кошмарный свинарник, который устраивали на пляже его посетители…

…потому что ярко-розовые и страшно липкие «Леденцы Пама» определенно приносили ему недурной доход.

В этом непременно должна была содержаться хоть крошечная капелька магии. Потому что дети любили их до умопомрачения, и ели их безостановочно, и не могли прекратить есть даже после того, как уронили и изваляли в песке.

Однако еще больше денег зарабатывала миссис Артаксеркс. Прошу прощения — миссис А. Пам.

Ведь она содержала купальни, а также палатки

и вагончики для переодевания на пляже, и давала уроки плавания, и ездила в сидячей ванне, запряженной двумя белыми пони, и надевала сногсшибательные драгоценности морского царя… Одним словом, она стала очень знаменитой.

Так что никто даже и не вспоминал про ее хвост!

Однако в настоящий момент Ровер все еще медленно бредет по деревенским улицам и проезжим дорогам, следуя за своим носом, который обязательно в конце концов приведет его домой, как это свойственно собачьим носам…

«Не все сны Человека-на-Луне сбываются. Он сам так сказал, — думал Ровер, бесшумно скользя вдоль дороги. — Этот-то не сбудется. Ах, как жалко… Я ведь даже не знаю, как называется то место, где живет мальчик».

Как он обнаружил, суша подчас была местом не менее опасным для собаки, чем Луна или океан, хотя гораздо более скучным. Автомобиль за автомобилем, полные одних и тех же людей (так думал Ровер), летели мимо него невесть куда, обдавая тучами пыли и вонючего газа.

— Никогда не поверю, что хотя бы половина из этих людей знает, куда они едут или почему они туда едут, или узнают это, когда приедут, — вор-

чал Ровер, кашляя и задыхаясь.

Когда лапы его уставали от трудных, мрачных черных дорог, он сворачивал в поля и бесцельно блуждал в них, слегка играл с птичками и кроликами и неоднократно упоительно дрался с другими собаками, временами со всех ног улепетывая от больших псов.

И таким образом, наконец-то, недели или месяцы спустя с того момента, как началась наша история (он сам не мог бы сказать точно, сколько прошло времени), он вернулся к своим родным садовым воротам.

И там, на лужайке, играл желтым мячом маленький мальчик!

Сон стал явью — совсем как то, о чем он и не мечтал…

— Это же Роверандом! — закричал мальчик.

И Ровер сел на задние лапы, и стал «просить», и не мог ничего пролаять, потому что у него вдруг пропал голос, а маленький мальчик обнял его, погладил по голове, а потом бросился в дом с криком: «Мой маленький просящий песик вернулся, большой и настоящий!»

Он все рассказал своей бабушке…

…Ну откуда же Ровер мог знать, что все это время он принадлежал бабушке мальчика?! Ведь

к тому моменту, как его заколдовали, нашему псу было всего лишь два месяца…

Однако мне интересно, что знали об этом Псаматос и Артаксеркс?

* * *

Бабушка очень удивилась возвращению своей собаки, прекрасно выглядевшей, вовсе не сбитой машиной и не раздавленной велосипедом. Она никак не могла взять в толк, о чем это ей рассказывает малыш, и ему приходилось снова и снова пересказывать ей все, что он знал. С большим трудом, поскольку она была все-таки чу-у-точку туговата на ухо, бабушка поняла, что собаку теперь нужно звать Роверандомом, а не Ровером, потому что так сказал Человек-на-Луне («Ну, надо же, какие у ребенка оригинальные идеи…»), и что теперь он принадлежит не ей, а мальчику, потому что мама принесла его домой с креветками («Хорошо, хорошо, милый, пусть будет так, если хочешь, а я-то думала, что это я купила его у сына садовника…»).

Разумеется, я не стану пересказывать весь их спор — он был долгим и запутанным, как часто бывает, когда обе стороны правы. Ведь вам важно только то, что с тех пор пса стали звать Роверан-

домом, и что отныне он принадлежал мальчику, и что, когда время пребывания мальчиков у их бабушки закончилось, он вернулся с ними в дом, где однажды уже сидел на комоде. Конечно же, Роверандом никогда больше этого не делал.

Иногда он жил в деревне, бо́льшую же часть времени — в белом доме на обрыве над морем.

Он очень подружился со старым Псаматосом. Не настолько, конечно, чтобы выбрасывать из его имени букву «П», но вполне достаточно, чтобы, когда он уже вырос во взрослую, достойную собаку, будить его, вытаскивая из песка, и долго-предолго болтать с ним.

Правда-правда, когда Роверандом вырос, он стал очень мудрым и пользовался в округе огромным авторитетом.

И пережил за свою жизнь еще массу других приключений, во многих из которых участвовал и мальчик.

Однако эти, о которых я вам рассказал, были, наверное, самыми необычными и самыми восхитительными из всех.

Вот только Тинкер говорит, что не верит здесь ни единому слову.

Кошки ревнивы!

КОНЕЦ

Фермер Джайлз из Хэма

Aegidii Agenobarbi Julii Agricole de Hammo

Domini de Domito Aule Draconarie Comitis Regni Minimi Regis et Basilei mira facinora et mirabilis exortus

или на простом наречии

Возвышенные и Удивительные Приключения Фермера Джайлза, Владыки Ручного Змея Графа Уормингхолльского и Короля Малого Королевства

Посвящается К. Х. Милкинсону

Предисловие

Из истории Малого Королевства до нас дошли лишь обрывочные сведения. Но по счастливой случайности сохранилось повествование о его возникновении. Хотя это скорее легенда, нежели исторический документ, ибо в основе данной поздней компиляции, полной невероятных приключений и всяческих небылиц, лежат не исторические анналы, а народные песенки, на которые часто ссылается автор. Он описывает события, которые даже с его точки зрения являются седой стариной. Тем не менее представляется очевидным, что автор сам жил в землях, принадлежащих к Малому Королевству. Он выказывает значительные познания в географии Малого Королевства (при том, что география вообще не является сильной стороной автора) и в то же время проявляет полнейшее невежество в вопросах, касающихся соседних областей, примыкающих к Королевству с запада или с севера.

Эта любопытная история, переведенная с весьма островной латыни на современный язык Объединенного Королевства, вполне заслуживает издания, поскольку представляет собою

ценный источник сведений по малоизученному периоду британской истории, не говоря уже о том, что данная публикация проливает свет на происхождение некоторых загадочных географических названий. Некоторых читателей может также заинтересовать сама личность главного героя и его приключения.

Точно определить границы Малого Королевства, а также период, в течение которого оно существовало, не представляется возможным из-за скудости данных. Со времен прибытия Брута[12] в Британию на исторической арене успело появиться и исчезнуть немало королей и королевств. Разделение королевства между Локрином, Камбром и Альбанактом[13] было лишь первым в длинном ряду ему подобных. Благодаря стремлению мелких государств к независимости, с одной стороны, и стремлению королей к расширению своих владений — с другой, древняя история Британии представляет собой беспорядочное

[12] Примечания: 12

Брут — правнук Энея-троянца, по легенде, первым заселивший остров Британию и давший ему свое имя. Не путать с тем Брутом, который убил Юлия Цезаря! — *Здесь и далее примеч. пер.*

[13] Примечания: 13

Сыновья Брута, которые разделили Британию на три части, названных Лоэгрией, Камбрией и Альбанией, — то есть собственно Англия, Уэльс и Шотландия.

чередование войн и перемирий, радостей и горестей, как о том повествуют историки времен короля Артура. То была эпоха неустоявшихся границ, стремительных взлетов одних исторических деятелей и не менее стремительных падений других, что давало тогдашним бардам богатый материал и благодарную аудиторию. Именно к этому периоду — вероятно, позже времен короля Коля[14], но явно раньше правления Артура или времен Семи английских королевств[15], — и следует отнести описанные в данной повести события. Местом же действия является долина Темзы, с заходом на северо-запад, в сторону гор Уэльса.

Нам представляется очевидным, что столица Малого Королевства располагалась в его юго-восточной части, но четко определить границы этого государства весьма затруднительно. Вероятно, на западе оно доходило до Темзы, а на

---

[14] Примечания: 14

Коль — легендарный король Британии, герой народных песенок. Выражение «во времена короля Коля» примерно соответствует нашему «при царе Горохе».

[15] Примечания: 15

После гибели короля Артура Британия была захвачена племенами англов и саксов, которые создали семь королевств. Следует заметить, что исторический король Коль был современником короля Артура, так что насчет «позже» и «раньше» — это явно еще одна ученая шуточка Толкина.

севере никогда не простиралось далее Отсмура. Вопрос о восточных границах Малого Королевства на данный момент остается открытым. В легенде о Джорджиусе, сыне Джайлза, и его паже Суоветауриллиусе (Суэте), каковая дошла до нас лишь в отрывках, встречаются указания на то, что в течение некоторого времени Фартингоу был аванпостом Малого Королевства на границе со Средним Королевством. Но это не имеет прямого отношения к нашей повести, каковую мы представляем вашему вниманию без изменений или дальнейших комментариев. Единственное, что мы себе позволили, — это сократить изначальный пышный заголовок до более скромного: «Фермер Джайлз из Хэма».

Фермер Джайлз из Хэма

Жил когда-то посреди острова Британия некий Эгидиус де Хаммо. Его полное имя было Эгидиус Агенобарбус Юлиус Агрикола де Хаммо. В те не столь уж давние времена, когда остров был разделен на множество королевств, на имена не скупились. Народу тогда было меньше, а времени у людей — больше, так что почти каждый мог считаться заметной личностью. Впрочем, те времена давно прошли, так что я, пожалуй, сокращу имя этого человека и буду звать его по-простому — фермер Джайлз из Хэма. Фермер Джайлз носил рыжую бороду, а Хэм был всего лишь деревней, но в те дни деревни были горды и независимы.

У фермера Джайлза был пес по имени Гарм. Собакам приходилось довольствоваться короткими именами на народном языке: книжную латынь приберегали для тех, кто почище. Гарм не знал даже дворовой латыни, но он, как и большинство тогдашних собак, достаточно владел простым наречием, чтобы задирать окружающих, хвастаться или подлизываться. Задирал он нищих и непрошеных гостей, хвастался перед другими собаками, а подлизывался к хозяину. Пес одно-

временно и побаивался Джайлза, и гордился им, поскольку хозяин умел задираться и хвастаться куда лучше самого Гарма.

В те времена не любили ни спешки, ни суматохи. Впрочем, в суматохе вообще ничего нормально не сделаешь. А тогда люди жили не спеша, и потому у них хватало времени и на работу, и на разговоры. А уж о чем посудачить, находилось всегда, поскольку всякие примечательные события случались очень часто. Но на самом деле к тому моменту, когда началась эта история, в Хэме уже давненько не происходило ничего примечательного. Впрочем, фермера Джайлза это вполне устраивало: он был человек степенный, по-своему довольно упрямый и интересовался исключительно собственными делами. Как он сам говорил, ему хватает хлопот и с тем, чтобы нужду на порог не пускать. На самом деле это означало, что Джайлз старается жить в таком же достатке и уюте, в каком жил его отец. Пес ему в этом ревностно помогал, и оба они ничуть не интересовались Большим Миром, что простирался за пределами деревни, полей Джайлза и соседнего рынка.

Но Большой Мир от этого никуда не девался. Неподалеку от Хэма начинались леса, несколь-

ко подальше, на северо-западе, лежали Дикие Холмы, а за ними раскинулась горная страна. Помимо всего прочего, в горах в те времена водились великаны, племя грубое и невоспитанное. Временами они доставляли соседям немалые неприятности — в особенности один из них, который превосходил прочих соплеменников и величиной, и глупостью. Имя его в хрониках не упоминается — да это и не суть важно. Великан этот был на редкость здоровенным, ступал тяжело и носил с собой трость размером с целое дерево. Он сминал могучие вязы точно некошеную траву, а для дорог и садов этот великан был настоящим бедствием, поскольку при ходьбе оставлял за собой глубокие ямы. Если же великану случалось споткнуться о дом, то дому приходил конец. И такие разрушения великан производил повсюду, где бы ни проходил, поскольку его голова маячила высоко над крышами домов и предоставляла ногам топать, куда им самим заблагорассудится.

А еще этот великан был подслеповат и почти что глух. По счастью, он жил далеко в Глухоманье и нечасто забредал в края, населенные людьми, — разве что случайно. Проживал он в большом полуразрушенном доме посреди гор, и друзей у него было очень немного — отчасти

из-за его глухоты и глупости, а отчасти потому, что великанов вообще было мало. Он часто отправлялся в одиночку погулять по Диким Холмам и пустынным местам у подножий гор.

В один прекрасный летний день великан вышел на прогулку и побрел куда глаза глядят, оставляя за собой широкую просеку. Вдруг он заметил, что солнце клонится к закату, и почувствовал, что приближается время ужина, но тут же он обнаружил, что забрел в незнакомые места и заблудился. Великан решил было вернуться домой, но свернул не в ту сторону и шел, пока не стемнело. Когда же стемнело, он сел и подождал, пока взойдет луна, а потом двинулся дальше, уже при лунном свете. Великан все шагал и шагал, размашисто и энергично — уж очень ему хотелось вернуться домой. Дело в том, что он оставил свой лучший медный котел на очаге и боялся, что у того прогорит днище. Но поскольку великана понесло не в ту сторону, он оказался в краях, где жили люди. На самом деле он уже приближался к ферме Эгидиуса Агенобарбуса Юлиуса Агриколы и к деревне, что на простом наречии именовалась Хэм.

Ночь выдалась дивная. Погода была хорошая, и коров оставили на лугу, а пес фермера Джайлза

отправился по своим делам. Он питал слабость к лунному свету и кроликам. Конечно же, Гарм понятия не имел, что в округе бродит великан. Если бы пес это знал, у него появился бы законный повод уйти без спросу. Впрочем, тогда он предпочел бы не высовывать носа с кухни. Примерно около двух часов ночи великан добрался до полей фермера Джайлза, снес изгородь, потоптался по спелой пшенице и сровнял с землей несколько стогов сена. За пять минут он нанес хозяйству больше ущерба, чем королевская охота, даже если бы она носилась по полям целых пять дней.

Гарм услышал топот, доносящийся от реки, и побежал к западному склону невысокого холма — просто поглядеть, что это там творится. И поспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как великан перешагнул через реку и наступил на Галатею, любимую корову Джайлза. Он раздавил несчастное животное в лепешку с той же легкостью, с какой Джайлз мог бы раздавить таракана.

Этого зрелища Гарму хватило по уши. Он испуганно взвизгнул и опрометью кинулся домой. Пес начисто забыл, что ушел из дому без разрешения, и принялся лаять и подвывать под окном хозяйской спальни. Довольно долгое время ему никто не отвечал — разбудить фермера Джайлза

было не так-то просто.

— Караул! На помощь! — вопил Гарм. Внезапно окно распахнулось, и из него вылетела метко пущенная бутылка.

— Ауу! — взвыл пес и увернулся с той ловкостью, которая достигается лишь усердными длительными упражнениями. — На помощь! На помощь! На помощь!

Из окна высунулась голова фермера.

— Чтобы ты провалился, чертов пес! Тебе что, делать нечего? — крикнул Джайлз.

— Нечего, — ответил пес.

— Я тебе покажу «нечего»! Я с тебя утром всю шкуру спущу! — рявкнул фермер, захлопывая окно.

Но Гарм не унимался.

— На помощь! На помощь! На помощь!

Из окна снова появилась голова Джайлза.

— Еще раз тявкнешь — пришибу! — сказал он. — Чего это на тебя нашло, придурок?

— Ничего, — отозвался пес. — А вот к тебе кое-что пришло, то есть пришел.

— Чего-чего? — переспросил фермер. Его так поразил нахальный ответ Гарма, что Джайлз даже забыл рассердиться.

— По твоим полям бродит великан, да, огром-

ный великан, и он идет сюда! — сообщил пес. — На помощь! На помощь! Он потоптался по твоим овцам! Он наступил на бедную Галатею, и теперь она плоская, словно коврик под дверью! На помощь! На помощь! Он переломал все твои изгороди, вытоптал всю пшеницу! Хозяин, ты должен действовать быстро и отважно, или у тебя скоро ничего не останется! Караул! — и Гарм завыл.

— А ну заткнись! — рявкнул фермер и захлопнул окно. «Боже милостивый!» — подумал он и задрожал, хотя ночь была теплая.

— Не валяй-ка ты дурака, лучше ложись обратно в постель, — сказала ему жена. — А утром утопи собаку. Нечего ее слушать: пес еще и не такое способен выдумать, если его застукают на горячем.

— Может, это и так, Агата, — отозвался Джайлз, — а может, и нет. Но в поле действительно что-то неладно, иначе я поверю, что Гарм — кролик. Пес был здорово перепуган. И с чего бы вдруг он примчался завывать под окном, когда он вполне мог пробраться утром через черный ход, когда ты пойдешь доить корову?

— Ну, а тогда чего ты стоишь тут и лясы точишь? — поинтересовалась жена. — Если ты веришь псу, тогда делай как он говорит: действуй

быстро и отважно!

— Легко сказать! — возразил Джайлз. Он ведь и в самом деле отчасти поверил Гарму. Ночью в великанов как-то больше верится.

Но имущество все-таки защищать следует. А с незваными гостями фермер Джайлз не церемонился. Поэтому он натянул штаны, вышел на кухню и снял со стены свой мушкетон. Вас интересует, что такое мушкетон? Говорят, этот самый вопрос как-то раз задали Четырем Мудрым Грамотеям из Оксенфорда[16], и те, поразмыслив, ответили: «Мушкетон — это короткое ружье с широким дулом. Оно стреляет крупными пулями и на ограниченном расстоянии способно произвести значительное опустошение, но не позволяет хорошо прицелиться. В настоящее время в цивилизованных странах мушкетон вытеснен другими видами огнестрельного оружия».

Как бы то ни было, у Джайлзова мушкетона было широкое дуло, заканчивающееся раструбом, и стрелял он не пулями, а всяким мелким хламом, который фермер туда запихивал. Производил ли он опустошения — неясно, потому что этот муш-

---

[16] Примечания: 16

Оксенфорд — точнее, Оксфорд, буквально — «Бычий брод» — город, в котором находится один из двух древнейших университетов Англии. А Мудрые Грамотеи — это авторы Большого Оксфордского словаря.

кетон редко заряжали и так ни разу и не пустили в ход. Обычно довольно было просто его показать. Поскольку эта страна еще не была цивилизованной, другие виды огнестрельного оружия не успели вытеснить мушкетон. По правде говоря, другого огнестрельного оружия там не водилось, да и мушкетоны встречались не так уж часто. Люди тогда предпочитали пользоваться луком и стрелами, а порох использовали в основном для фейерверков.

Ну так вот, фермер Джайлз снял со стены мушкетон, засыпал в него большую горсть пороха — на случай, если придется прибегнуть к крайним мерам, — и зарядил его старыми гвоздями, кусками проволоки, черепками от разбитого горшка, костями, камнями и прочим хламом. Потом Джайлз надел свои высокие сапоги с отворотами, натянул куртку и вышел через огород.

Луна уже садилась. Поначалу Джайлз не увидел ничего более зловещего, чем длинные черные тени кустов и деревьев. Но зато он услышал ужасный топот, доносящийся откуда-то со стороны холма. Джайлз не чувствовал себя ни смелым, ни быстрым, что бы там ни твердила по этому поводу Агата. Но фермер больше беспокоился о своем хозяйстве, чем о своей шкуре. И потому он

двинулся к вершине холма, не обращая внимание на нехорошее нытье под ложечкой.

Внезапно из-за холма показалась голова великана. В лунном свете его физиономия казалась бледной, а большие круглые глаза блестели. Ноги великана были еще далеко внизу и по-прежнему уродовали поля Джайлза. Луна светила великану прямо в глаза, и потому он не увидел Джайлза. А вот Джайлз его увидел и перепугался до полной потери соображения. Он нажал на курок, плохо понимая, что делает, и мушкетон выстрелил с оглушительным грохотом. По счастью, дуло мушкетона смотрело в сторону уродливого великаньего лица. Весь хлам — камни, кости, черепки, проволока и полдюжины гвоздей — все это вылетело из раструба. А поскольку расстояние и вправду было ограниченным, большая часть хлама таки попала в великана — по случайности, а не потому, что Джайлз так хорошо прицелился. Черепок горшка угодил великану в глаз, а большой гвоздь воткнулся в нос.

— Проклятье! — воскликнул великан на своем грубом наречии. — Тут что-то кусается!

Выстрела великан не услышал, поскольку был глух, но гвоздь ему не понравился. Великану уже давным-давно не попадались мухи, достаточно

злые, чтобы прокусить толстую великанью кожу. Но ему рассказывали, что на востоке, на Болотах, водятся стрекозы, которые жалятся как раскаленные иголки.

— Ну и скверные же места! — сказал великан. — И нездоровые к тому же. Не пойду дальше в эту сторону, хватит с меня на сегодня.

Сказав так, он подхватил со склона холма парочку овец, чтобы было чем перекусить дома, перешагнул через реку и зашагал на северо-запад. На этот раз он наконец-то выбрал правильное направление и в конце концов добрался домой, но к тому времени дно у котла все-таки успело прогореть.

А что же Джайлз? А с Джайлзом случилось вот что: когда мушкетон выпалил, фермер кубарем полетел на землю — от отдачи. И вот теперь Джайлз лежал, глядя в небо, и беспокоился — а вдруг великан на него наступит? Но, к счастью, ничего такого не произошло, и глухой топот затих где-то вдали. Тогда Джайлз встал, потер ушибленное плечо и подобрал мушкетон. И тут вдруг до него донеслись восторженные крики.

Большинство жителей Хэма наблюдали за этим происшествием из окон, а некоторые даже оделись и выскочили на улицу (правда, только

после того, как великан ушел). И вот теперь они с криками неслись к холму.

Вообще-то жители деревни слышали ужасный топот великана, но все они тут же попрятались под одеяла, а некоторые так даже и под кровать. Но Гарм одновременно и гордился своим хозяином, и побаивался его. Пес искренне считал, что Джайлз ужасен в гневе, и, естественно, полагал, что любой великан будет думать точно так же. А потому, завидев, что Джайлз вышел из дома с мушкетоном — а это, как правило, было признаком великого гнева, — Гарм с лаем помчался в леревню.

— Вставайте! — кричал он. — Вставайте! Вставайте! Выходите! Выходите и посмотрите на моего великого хозяина! Он быстр и отважен! Он собирается застрелить великана, который без спроса забрел на его землю! Вставайте!

Вершина холма была видна почти изо всех домов Хэма. Когда люди и пес увидели поднявшуюся над холмом голову великана, у них от испуга перехватило дыхание, и все, кроме пса, подумали, что эта штука, пожалуй, великовата для Джайлза. Потом раздался грохот мушкетона, и великан тут же развернулся и удалился. Изумленные и обрадованные жители Хэма принялись кричать и

хлопать в ладоши, а уж Гарм вопил громче всех.

— Ур-ра! — кричали они. — Он проучил великана! Мастер Эгидиус ему задал! Теперь великан пойдет и умрет, и так ему и надо!

Потом они еще раз прокричали хором «ура». Но при этом жители деревни не преминули отметить про себя, что мушкетон и вправду стреляет. Дело в том, что в местном трактире немало спорили по этому поводу. А вот теперь вопрос разрешился. Так что с тех пор у фермера Джайлза больше не было проблем с непрошеными гостями.

Когда стало окончательно ясно, что опасность миновала, самые храбрые жители деревни поднялись на холм и пожали фермеру Джайлзу руку. А некоторые — священник, кузнец, мельник и еще пара важных персон — даже похлопали его по плечу. Нельзя сказать, чтобы Джайлзу это было особенно приятно — ведь плечо у него было здорово ушиблено, — но все-таки он решил, что должен пригласить односельчан в гости. Они уселись вокруг кухонного стола и принялись пить за здоровье Джайлза и громко славить его. Джайлз выразительно зевал, но пока на столе оставалась выпивка, гости будто не замечали зевков хозяина.

К тому времени, как они пропустили по кружке — а фермер тем временем успел выпить две-три, — Джайлз начал думать, что он и вправду храбрец. Когда же гости выпили по две-три кружки, а сам Джайлз — пять-шесть, он почувствовал себя таким грозным, каким его считал Гарм. Они расстались добрыми друзьями, и на прощанье Джайлз от души похлопал всех гостей по спине. Руки у него были большие, красные и увесистые, так что Джайлз отыгрался.

На следующий день Джайлз обнаружил, что новости расходятся очень быстро и что он уже успел прославиться. Не прошло и недели, как слухи о победе над великаном разнеслись по всем деревням на двадцать миль окрест. Джайлз стал Местным Героем. Оказалось, что быть героем — это очень приятно. На следующей ярмарке Джайлза угощали так щедро, что по выпитому им пиву можно было бы плавать на лодке. В общем, Джайлз напился под завязку и вернулся домой, распевая старинные боевые песни.

Наконец слухи о происшествии дошли даже до короля. В те счастливые времена столица государства — тогда это было Срединное Королевство

— располагалась лигах[17] в двадцати от Хэма, и при дворе, как правило, почти не обращали внимания на то, что творилось в провинции. Но такое чрезвычайное событие, как изгнание вредоносного великана, все-таки заслуживало, чтобы его заметили и надлежащим образом отметили. И потому король в должное время — через три месяца, в канун Дня святого Михаила[18], — отправил фермеру Джайлзу великолепное письмо. Оно было написано красными чернилами на белом пергаменте и выражало высочайшее одобрение «нашему верному и возлюбленному подданному Эгидиусу Агенобарбусу Юлиусу Агриколе де Хаммо».

Вместо подписи под письмом красовалась красная клякса, а уже под ней придворный писарь добавил: «Ego Augustus Bonifacius Ambrosius Aurelianus Antonius Pius et Magnificus, dux, rex, tyrannus, et basileus Mediterranearum Partium,

[17] Примечания: 17

Лига — примерно 5 км.

[18] Примечания: 18

Святой Михаил — небесный воитель, заступник от всякой нечисти — а значит, и от великанов тоже.

subscribo»[19], — и поставил большую красную печать. Так что документ был самый что ни на есть подлинный. Письмо доставило Джайлзу огромное удовольствие. Односельчане еще долго забегали к Джайлзу полюбоваться им, особенно после того, как выяснилось, что стоит лишь попросить показать письмо, и Джайлз непременно усадит тебя за стол и угостит кружкой эля.

Но приложенные к посланию подарки были даже лучше самого письма. Король прислал фермеру Джайлзу перевязь с мечом. По правде говоря, сам король никогда этим мечом не пользовался. Это была семейная реликвия, которая с незапамятных времен висела на стене оружейной палаты. Даже придворный оружейник не мог сказать, откуда взялся этот меч и для чего он может пригодиться. Простые тяжелые мечи такого рода вышли из моды, и король решил, что он вполне сгодится в качестве подарка сельскому жителю. Но Джайлз был в полном восторге, а его авторитет в округе достиг высот небывалых.

Джайлзу все это очень нравилось, а его псу — тем более. Гарм так и не дождался обещанной

---

[19] Примечания: 19

Я, Августус Бонифациус Амброзиус Аврелианус Антониус Благочестивый и Великолепный, вождь, король, тиран и базилевс Срединного Королевства, подписал.

трепки. Джайлз был человеком справедливым — на свой лад — и теперь стал куда больше доверять Гарму, хотя ни за что в этом не признался бы. Фермер по-прежнему обзывал Гарма всякими нехорошими словами и швырял в него чем под руку попадется, когда бывал в дурном настроении, но теперь он смотрел сквозь пальцы на отлучки пса. В результате Гарм пристрастился к дальним прогулкам. Что же до Джайлза, он жил себе не тужил, и удача ему улыбалась. Все осенние работы были окончены в срок, и все шло прекрасно — до тех пор, пока не появился дракон.

Драконы даже в те древние времена были на острове великой редкостью. Во всяком случае, в королевстве Августуса Бонифациуса уже много лет ни одного дракона не видели. Правда, к северу и западу от королевства лежали малоизведанные края и безлюдные горные области, но они находились очень далеко. Когда-то в тех местах и вправду обитали драконы, которые устраивали налеты на соседние земли. Но рыцари Срединного Королевства издавна славились отвагой, так что мало кто из залетавших туда драконов возвращался живым и невредимым, а потому прочие решили больше не рисковать.

С тех времен в королевстве сохранился обычай подавать на Рождество к королевскому столу драконий хвост. Ежегодно один из рыцарей выезжал на охоту за драконом. Рыцарю полагалось отправиться в путь в День святого Николая[20] и вернуться с драконьим хвостом не позднее кануна праздника[21]. Но вот уже много лет королевский повар готовил к пиру настоящий кулинарный шедевр — поддельный драконий хвост: великолепный пирог с миндальным кремом и чешуей, искусно сделанной из сахарной глазури. И в сочельник избранный для охоты рыцарь вносил этот пирог в зал под пение труб и скрипок. Поддельный драконий хвост съедали на десерт рождественского обеда, и все, чтобы порадовать повара, говорили, что он намного вкуснее настоящего.

Вот так вот и обстояли дела, когда в королевство вновь пожаловал настоящий дракон. Надо сказать, что тут не обошлось без великана. Вернувшись из своих странствий, он принялся бродить по горам и навещать своих родственников — куда чаще, чем он это делал прежде, и

---

[20] Примечания: 20
То есть шестого декабря.

[21] Примечания: 21
В Англии Рождество справляют двадцать пятого декабря.

гораздо чаще, чем хотелось бы самим родственникам. Он все пытался позаимствовать у них большой медный котел. Обычно родственники ему отказывали, но тем не менее он усаживался у очага и принимался долго и нудно рассказывать о прекрасных землях, лежащих на востоке, и о чудесах Большого Мира. Этот великан считал себя бывалым и отважным путешественником.

— Хорошие земли, — говорил он, — ровные, мягкие, и еды там довольно: коровы, к примеру, да и овец полно, если кто не ленится под ноги смотреть.

— Ну, а с людьми там как? — спрашивали родственники.

— Я ни одного не видал, — отвечал великан. — Ни единого рыцаря не видать и не слыхать — так-то, дорогие родственники. Только вот у реки водятся кусачие мухи, а так все прекрасно.

— Так зачем же ты оттуда вернулся? — спрашивали родственники.

— Да ну, в гостях хорошо, а дома-то лучше, как говорится, — отвечал великан. — Но, может быть, я как-нибудь еще надумаю туда наведаться. По крайней мере, хоть раз-то я там побывал, а этим не всякий может похвастаться. Так как там насчет медного котла?

— А эти богатые земли, — тут же поспешно спрашивали родственники, — эти чудные края, полные непуганой еды, — где они находятся? И далеко ли?

— О, — отвечал великан, — не то на востоке, не то на юго-востоке. Во всяком случае, далеко.

По его рассказам выходило, что путь был чрезвычайно долгим и по дороге пришлось миновать такую уйму лесов, гор и равнин, что менее длинноногим великанам нипочем туда не добраться. Но слухи о его странствии расходились всё дальше.

А потом теплое лето сменилось суровой зимой. В горах было ужасно холодно и голодно. Тогда разговоры о богатых краях зазвучали с новой силой. Жители гор часто поминали овец и коров, что бродят на дивных равнинных пастбищах. Драконы тут же насторожили уши. Они тоже были голодны, и эти слухи показались им весьма заманчивыми.

— Так значит, рыцари — это мифические существа! — говорили те драконы, что помоложе и поглупее. — Мы всегда так думали!

«По крайней мере, они, должно быть, встречаются очень редко, — решили более старые и мудрые, — и водятся где-нибудь в дальних краях,

так что нам их бояться нечего».

Особенно сильно этими слухами заинтересовался дракон по имени Хризофилакс[22] Великолепный. Звали его так потому, что он происходил из древнего и знатного рода и был очень богат. Хризофилакс был хитер, пронырлив, алчен и обладал прекрасной броней. Правда, особой смелостью этот дракон не отличался, но, во всяком случае, ни мух, ни прочих насекомых он не боялся ни капельки, а есть ему хотелось ужасно.

И вот в один прекрасный зимний день, примерно за неделю до Рождества, Хризофилакс расправил крылья и отправился в путь. Посреди ночи дракон без особого шума приземлился в самом сердце королевства Августуса Бонифациуса, короля и базилевса, и за самое короткое время произвел огромное опустошение среди местной скотинки — кого раздавил, кого сжег, а кого и сожрал.

Происходило это все довольно далеко от Хэма, но Гарм тоже натерпелся страху, как никогда в жизни. Он как раз отправился в длительное путешествие: пользуясь благосклонностью хозяина, пес теперь отваживался на день-два исчезать

---

[22] Примечания: 22
«Хризофилакс» означает «Златолюбивый».

из дома. Гарм как раз бежал вдоль опушки леса по одному чрезвычайно увлекательному следу. Но, завернув за куст, пес вдруг почувствовал какой-то другой запах, внушающий немалое беспокойство. По правде говоря, Гарм уткнулся прямиком в хвост только что приземлившегося Хризофилакса Великолепного. Гарм тут же поджал собственный хвост и ринулся домой с такой скоростью, с какой не бегал еще ни один пес на свете. Дракон, услышав его визг, обернулся и фыркнул пламенем, но Гарм был уже далеко. Он мчался всю ночь напролет и добрался домой как раз к завтраку.

— На помощь! Караул! На помощь! — залаял он под задней дверью.

Джайлзу это очень не понравилось. Вопли Гарма напомнили ему, что неприятные происшествия могут стрястись в любой момент — даже тогда, когда тебе кажется, что все идет прекрасно.

— Жена, впусти-ка этого чертова пса и огрей его как следует, — приказал Джайлз.

Гарм ввалился на кухню, вытаращив глаза.

— Караул! — взвыл он.

— Ну, и что ты вытворяешь на этот раз? — спросил Джайлз, швырнув в пса колбасой.

— Ничего, — задыхаясь, ответил Гарм. Он так переволновался, что даже не обратил внимания на колбасу.

— Ну так прекрати это «ничего», а то я с тебя шкуру спущу, — сказал фермер.

— Я не сделал ничего плохого. У меня и в мыслях ничего такого не было, — сказал пес. — Просто я случайно наткнулся на дракона и потому испугался.

Услышав такое, фермер поперхнулся пивом.

— На дракона?! — переспросил он. — Чтоб ты провалился! Что ты вечно суешь свой нос куда не просят?! С чего тебе вдруг взбрело в голову найти дракона да еще именно теперь, когда у меня хлопот полон рот? Где это было?

— Ох! Далеко на севере, за холмами и за Стоячими Камнями, — ответил пес.

— Ах, там! — с облегчением сказал Джайлз. — Ну да, в тех краях народ странный, там еще и не такое увидишь. Ну так пусть они сами с этим драконом и разбираются! И не смей приставать ко мне с такими историями! Убирайся!

Гарм убрался и разнес новость по всей деревне. При этом он не забывал упомянуть, что его хозяин ни капельки не испугался.

— Он даже не дрогнул и преспокойно продол-

жал завтракать, вот!

Люди тут же принялись с удовольствием обсуждать эту историю.

— Совсем как в былые времена! — говорили они. — И как раз к Рождеству — до чего же вовремя! Вот король обрадуется! На это Рождество он сможет подать к столу настоящий драконий хвост!

Но на следующий день пришли новые вести. Дракон оказался необыкновенно крупным и свирепым и теперь разорял всю округу. Люди начали возмущаться.

— Куда же смотрят королевские рыцари? — говорили они.

Надо сказать, жители Хэма были не первыми, кто задал этот вопрос. На самом деле посланцы из деревень, которые больше всего пострадали от Хризофилакса, уже добрались до короля и теперь спрашивали у него — настолько громко и часто, насколько у них хватало храбрости:

— Государь, куда же смотрят ваши рыцари?

Но рыцари пока что помалкивали, потому что сведения о драконе к ним поступали лишь из неофициальных источников. Поэтому король официально довел эти новости до сведения своих рыцарей и попросил их принять меры, когда

выдастся свободное время. Но, к большому неудовольствию короля, оказалось, что все рыцари сейчас чрезвычайно заняты и принимать меры им некогда.

Впрочем, возражения рыцарей звучали вполне убедительно. Прежде всего королевский повар уже приготовил драконий хвост для рождественского пира: он был человек добросовестный и предпочитал все делать заблаговременно. Он очень огорчится, если в последний момент кто-нибудь притащит настоящий драконий хвост! А ведь королевский повар — очень ценный слуга и обижать его не стоит.

— Да черт с ним, с этим хвостом! — кричали посланцы пострадавших деревень. — Просто отрубите дракону голову, и дело с концом!

Но Рождество было на носу, и к тому же на День святого Иоанна[23] был назначен турнир. На этот турнир были приглашены рыцари из многих королевств, и теперь они съезжались, чтобы сразиться за ценный приз. Не могли же рыцари Срединного Королевства отправиться на охоту за драконом и упустить шанс победить на турнире!

А после турнира подошли новогодние праздни-

---

[23] Примечания: 23
27 декабря.

ки, и рыцарям снова стало не до дракона.

А дракон тем временем не дремал. Он каждую ночь перелетал с места на место и подбирался все ближе к Хэму. В новогоднюю ночь жители деревни увидели отдаленное зарево. Это дракон обосновался в лесу в десяти милях от Хэма, и теперь лес весело полыхал. Хризофилакс Великолепный иногда любил поразвлечься, когда бывал в настроении.

Тут односельчане принялись поглядывать на фермера Джайлза и перешептываться у него за спиной. Джайлзу стало не по себе, но он предпочел сделать вид, будто ничего не замечает. На следующий день дракон приблизился еще на несколько миль к Хэму. Тогда фермер Джайлз сам принялся громко поносить королевских рыцарей.

— Хотелось бы мне знать, как они отрабатывают свое жалованье! — сказал Джайлз.

— Нам тоже! — согласились жители Хэма.

Но мельник добавил:

— Говорят, некоторые и в наше время получают рыцарское звание за боевые заслуги. В конце концов, наш добрый Эгидиус тоже своего рода рыцарь. Разве король не прислал ему меч и письмо, написанное красными буквами?

— Для того чтобы считаться рыцарем, меча недостаточно! — возразил Джайлз. — Насколько я понимаю, для этого требуется еще посвящение и все такое прочее. Так или иначе, у меня и своих дел хватает.

— О, но король вас непременно посвятит, если мы его попросим, — лично я в этом ничуть не сомневаюсь, — заявил мельник. — Давайте мы и вправду его попросим, пока не стало слишком поздно.

— Ну нет! — возмутился Джайлз. — Посвящение — это не по мне. Я простой фермер, чем и горжусь — простой честный работяга, а говорят, что честные люди при дворе не уживаются. Так что это скорее по вашей части, господин мельник.

Услышав это, священник усмехнулся — и не из-за остроумного ответа фермера. Джайлз и мельник были закадычными врагами, как говорится в Хэме, и вечно задирали друг друга. Просто священнику внезапно пришла в голову идея, которая очень ему понравилась. Но пока что он предпочел промолчать. Мельнику же замечание Джайлза не понравилось совсем, и он нахмурился.

— Простой — это уж точно. Может, даже и честный, — сказал мельник. — Но разве так уж

обязательно ехать ко двору и становиться рыцарем, чтобы убить дракона? Для этого нужно только мужество, а я лишь намедни слыхал, как мастера Эгидиуса называли смелым человеком. Уж наверняка у него мужества не меньше, чем у любого рыцаря.

Стоявшие вокруг жители Хэма тут же воскликнули:

— Конечно не меньше! Верно, верно! Да здравствует герой Хэма!

И фермер Джайлз отправился домой. Ему было сильно не по себе. Как оказалось, репутацию героя время от времени требуется подтверждать, а это иногда не так-то просто! В сердцах Джайлз отвесил пинка Гарму и спрятал меч в кухонный буфет — до того он висел над камином.

На следующий день дракон добрался до соседней деревни, Кверцетума — или, по-простому, Дубков. Там он не ограничился овцами, коровами и парой особ нежного возраста, но вдобавок слопал еще и деревенского священника. Вообще-то говоря, священник сам был виноват: с его стороны было чистейшим безрассудством пытаться обратить дракона на путь истинный. Эти новости вызвали великое смятение. Все жители Хэма во главе с местным священником поднялись на

холм и предстали перед Джайлзом.

— Вся надежда на вас! — заявили они. Односельчане стояли и смотрели на Джайлза, пока лицо у него не сделалось краснее бороды.

— Когда вы собираетесь взяться за дело? — спросили они.

— Ну, сегодня я точно не могу, — заявил Джайлз. — У меня хлопот полон рот, да еще и пастух заболел! А там посмотрим.

Жители Хэма ушли, но к вечеру пополз слух, что дракон продолжает приближаться, и потому они вернулись.

— Мы на вас надеемся, мастер Эгидиус, — сказали они.

— Но сейчас мне это совсем не с руки! — ответил им Джайлз. — У меня кобыла захромала и овцы как раз начали ягниться. Я возьмусь за дело как только смогу.

Жители снова ушли, ворча и недовольно переговариваясь. Мельник ехидно хихикал. А священник остался, и избавиться от него не было никакой возможности. Он напросился ужинать и отпускал всякие намеки. Он даже спросил, что сталось с мечом, и захотел на него посмотреть.

Меч так и лежал в буфете. Буфетная полка была для него коротковата, и как только фермер

Джайлз снял его с этой полки, меч тут же выпрыгнул из ножен, а ножны фермер выронил, точно обжегшись. Завидев такое, священник вскочил на ноги, расплескав свое пиво. Он осторожно подобрал меч и попытался вложить его обратно в ножны. Но меч входил туда не более чем на фут, а как только священник снимал руку с рукояти, выскакивал снова.

— Вот это да! — воскликнул священник. — А меч-то необычный!

И принялся внимательно рассматривать ножны и клинок. Священник был человеком грамотным, а фермер Джайлз писал с трудом и только большими печатными буквами, и многие сомневались, что он способен прочесть хотя бы собственное имя. Вот поэтому Джайлз не обратил никакого внимания на странные полустертые надписи, красовавшиеся на ножнах и мече. Что же касается королевского оружейника, он настолько привык ко всяческим рунам, девизам и клеймам, украшающим ножны и клинки мечей, что не желал забивать себе голову этой чепухой. Кроме того, он считал все эти письмена устаревшими.

Но священник рассматривал меч долго и пристально. Он предполагал, что на мече должна

быть какая-нибудь надпись — на самом деле эта идея пришла ему в голову еще накануне, — но увиденное его крайне удивило. Надпись-то была, но только священник не мог разобрать ни начала, ни конца.

— Ножны украшены надписью, и на мече тоже видны некие… э-э… эпиграфические знаки, — изрек наконец священник.

— Что, правда? — переспросил Джайлз. — И что же там написано?

— Видите ли, буквы здесь старинные, а язык варварский, — сказал священник, чтобы выгадать время. — Эта надпись требует более тщательного изучения.

Он попросил одолжить ему меч до утра. Фермер с радостью согласился.

Вернувшись домой, священник обложился множеством ученых книг и просидел над ними целую ночь. Наутро стало известно, что дракон продолжает приближаться. Все жители Хэма заперлись в домах и закрыли окна ставнями, а те, у кого были погреба, попрятались туда и теперь сидели там при свечах, трясясь от страха.

Но священник не стал прятаться. Наоборот, он ходил от дома к дому и рассказывал всем, кто соглашался выслушать его через щелку или

замочную скважину, о том, что он обнаружил во время своих ночных изысканий.

— Наш добрый Эгидиус, — говорил священник, — милостью короля является теперь обладателем Кавдимордакса, прославленного меча, который в простонародных балладах чаще именуется Хвосторубом.

Заслышав это имя, собеседник священника обычно отпирал дверь. Кто же не слыхал о Хвосторубе, мече Белломариуса, величайшего драконоборца Срединного Королевства? В некоторых хрониках утверждалось, что Белломариус приходился нынешнему королю прапрадедом по материнской линии. О подвигах Белломариуса было сложено множество песен и легенд. При дворе их забыли, но в деревнях помнили.

— Этот меч, — сказал священник, — отказывается лежать в ножнах, если в пределах пяти миль от него появляется дракон, и несомненно, дракон не в силах противостоять этому мечу, когда тот находится в руках храброго человека.

При этом известии жители Хэма немного воспрянули духом. Некоторые даже открыли окна и выглянули наружу. Под конец священнику удалось убедить кое-кого пойти с ним, но охотно пошел только мельник. Ради того, чтобы погля-

деть, как Джайлза припрут к стенке, рискнуть стоило.

Они поднялись на холм, время от времени с беспокойством поглядывая за речку. Дракон не показывался — возможно, спал: за время рождественских праздников он успел неплохо подкормиться.

Священник принялся барабанить в дверь к Джайлзу. Мельник тоже. Им никто не ответил. Тогда они постучали сильнее. Наконец на пороге показался Джайлз. Лицо у него было багровое. Он тоже засиделся далеко за полночь, беседуя с кувшином пива, а с утра пораньше продолжил.

Жители Хэма тут же окружили Джайлза и принялись величать его Добрым Эгидиусом, Храбрым Агенобарбусом, Великим Юлиусом, Стойким Агриколой, Гордостью Хэма и Героем Всей Округи. Они наперебой толковали о Кавдимордаксе, Хвосторубе, Мече-что-не-лежит-в-ножнах, о Смерти или Победе, о Славе Сословия Йоменов[24], Опоре Страны и о Благе Ближних, пока у фермера голова не пошла кругом.

— Стойте, стойте! Не все сразу! — воскликнул Джайлз, улучив момент. — В чем дело, что случи-

---

[24] Примечания: 24

Йомены — в средневековой Англии — свободные зажиточные крестьяне.

лось? По утрам я занят, вы же знаете!

Тогда все наконец-то замолчали и позволили священнику объяснить суть дела. Тут-то и исполнилась мечта мельника — полюбоваться на Джайлза, попавшего в переплет. Но события развернулись не совсем так, как ожидал мельник. Во-первых, Джайлз выпил много крепкого пива. Во-вторых, он преисполнился гордости и приободрился, узнав, что на самом деле его меч — тот самый легендарный Хвосторуб. В детстве, когда Джайлз еще не был таким здравомыслящим, он очень любил слушать истории о Белломариусе и часто мечтал о том, чтобы у него тоже был такой прославленный меч-кладенец. Так что внезапно Джайлз решил, что ему следует немедленно взять Хвосторуб и идти на дракона. Но он так привык торговаться, что, несмотря на свою решимость, еще раз попытался оттянуть события.

— Эй, постойте! — воскликнул он. — Кто же ходит на дракона в старых гамашах и жилете? Насколько я слыхал, драконоборцу нужны доспехи. А в моем доме нету никаких доспехов и никогда не было! — заявил Джайлз.

Жители Хэма признали, что это и вправду серьезное затруднение. Послали за кузнецом. Кузнец только головой покачал. Это был медли-

тельный и мрачноватый человек. По-простому его звали Весельчак Сэм, хотя настоящее его имя было Фабрициус Кунктатор[25]. Он никогда не насвистывал за работой, кроме как в тех случаях, когда предсказанные им несчастья — вроде весенних заморозков — действительно случались. Поскольку кузнец постоянно предрекал уйму бедствий, когда какое-нибудь несчастье действительно стрясалось, всегда оказывалось, что кузнец его предсказывал, и это позволило ему прослыть провидцем. Ему это очень льстило, а потому он и пальцем бы не шевельнул, чтобы предотвратить очередную беду. Кузнец еще раз покачал головой.

— Я не могу сделать доспехи из ничего, — сказал он. — И вообще, это не по моей части. Лучше попросите плотника, чтобы он сделал деревянный щит. Хотя деревянный щит вряд ли поможет, дракон-то огнедышащий!

Жители Хэма приуныли. Но мельник твердо решил отправить Джайлза на съедение дракону, если тот и впрямь на это решится, либо же лишить фермера репутации Местного Героя, если он откажется.

---

[25] Примечания: 25
«Кунктатор» по-латыни значит «медлительный, осторожный».

— А как насчет кольчуги? — поинтересовался мельник. — Кольчуга тоже вполне сгодится, а ей не обязательно быть такой уж хорошей. Она ведь нужна для дела, а не для того, чтобы щеголять при дворе. Как насчет вашей старой кожаной куртки, дружище Эгидиус? В кузне наверняка можно найти целую кучу всяких колечек. Мастер Фабрициус небось и сам не знает, что у него там есть.

— Вы не понимаете, о чем говорите! — возразил кузнец, заметно повеселев. — Настоящей кольчуги мне не сделать. Прицепить к каждому колечку четыре других, и так далее — это гномом надо быть! Если бы я даже и умел плести кольчуги, мне пришлось бы провозиться с ней не одну неделю. А к тому времени все мы окажемся в могиле — или по крайней мере в драконьем брюхе.

Селяне принялись в отчаянии ломать руки. Кузнец заулыбался. Но все так перепугались, что им не хотелось отказываться от первоначального плана. Снова обратились за советом к мельнику.

— Ну, — сказал мельник, — я слыхал, что в давние дни те, кто не мог купить себе блестящую кольчугу из южных земель, просто нашивали на свою кожаную куртку стальные кольца и тем довольствовались. Давайте посмотрим — может, и нам удастся сделать что-нибудь в этом духе.

Так что Джайлзу пришлось принести свою старую куртку. Потом все отправились в кузню. Обшарили все углы и перебрали груду старого железного лома, которая валялась на полу невесть сколько лет. И в самом низу этой груды нашли целую кучу маленьких, потускневших от ржавчины колечек, оставшихся от какой-то истлевшей куртки, вроде тех, о которых говорил мельник. Кузнеца приставили сортировать и чистить кольца. Видя, что дело не такое уж безнадежное, кузнец снова помрачнел. Через некоторое время он радостно сообщил, что этих колец явно не хватит на такого объемистого человека, как мастер Эгидиус. Но его тут же заставили разобрать на звенья старые цепи и перековать эти звенья в кольца, насколько у него хватит искусности.

Потом они взяли самые маленькие стальные кольца и нашили их на переднюю часть куртки, а кольца погрубее и побольше пошли на спину. А когда оказалось, что колец еще много — так усердно трудился бедняга Сэм, — они взяли штаны Джайлза и обшили кольцами и их. А мельник отыскал на темной полке в укромном уголке кузни старый железный каркас от шлема и отнес его к сапожнику, чтобы тот обтянул этот каркас кожей.

Эта работа отняла у них весь остаток дня и весь следующий день. Наступил сочельник, но сегодня людям было не до веселья. Фермер Джайлз отметил праздники, выпив куда больше пива, чем обычно. К счастью, дракон все это время проспал. Он на время забыл и об овцах, и о рыцарях.

Ранним крещенским утром[26] жители Хэма поднялись на холм, прихватив с собой плоды своих трудов, а Джайлз эти плоды осмотрел. Теперь у него не было больше причин отказываться, так что пришлось фермеру натянуть обшитые кольцами куртку и штаны. Мельник снова захихикал. Потом Джайлз надел свои сапоги с отворотами и прицепил старые шпоры; еще он водрузил на голову обтянутый кожей шлем. А под конец Джайлз натянул на шлем старую фетровую шляпу, а поверх доспеха накинул широкий серый плащ.

— А это вам зачем, мастер? — спросили у Джайлза односельчане.

— Ну, если вы предлагаете подбираться к дракону, звеня почище кентерберийских колоколов, так это не по мне, — ответил Джайлз. — Мне вовсе не хочется, чтобы дракон заметил меня раньше, чем требуется. А шлем — он штука такая, ни-

---

[26] Примечания: 26
То есть шестого января.

чем не хуже открытого вызова на битву. Пускай лучше змей увидит только мою старую шляпу — может, тогда я и сумею подобраться к нему поближе прежде, чем начнутся затруднения.

Жители деревни нашивали кольца таким образом, чтобы они перекрывали друг друга. Каждое кольцо нависало над нижним, и потому они действительно звенели. Плащ отчасти приглушал этот звон, но в таком наряде Джайлз выглядел престранно. Впрочем, односельчане не стали ему об этом говорить. Они с некоторыми затруднениями подпоясали Джайлза и прицепили к поясу ножны. Но меч Джайлзу пришлось везти в руке: Хвосторуб ни за что не желал оставаться в ножнах, если только его не удерживали там силой.

Фермер Джайлз кликнул Гарма. Он был человеком справедливым — на свой лад.

— Пес, — сказал Джайлз, — пойдешь со мной.

— Караул! — взвыл Гарм. — На помощь!

— А ну заткнись немедленно! — прикрикнул Джайлз. — А то я тебе такую трепку задам, что любой дракон позавидует! Ты знаешь запах этого змея. Хоть на что-то сгодишься.

Потом фермер Джайлз оседлал свою серую кобылу. Кобыла посмотрела на хозяина с подозрением и фыркнула, увидев шпоры. Но все-таки

она позволила Джайлзу взобраться в седло. Оба они были не в восторге от этого приключения. Через деревню они проехали рысью. Жители махали им руками и восторженно вопили — но, правда, из дому почти никто не вышел. Фермер с кобылой изо всех сил старались напустить на себя бравый вид. Но Гарм был пес бесстыжий и потому трусил за хозяином, поджав хвост.

Так они проехали по мосту над речкой, что протекала за околицей деревни. Когда же наконец деревня скрылась из вида, они не сговариваясь перешли на шаг. И все-таки они чересчур быстро пересекли земли, принадлежащие самому фермеру Джайлзу и прочим жителям Хэма, и добрались до краев, где уже побывал дракон. Теперь вокруг были поломанные деревья, сожженные изгороди, почерневшая трава и пренеприятная, жуткая тишина.

Ярко сияло солнце, и вскоре фермеру Джайлзу захотелось вылезти из своей одежки — но он не решился. К тому же он задумался, не лишней ли была та последняя кружка пива.

«Нечего сказать — неплохой конец рождественских праздников! — размышлял фермер. — Мне еще здорово повезет, если это не окажется и моим концом». Он то и дело промокал себе лоб боль-

шим носовым платком — зеленым, а не красным: ему говорили, что от красных тряпок драконы прямо-таки звереют.

Но дракона Джайлз так и не нашел. Он проехал по множеству тропинок, широких и узких, через опустошенные поля других фермеров, а дракона все было не видать. От Гарма, конечно же, никакого толка не было. Пес путался в ногах у кобылы и решительно отказывался пустить в ход свой нюх.

Наконец они добрались до извилистой дороги, которая почти не пострадала и казалась мирной и спокойной. Проехав по ней с полмили, Джайлз уже начал подумывать, что он свой долг выполнил и репутацию поддержал. Джайлзу пришло в голову, что он потратил достаточно времени на поиски, и он уже совсем было решил поворачивать обратно, чтобы поспеть домой к обеду. Друзьям он решил сказать, что дракон сразу улетел прочь, едва заметил его. Но тут дорога сделала крутой поворот.

А за поворотом обнаружился дракон. Он лежал поперек разрушенной изгороди, и его ужасная голова находилась прямо посреди дороги.

— Караул! — взвыл Гарм и бросился наутек.

Серая кобыла от неожиданности присела, и

фермер Джайлз съехал с ее спины в канаву. Когда он высунул голову из канавы, оказалось, что дракон открыл глаза и смотрит прямо на него.

— Доброе утро! — сказал дракон. — Кажется, вы удивлены?

— Доброе утро! — ответил Джайлз. — Да, есть немного.

— Прошу прощения, — сказал дракон. Когда фермер упал, все его кольца зазвенели. Этот звон достиг слуха дракона, и Хризофилакс тут же насторожился. — Извините за любопытство, но не меня ли вы ищете?

— Да нет, что вы! — возразил фермер. — Кому могло прийти в голову искать вас здесь? Я просто выехал прогуляться.

Джайлз поспешно выбрался из канавы и принялся пятиться поближе к серой кобыле. Кобыла тем временем успела подняться на ноги и теперь с самым беззаботным видом пощипывала травку у обочины.

— Значит, нас свел счастливый случай, — сказал дракон. — Очень рад. А это что на вас — праздничный наряд, насколько я понимаю? Это такая новая мода?

Фермер Джайлз обнаружил, что его фетровая шляпа слетела, а плащ распахнулся. Но он решил

держаться до последнего.

— Да, новый фасон, — отозвался Джайлз. — А теперь мне надо поискать своего пса. Кажется, он сбежал гонять кроликов.

— А мне так не кажется, — возразил Хризофилакс, ухмыляясь и облизываясь. — Я полагаю, он попадет домой куда раньше вас. Впрочем, я вас не задерживаю, сударь, — кстати, не имею чести знать вашего имени…

— А я — вашего, — отозвался Джайлз, — и пусть оно так и останется.

— Как вам будет угодно, — сказал Хризофилакс и снова облизнулся, но при этом притворился, будто закрыл глаза. У Хризофилакса Великолепного сердце было злое (как и у любого дракона), но при этом не слишком отважное (такое тоже частенько бывает). Обычно он предпочитал добычу, которая не могла оказать ему сопротивления. Но сейчас Хризофилакс хорошо поспал, и у него снова разыгрался аппетит. Священник из Дубков оказался довольно жилистым, и дракон подумал, что ему уже давным-давно не случалось перекусить крупным жирным человечком. Поэтому Хризофилакс решил, что грех упускать еду, которая сама идет в рот, и теперь ждал лишь, пока старый дурень утратит бдительность.

Но старый дурень был не настолько глуп, как казался, и не спускал глаз с дракона, даже когда пытался снова взобраться на лошадь. Но у кобылы были свои планы. Когда Джайлз попытался сесть в седло, кобыла заартачилась и шарахнулась в сторону. Дракон начал терять терпение. Он изготовился к прыжку.

— Прошу прощения! — сказал он. — Вы, кажется, что-то уронили?

Конечно, это была старая уловка, но она сработала, поскольку Джайлз и вправду кое-что уронил. Падая с лошади, он выронил Кавдимордакс (или, по-простому, Хвосторуб), и теперь меч лежал у края дороги. Джайлз наклонился, чтобы подобрать меч, и тут дракон прыгнул. Но Хвосторуб его опередил. Едва меч оказался в руке у фермера, как сразу же метнулся вперед, словно молния, метя прямо в глаза дракону.

— Эй! — воскликнул дракон и резко затормозил. — А это что такое?

— Всего лишь Хвосторуб, — сказал Джайлз. — Мне подарил его король.

— Ох, как я ошибся! — воскликнул дракон. — Смиренно прошу прощения! — и он пал ниц перед Джайлзом. Фермер почувствовал себя более уверенно. — Но вы обошлись со мной нечестно!

— Это почему же? — спросил Джайлз. — И даже если и так — с чего вдруг я должен обходиться с вами честно?

— Вы скрыли ваше благородное имя и сделали вид, будто наша встреча произошла случайно. Однако совершенно ясно, что вы — рыцарь знатного рода. А среди рыцарей, сэр, в таких случаях всегда было принято посылать вызов по всей форме, с объявлением всех титулов и с верительными грамотами.

— Может, было, а может, и до сих пор принято, — отозвался Джайлз, постепенно раздуваясь от гордости. Вообще-то человеку, перед которым ползает на брюхе огромный величественный дракон, простительно слегка возгордиться. — Но насчет меня ты здорово ошибся, старый червяк. Я никакой не рыцарь. Я — фермер Эгидиус из Хэма, вот я кто, и терпеть не могу непрошеных гостей. Я подстрелил великана из своего мушкетона, а он-то натворил дел куда меньше твоего. И ему я тоже никаких вызовов не посылал.

Услышав это, дракон забеспокоился. «Чтоб ему пусто было, этому великану! — подумал он. — Лгун несчастный! Меня прискорбнейшим образом ввели в заблуждение! И что же мне теперь делать с этим чересчур храбрым фермером

и этим мечом, таким блестящим и таким настырным?» Случай был из ряда вон выходящий.

— Меня зовут Хризофилакс, — представился дракон. — Хризофилакс Богатый. Что я могу для вас сделать, ваша честь? — добавил он, косясь на меч. Ему очень хотелось подольститься к фермеру и избежать сражения.

— Ты можешь убраться отсюда, старый чешуйчатый гад! — ответил Джайлз, который тоже не рвался в битву. — Чтобы глаза мои тебя больше не видели! А ну проваливай и убирайся в свою грязную берлогу! — Он шагнул к Хризофилаксу и взмахнул руками, словно ворон гонял.

Хвосторубу было довольно и этого. Он описал в воздухе сверкающую дугу и рубанул дракона в правое крыло. Дракон был потрясен. Конечно, Джайлз совершенно не умел убивать драконов, а то бы он выбрал более уязвимое место. Но Хвосторуб и в неопытных руках сделал все что мог. Впрочем, Хризофилаксу хватило и этого — крыло надолго вышло из строя. Дракон попытался было взлететь, но обнаружил, что не в состоянии этого сделать. Фермер тем временем запрыгнул в седло. Дракон бросился бежать. Серая кобыла устремилась следом. Фермер кричал и вопил, словно на скачках, и непрерывно размахивал Хвосторубом.

Дракону чем дальше, тем больше делалось не по себе — а серая кобыла развила великолепную скорость и не отставала от него ни на шаг.

Они скакали по дорожкам, через проходы в изгородях, через поля и ручьи. Дракон пыхтел, дымил и в конце концов окончательно потерял голову. В конце концов они оказались у хэмского моста, прогрохотали по нему и с ревом понеслись по деревенской улице. Тут Гарм набрался нахальства, вынырнул из переулка и присоединился к погоне.

Все жители Хэма прилипли к окнам, а многие даже взобрались на крыши. Кто смеялся, кто кричал «ура!». Некоторые дудели в рога, дудки и свистульки, а священник принялся трезвонить в колокола. Такой суматохи в Хэме не бывало уже добрую сотню лет.

У церкви дракон выдохся и, отдуваясь, рухнул посреди дороги. Подскочил Гарм и принялся обнюхивать драконий хвост, но Хризофилаксу уже было все равно.

— Добрые люди и ты, отважный воитель! — с трудом произнес дракон, завидев подъезжающего фермера Джайлза. Жители деревни вооружились вилами, дубинками и кочергами и столпились вокруг — на разумном расстоянии, естественно.

— Добрые люди, не убивайте меня! — взмолился дракон. — Я очень богат. Я возмещу причиненный ущерб. Я оплачу похороны всех погибших, в особенности священника из Дубков. Я поставлю ему великолепный кенотаф[27] — хотя, по правде сказать, покойник был довольно постным. И каждый из вас получит богатое вознаграждение — если только вы позволите мне сходить домой за деньгами.

— Сколько? — спросил фермер.

— Ну… — протянул дракон и быстро произвел в уме подсчеты. Он отметил про себя, что толпа собралась довольно большая. — Тринадцать шиллингов восемь пенсов на каждого?

— Что за ерунда! — возмутился Джайлз.

— Чушь какая! — поддержали его жители Хэма.

— Вздор! — гавкнул Гарм.

— Тогда по две золотые гинеи и по гинее детям, — предложил дракон.

— А собакам? — вмешался Гарм.

— Продолжай, — приказал дракону фермер. — Мы слушаем.

---

[27] Примечания: 27

Кенотаф — пустая гробница. Ставится в том случае, если человек умер где-нибудь на чужбине или если от тела ничего не осталось — как это и произошло со священником из Дубков.

— Десять фунтов и кошелек с серебром каждой живой душе, а собакам — по золотому ошейнику! — встревоженно произнес дракон.

— Убить его! — закричали жители Хэма, теряя терпение.

— Мешок золота каждому и бриллианты для дам! — поспешно предложил Хризофилакс.

— Это уже ближе к делу, — сказал Джайлз. — Но все-таки маловато будет.

— Про собак опять забыли! — возмутился Гарм.

— А мешок большой? — заинтересовались жители Хэма.

— А по сколько бриллиантов? — уточнили их жены.

— Горе мне, горе! — воскликнул дракон. — Я разорен!

— И по заслугам тебе, — отрезал Джайлз. — Выбирай: или ты будешь разорен, или будешь убит, если солжешь.

Он взмахнул Хвосторубом. Дракон съежился.

— Решай! — закричали жители Хэма, осмелев и придвинувшись поближе.

Хризофилакс зажмурился, но в глубине души он смеялся и даже беззвучно трясся от смеха, но люди этого не заметили. Этот торг начал забавлять дракона. Очевидно, люди и вправду надеялись

что-то получить. Они слишком мало знали об обычаях огромного и безжалостного мира. На самом деле в Срединном Королевстве не было сейчас ни одного человека, которому доводилось бы прежде иметь дело с драконами и который разбирался бы в их хитростях. Хризофилакс уже успел отдышаться и снова начал нормально соображать. Он облизнулся.

— Назовите вашу цену! — сказал он.

Жители деревни снова принялись спорить, а Хризофилакс с интересом прислушивался к их разговорам. Лишь кузнец, как всегда, пророчил несчастья — и это встревожило дракона.

— Ничего хорошего из этого не выйдет, попомните мои слова, — сказал кузнец. — Змей просто не вернется, вот увидите. Но так или иначе, а добром это не закончится.

— А ты можешь не участвовать в сделке, раз ты такой мнительный, — сказали ему односельчане и снова принялись обсуждать условия сделки. Постепенно они обращали на дракона все меньше внимания.

Хризофилакс приподнял голову. Но если он рассчитывал наброситься на людей или улизнуть, пока они спорят, то его ждало жестокое разочарование. Фермер Джайлз стоял рядом, жевал

соломинку и что-то подсчитывал, но при этом не выпускал Хвосторуба из рук и внимательно следил за драконом.

— А ну на место! — скомандовал Джайлз. — А то ты у меня живо получишь что заслужил, и никакое золото не поможет!

Дракон тут же притих. Наконец жители Хэма избрали своим глашатаем священника, и тот шагнул вперед, встав рядом с Джайлзом.

— Гнусный змей! — произнес священник. — Ты должен принести сюда все свои неправедно нажитые богатства. После того как пострадавшим будет возмещен ущерб, оставшееся мы поровну поделим между собой. А после этого, если ты торжественно поклянешься никогда больше не беспокоить наши края и не подстрекать других чудищ чинить нам беспокойства, мы отпустим тебя и ты сможешь вернуться домой, сохранив и голову, и хвост. А теперь поклянись страшной клятвой, которую даже такой змей, как ты, нарушить не посмеет, что ты вернешься сюда и принесешь выкуп.

Хризофилакс немного поломался — для виду — и согласился. Дракон причитал, что он разорен, и плакал горючими слезами до тех пор, пока на дороге не образовались исходящие паром лужи.

Но его причитания не разжалобили крестьян. Дракон многократно поклялся всем святым, что вернется со всем своим богатством ко Дню святого Хилариуса и святого Феликса[28]. До праздника оставалось восемь дней, и этого было слишком мало для такого путешествия. Жители Хэма при всем своем географическом невежестве могли бы это сообразить, если бы подумали получше. И все-таки они позволили дракону уйти, проводив его до моста.

— До встречи! — крикнул Хризофилакс, перебираясь через речку. — Я уверен, что мы вскоре увидимся!

— Увидимся, увидимся! — ответили ему крестьяне. Конечно же, они здорово сглупили. Разумеется, нарушение клятв должно было лечь тяжким грузом на совесть дракона, но беда в том, что совести-то у Хризофилакса вовсе не было. Ну хорошо, допустим, что этот прискорбный недостаток существа со столь величественной родословной оказался выше разумения простых крестьян. Но ведь священник был человеком начитанным и мог бы догадаться о подвохе. Хотя, возможно, он и вправду что-то заподозрил. Он

[28] Примечания: 28

На самом деле дни этих святых празднуются в разное время, и объединить их — все равно что сказать «после дождичка в четверг».

был обучен грамматике, а потому, несомненно, разбирался в будущем времени лучше прочих.

Возвращаясь в свою кузню, кузнец мрачно покачивал головой.

— Хилариус и Феликс! — пробурчал он. — Ох, не нравятся мне эти имена! Какие-то они зловещие![29]

Конечно же, об этом событии быстро прослышал король. Слух о победе над драконом пронесся через королевство словно лесной пожар и по пути разросся до неузнаваемости. Эта новость глубоко взволновала короля — по самым разным причинам, и не в последнюю очередь оттого, что тут запахло деньгами. И король надумал немедленно отправиться в Хэм собственной персоной. Похоже, там творилось что-то странное.

Король прибыл в Хэм через четыре дня после ухода дракона. Он появился на мосту верхом на белом коне, в сопровождении множества рыцарей, трубачей и большого обоза. Все жители Хэма нарядились в свои лучшие одежды и выстроились вдоль улицы, чтобы приветствовать короля. Кавалькада остановилась на площади у входа в церковь.

---

[29] Примечания: 29

«Хилариус» значит «веселый», а «Феликс» — «счастливый». Неудивительно, что кузнецу эти имена не понравились!

Фермер Джайлз был представлен королю. Фермер преклонил колени, но король велел ему подняться и даже похлопал Джайлза по плечу. Рыцари сделали вид, будто не заметили этой фамильярности.

Король повелел, чтобы все жители деревни собрались у реки, на большом выгоне, принадлежащем фермеру Джайлзу. После того как все они (включая Гарма, который был уверен, что его это тоже касается) явились в назначенное место, Августус Бонифациус, король и базилевс, милостиво соизволил обратиться к ним с речью.

Он подробно объяснил, что все сокровища злокозненного Хризофилакса принадлежат ему, поскольку он является законным владыкой этих земель. О своих претензиях на титул сюзерена горной страны король упомянул лишь мимоходом (поскольку его права на этот титул были достаточно сомнительны). Но он изрек:

— Во всяком случае, не приходится сомневаться, что все эти сокровища украдены змеем у наших предков. Однако мы, как это всем известно, справедливы и щедры, и потому наш верный вассал Эгидиус получит подобающее вознаграждение. Все прочие наши верные подданные, обитающие в сем селении, — от священника до

малого ребенка, — также не останутся без знака нашей признательности. Мы чрезвычайно довольны Хэмом. Хотя бы здесь еще обитает стойкий и неподкупный народ, хранящий древнее мужество.

Рыцари же тем временем потихоньку обсуждали новый фасон шляп.

Жители Хэма принялись кланяться, делать реверансы и смиренно благодарить короля. Но теперь они жалели, что не согласились взять у дракона по десять фунтов, с тем, чтобы сохранить дело в тайне. Они знали цену королевской признательности и догадывались, что на десять фунтов она не потянет. Гарм же отметил, что о собаках даже и речи не было. Так что доволен остался один лишь фермер Джайлз. Он-то был уверен, что без награды не останется, и, кроме того, очень радовался, что вышел целым и невредимым из прескверной переделки, да еще и прославился больше прежнего.

Уезжать король не собирался. Он приказал разбить шатры на поле фермера Джайлза и стал дожидаться четырнадцатого января, предаваясь всем развлечениям, какие были доступны в этой жалкой деревеньке, удаленной от столицы. Всего за три дня королевская свита слопала почти все

деревенские запасы хлеба, масла, яиц, кур, сала и баранины и выпила до капли все старое пиво в Хэме. Потом рыцари принялись роптать, жалуясь на скудное питание. Но король щедро заплатил за все — бирками, по которым следовало позднее получить деньги в казначействе (ведь король надеялся, что вскоре его казна снова щедро наполнится). Жители Хэма не знали о нынешнем состоянии казны и потому остались довольны.

И вот наступило четырнадцатое января, День святого Хилариуса и святого Феликса. Все поднялись ни свет ни заря. Рыцари облачились в доспехи. Фермер Джайлз надел свою самодельную кольчугу, и рыцари открыто потешались над ним, пока не заметили, что король недовольно нахмурился. Кроме того, фермер Джайлз прихватил Хвосторуб. Хвосторуб, между прочим, скользнул в ножны словно по маслу и преспокойно остался там лежать. Священник мрачно взглянул на меч и покачал головой. Кузнец радостно усмехнулся.

Настал полдень. Все так волновались, что никому кусок в горло не лез. День не спеша клонился к вечеру. Хвосторуб не предпринимал ни малейших попыток выскочить из ножен. Ни наблюдатели, выставленные на холме, ни мальчишки, облепившие макушки высоких деревьев,

не видели ни в воздухе, ни на земле никаких признаков, что свидетельствовали бы о возвращении дракона.

Кузнец прохаживался взад-вперед и весело насвистывал, но прочие жители Хэма заподозрили, что дракон вообще не собирается возвращаться, лишь когда сгустились сумерки и на небе высыпали звезды. Когда же наступила полночь и условленный день миновал, разочарованию их не было границ. А кузнец ликовал.

— Ну, что я вам говорил! — повторял он. Но прочие еще не до конца поверили, что стали жертвой обмана.

— В конце концов, он был довольно серьезно ранен, — говорили одни.

— Мы дали ему слишком мало времени, — говорили другие. — Ему предстоит долгий тяжелый путь по горам да еще и с большим грузом. Может, ему нужно помочь?

Но прошел следующий день, а за ним еще один, и все потеряли надежду. Король был в бешенстве. Провизия и выпивка закончились, и рыцари принялись роптать еще громче. Они хотели вернуться ко двору с его развлечениями. А король хотел денег.

Прощаясь со своими верными подданными,

король держался весьма сухо. Половину казначейских бирок он аннулировал. С фермером Джайлзом король был довольно холоден и при прощании ограничился кивком.

— Ждите наших дальнейших распоряжений, — сказал король и ускакал вместе со своими рыцарями и трубачами.

Самые легковерные и простодушные полагали, что король вскоре пришлет мастеру Эгидиусу приглашение ко двору, чтобы наконец посвятить его в рыцари. Через неделю и вправду пришло послание, но совсем другого рода. Оно было в трех экземплярах — один для Джайлза, один для священника и еще один — чтобы вывесить его на двери церкви. Из всего этого хоть какую-то пользу принесла только копия, направленная священнику, поскольку причудливый придворный шрифт был для жителей Хэма не понятнее книжной латыни. Но священник переложил это послание на простое наречие и зачитал его с кафедры. Оно было коротким и чрезвычайно деловым (для королевского письма): король очень спешил.

«Мы, Августус Бонифациус и т. д., король, уведомляем: мы решили, что ради безопасности нашего королевства и поддержания нашей чести

змея или дракона, именующего себя Хризофилаксом Богатым, следует разыскать и покарать за его проступки, преступления, злодеяния и душегубство. Сим повелеваем всем рыцарям нашего королевского двора вооружиться и быть готовыми отправиться в поход, как только мастер Эгидиус А. Ю. Агрикола прибудет к нашему двору. Поскольку вышеназванный Эгидиус показал себя надежным человеком и доказал, что способен управляться с великанами, драконами и прочими нарушителями спокойствия в нашем королевстве, сим мы повелеваем ему как можно быстрее пуститься в путь, дабы присоединиться к нашим рыцарям».

Жители Хэма решили, что фермеру Джайлзу оказана большая честь и что теперь-то его уж точно посвятят в рыцари. Мельник исполнился зависти.

— Дружище Эгидиус быстро идет в гору, — сказал он. — Надеюсь, он не настолько зазнается, чтобы перестать узнавать нас, когда вернется.

— А может, он и вовсе не вернется… — протянул кузнец.

— Да заткнись ты, старый пень! — вспылил фермер Джайлз, окончательно выйдя из себя. — Хорошенькая честь — быть прихлопнутым! Да

если я вернусь назад, я даже мельнику обрадуюсь! Одно утешение — я хоть ненадолго избавлюсь от вас обоих, — и с этими словами фермер удалился.

Король — не односельчане, от него отговорками не отделаешься. Так что ягнята там или не ягнята, пора пахать или не пора, молоко или вода, но пришлось Джайлзу оседлать свою серую кобылу и отправляться в путь. Когда он собирался, к нему заглянул священник.

— Надеюсь, вы прихватили с собой прочную веревку? — поинтересовался он.

— Это еще зачем? — спросил Джайлз. — Повеситься, что ли?

— Отнюдь! Крепитесь, мастер Эгидиус, — сказал священник. — Сдается мне, что вы человек удачливый. Так что веревку все-таки прихватите, и подлиннее. Если предчувствия меня не обманывают, она вам еще пригодится. А теперь прощайте и возвращайтесь целым и невредимым!

— Ага, как же! А дом и хозяйство без меня пойдут прахом! Проклятые драконы! — отозвался Джайлз. Но все-таки засунул в седельную сумку большой моток веревки, взобрался в седло и уехал.

Пса он с собой не взял — Гарм все утро где-то

прятался. Но когда Джайлз уехал, Гарм проскользнул в дом и остался там. Он провыл всю ночь, за что был бит, но так и не унялся.

— Караул, карау-у-ул! — выл он. — Я никогда больше не увижу дорогого хозяина, а он был таким грозным и величественным! Уж лучше бы я с ним пошел, честное слово!

— Заткнись, — крикнула жена фермера, — или ты не доживешь до его возвращения!

Кузнец услышал вой.

— Дурное знамение! — радостно воскликнул он.

Прошло много дней, но никаких известий не поступало.

— Нет новостей — плохие новости! — сказал кузнец и принялся напевать.

Когда фермер Джайлз прибыл ко двору, он был грязным и усталым. Но рыцари в блестящих кольчугах и сверкающих шлемах уже стояли рядом со своими лошадьми. Рыцари были очень недовольны тем, что их отправили в поход да еще и навязали им общество фермера, а потому они настояли на буквальном выполнении приказа — то есть тронулись в путь сразу же, как только появился Джайлз. Несчастный фермер едва успел проглотить кусочек хлеба и запить его глотком

вина, как ему пришлось снова отправляться в дорогу. Серая кобыла была глубоко оскорблена. Правда, она так и не высказала своего мнения о короле вслух — это и к лучшему, поскольку оно было на редкость нелестным.

Уже вечерело. «Поздновато мы двинулись в поход», — подумал Джайлз. Но далеко они не уехали. Тронувшись в путь, рыцари уже особо не спешили. Они лениво ехали, растянувшись на полмили — рыцари, оруженосцы, слуги и пони с вьюками багажа а позади всех, на усталой кобыле, тащился фермер Джайлз.

Когда настал вечер, рыцари остановились и разбили свои шатры. Провизии для Джайлза они не прихватили, и ему пришлось перебиваться тем, что удалось позаимствовать. Кобыла была вне себя от негодования и отреклась от верности дому Августуса Бонифациуса.

Следующий день они провели в пути, потом еще один. На третий день вдали показались туманные негостеприимные горы. Здесь начинались края, где владычество Августуса Бонифациуса было не таким уж бесспорным. Теперь рыцари ехали, поплотнее сбившись в кучу, и внимательно смотрели по сторонам.

На четвертый день они добрались до Диких

Холмов и до границ подозрительных земель, в которых, по слухам, обитали всякие сказочные существа. Вдруг один из всадников, скакавших впереди, заметил на песчаном берегу ручья зловещие отпечатки. Кликнули фермера.

— Что это такое, мастер Эгидиус? — спросили рыцари.

— Драконьи следы, — ответил фермер.

— Тогда проезжайте вперед! — сказали рыцари.

Теперь они двигались на запад. Фермер Джайлз ехал первым, звеня нашитыми на куртку кольцами. Но это не имело особого значения — все равно рыцари непрерывно смеялись и болтали, а менестрель распевал баллады. Время от времени рыцари хором подхватывали припев. Это придавало рыцарям мужества, поскольку песни были хорошие — их сочинили в те давние дни, когда люди были больше привычны к сражениям, чем к турнирам. Но все же это было неразумно. Теперь об их появлении стало известно всем здешним обитателям, и драконы в своих пещерах на западе насторожили уши. У рыцарей не осталось ни малейшего шанса захватить старину Хризофилакса врасплох.

Волею судьбы — а может, самой серой кобылы

— случилось так, что когда отряд въехал под сень мрачных гор, кобыла фермера Джайлза внезапно охромела. Теперь путникам приходилось ехать по крутым каменистым тропам, с трудом карабкаясь вверх. Им все больше становилось не по себе. А серая кобыла потихоньку перемещалась в хвост отряда. Она спотыкалась и прихрамывала, и на морде у нее была написана такая печаль и тоска, что в конце концов Джайлзу пришлось слезть и идти пешком. Вскоре они с кобылой оказались позади, среди вьючных пони, но никто не обратил на них ни малейшего внимания. Рыцари обсуждали тонкости этикета и спорили, чей род знатнее, и почти не смотрели по сторонам. А если смотрели бы, то увидели бы, что вокруг теперь полно свежих драконьих следов.

Ибо путники уже вступили на те земли, где частенько бродил Хризофилакс после ежедневных летательных упражнений. Невысокие холмы по обе стороны тропы были опалены и вытоптаны. Трава там почти не росла, лишь кое-где посреди пятен пепла и выжженной земли виднелись пожухлые стебли дрока и вереска. Дракон резвился здесь уже много лет подряд. А сверху стеною нависали мрачные горы.

Фермер Джайлз беспокоился о своей кобыле, но

в то же время был очень рад, что у него появился законный повод не торчать больше на виду. Ему совсем не улыбалось ехать во главе подобной кавалькады по этим унылым и подозрительным местам. Некоторое время спустя он возрадовался еще больше, и у него появилась причина возблагодарить судьбу (и свою кобылу) за то, что он переместился назад. На седьмой день путешествия, как раз на Сретенье[30], примерно около полудня, Хвосторуб выскочил из ножен, а дракон — из своей пещеры.

Дракон ринулся в битву без предупреждения и прочих формальностей. Он просто с громким ревом обрушился на рыцарей. Вдали от дома Хризофилакс не выказывал особой отваги, несмотря на принадлежность к древнему и знатному роду. Но теперь дракон был преисполнен великим гневом — ведь он сражался у порога собственного дома, защищая все свои сокровища. Он появился из-за хребта неожиданно, точно гром среди ясного неба. Его появление сопровождалось ураганным воем и красными сполохами.

Споры о знатности и этикете тут же прекратились. Перепуганные лошади заметались, и

[30] Примечания: 30
То есть второго февраля.

кое-кто из всадников очутился на земле. Вьючные пони и слуги, присматривавшие за багажом, тут же развернулись и бросились наутек — их тонкости этикета не волновали.

Внезапно путников накрыло облако удушливого дыма, а вслед за облаком на голову отряда обрушился дракон. Несколько рыцарей погибли, даже не успев произнести по всей форме вызов на бой, а еще несколько полетели на землю вместе с лошадьми. Что же касается остальных, их скакуны приняли бремя ответственности на себя, а именно — развернулись и пустились вскачь, унося своих хозяев прочь, желали они того или нет. Впрочем, большинство рыцарей не имели ничего против.

Но старая серая кобыла не тронулась с места. Возможно, она боялась переломать себе ноги на крутой каменистой тропе. А может, она чересчур устала, чтобы пускаться вскачь. А еще кобыла хвостом чуяла, что безопаснее держаться позади летящего дракона, чем перед ним, и что даже скаковой лошади от него не сбежать. Кроме того, ей уже доводилось встречаться с Хризофилаксом, и кобыла прекрасно помнила, как он удирал от нее, не разбирая дороги, пока не рухнул без сил на главной улице деревни. В общем, кобыла лишь

уперлась покрепче и всхрапнула. Фермер Джайлз побледнел так, что дальше некуда, но остался стоять рядом с кобылой. Похоже, ничего другого ему просто не оставалось.

И вышло так, что дракон, идя в атаку на отряд рыцарей, вдруг увидел прямо перед собой своего старого врага с Хвосторубом в руках. Этого Хризофилакс ну никак не ожидал. Он нырнул в сторону, словно огромная летучая мышь, и плюхнулся на склон рядом с тропой. Серая кобыла тут же подскакала к нему, напрочь забыв о хромоте. Здорово приободрившийся фермер Джайлз успел вскарабкаться к ней на спину.

— Прошу прощения, — сказал он, — вы, случайно, не меня ищете?

— Нет-нет, что вы! — воскликнул Хризофилакс. — Мне бы и в голову не пришло искать вас здесь! Я просто пролетал мимо!

— Значит, нас свел счастливый случай, — сказал Джайлз. — И я этому чрезвычайно рад, потому что я-то как раз вас и разыскиваю. Более того, у меня к вам одно маленькое дельце — а точнее, не такое уж и маленькое.

Дракон пыхнул огнем. Фермер Джайлз вскинул руку, защищая лицо от жара, и сверкающий Хвосторуб оказался в опасной близости от дра-

коньего носа.

— Эй! — воскликнул дракон и прекратил пыхать. Он задрожал и попятился. Все пламя в нем остыло. — Милостивый государь, я надеюсь, вы пришли сюда не затем, чтобы убить меня? — проскулил Хризофилакс.

— Ну что вы! — отозвался фермер. — Об убийстве речь не идет.

Серая кобыла фыркнула.

— Тогда что вы здесь делаете со всеми этими рыцарями, если мне позволено будет спросить? — поинтересовался Хризофилакс. — Рыцари всегда убивают драконов, если только мы не успеваем их опередить.

— Я с ними ничего не делаю. Они мне даром не нужны, — сказал Джайлз. — Кроме того, они все уже мертвы или ускакали. А как насчет того, что вы обещали мне на Крещенье?

— А что такое? — обеспокоенно спросил дракон.

— Вы опоздали почти на месяц, — сказал Джайлз, — и просрочили платеж. Я пришел его взыскать. Вам следует извиниться за причиненные мне лишние хлопоты.

— Мне искренне жаль! — воскликнул дракон. — Вам совсем не стоило тащиться в такую

даль!

— На этот раз ты отдашь все свои сокровища до последней монетки, и безо всяких фокусов, — заявил Джайлз, — или ты умрешь и я вывешу твою шкуру на колокольне нашей церкви в назидание всем прочим драконам!

— Но это жестоко! — возопил дракон.

— Сделка есть сделка, — ответил Джайлз.

— А могу ли я, раз уж я плачу наличными, оставить себе пару колечек и чуть-чуть золота? — спросил дракон.

— Ни единой медной пуговицы! — возмутился Джайлз. И они некоторое время препирались и торговались, словно на ярмарке. Но чем это закончилось, ясно всякому. Может, Джайлз и не был опытным драконоборцем, но уж торговаться-то он умел — дай бог каждому!

Обратно в пещеру дракону пришлось тащиться пешком, потому что фермер Джайлз шел рядом с ним как приклеенный и выразительно помахивал Хвосторубом. Петлявшая по горам тропа была узкой, и там едва хватало места для них двоих. Кобыла шла позади, и вид у нее был весьма задумчивый.

До пещеры было пять миль, и все в гору. Фермер Джайлз шагал рядом с драконом, пыхтя и

отдуваясь, но не спуская глаз со змея. Наконец они добрались до западного склона горы и подошли ко входу в пещеру. Пещера оказалась очень глубокой, черной и чрезвычайно неприятной на вид. Вход в нее был прегражден медными воротами на огромных железных столбах. Очевидно, в минувшие дни это была чья-то гордая крепость. Ведь сами драконы не умеют ни строить здания, ни рыть пещеры. Они по возможности предпочитают селиться в гробницах или сокровищницах могущественных королей и древних великанов. Ворота стояли раскрытыми нараспашку. Подойдя к ним вплотную, фермер с драконом остановились. До этого момента у Хризофилакса не было ни малейшей возможности удрать, но теперь, очутившись у ворот собственного жилища, он весь подобрался и приготовился нырнуть внутрь.

Фермер Джайлз огрел его мечом плашмя.

— А ну-ка погоди! — прикрикнул он. — Я хочу тебе кое-что сказать, прежде чем ты туда войдешь. Если ты в самое ближайшее время не вернешься обратно с чем-нибудь стоящим, я отправлюсь следом за тобой и начну с того, что отрублю тебе хвост.

Кобыла фыркнула. Ей как-то не верилось, чтобы

фермер Джайлз полез в драконье логово, даже за все сокровища на свете. Но Хризофилакс вполне в это поверил — ведь Хвосторуб блестел так ярко и казался таким острым, да и вообще… Вполне возможно, что он-таки был прав, а кобыла, при всей своей мудрости, не заметила, как переменился ее хозяин. Фермер Джайлз оседлал свою удачу и теперь, с честью выйдя из двух переделок, так возомнил о себе, что ему все драконы были нипочем.

Так или иначе, но Хризофилакс довольно быстро вернулся обратно и принес двадцать фунтов золота и серебра, а кроме того — сундук с кольцами, ожерельями и другими красивыми вещичками.

— Вот! — сказал он.

— Что — вот? — хмыкнул Джайлз. — Ты хочешь сказать, что это все? Да тут и половины не будет!

— Конечно же нет! — тут же согласился дракон. Он обнаружил, что фермер, кажется, начал соображать куда лучше, чем тогда, в деревне, и это сильно обеспокоило змея. — Конечно же! Но я не мог вынести все за один раз.

— Да и за два не вынесешь — могу поспорить, — сказал Джайлз. — А теперь иди и возвращайся побыстрее, а не то познакомишься с Хвосторубом

поближе!

— Не надо! — воскликнул дракон.

Он нырнул в пещеру и выскочил обратно вдвое быстрее, чем в прошлый раз.

— Вот! — сказал он, опуская на землю огромную кучу золота и два сундука с алмазами.

— А теперь поищи еще! — приказал фермер. — И постарайся как следует!

— Но это же жестоко! — возопил дракон и снова нырнул в пещеру.

На этот раз серая кобыла слегка забеспокоилась — из личных соображений. «Хотела бы я знать, кто потащит этот тяжеленный хлам домой?» — подумала кобыла и так тоскливо взглянула на все эти мешки и сундуки, что фермер догадался о ее мыслях.

— Не волнуйся, лапочка, — сказал он. — Мы нагрузим все это на старого змея.

— Смилуйтесь! — воскликнул Хризофилакс. Он как раз выходил из пещеры с новым, еще бо́льшим грузом золота и грудой драгоценных камней, переливавшихся зелеными и красными огоньками, и услыхал эти слова. — Смилуйтесь! Если мне придется все это тащить, я же надорвусь! А сверх этого мне уже ни одного мешка не поднять, хоть вы меня убейте!

— Так значит, у тебя там еще есть, а? — поинтересовался фермер.

— Ну да, — признал Хризофилакс. — Ровно столько, чтобы я остался почтенным и уважаемым драконом.

На этот раз дракон для разнообразия почти не соврал — и, как оказалось, поступил разумно.

— Если вы позволите мне оставить себе эти жалкие крохи, — вкрадчиво сказал дракон, — я навеки останусь вашим другом. И отнесу все эти сокровища к дому вашей милости, а не к королю. И более того — помогу вам их сохранить, — добавил Хризофилакс.

Фермер поковырял свободной рукой в зубах, поразмыслил и сказал: «Идет!» Надо сказать, он поступил очень осмотрительно. Рыцарь на его месте затребовал бы все и получил бы в придачу проклятие, лежащее на сокровищах. А кроме того, вполне вероятно, что если бы Джайлз довел дракона до отчаяния, тот кинулся бы в смертный бой, невзирая на Хвосторуб. А в таком случае, даже если бы Джайлз и не погиб, он был бы вынужден убить свое транспортное средство и оставить б*о*льшую часть добычи здесь, в горах.

На том они и договорились. Фермер набил карманы драгоценностями — так, на всякий случай

— и навьючил небольшой груз на серую кобылу. Прочие же мешки и сундуки он погрузил на спину Хризофилакса, так что дракон стал похож на королевский фургон для перевозки мебели. С таким грузом Хризофилакс уже никак не мог улететь, даже если бы Джайлз не связал ему крылья.

«А ведь и правда — пригодилась веревочка в конце концов, и еще как пригодилась!» — подумал Джайлз и помянул священника добрым словом.

И вот теперь дракон, пыхтя, рысцой продвигался по тропе. Кобыла следовала за ним по пятам, а фермер продолжал держать сверкающий Кавдимордакс наготове, и потому Хризофилакс не смел ловчить.

Несмотря на ношу, и кобыла, и дракон на обратном пути развили неплохую скорость — бо́льшую, чем удирающая кавалькада. Фермер Джайлз спешил, и не последней причиной этому было то, что в его переметных сумках осталось очень мало еды. Кроме того, Джайлз не питал доверия к Хризофилаксу после того, как дракон нарушил столь серьезные и торжественные клятвы, и теперь беспокоился — как же ему пережить ночь и остаться в живых, да еще и сохранить добытое? Но еще до наступления ночи ему снова

улыбнулась удача: они нагнали полдюжины слуг и пони, которые удрали при появлении дракона, но заблудились в Диких холмах. Завидев дракона, они перепугались и бросились врассыпную, но окрик Джайлза остановил их.

— Эй, ребята! — крикнул Джайлз. — Возвращайтесь! У меня есть для вас работенка, и я хорошо заплачу!

Так они поступили к Джайлзу на службу. Они были очень рады, что у них снова появился хозяин, и надеялись, что, может, теперь им и вправду начнут платить регулярнее, чем прежде. Они отправились дальше вместе: семь человек, шесть пони, одна кобыла и дракон. Джайлз почувствовал себя знатной персоной и понемногу начал задирать нос. Они старались останавливаться как можно реже.

На ночь фермер Джайлз привязывал дракона за лапы к четырем вбитым в землю кольям и ставил троих слуг его караулить. Но серая кобыла все равно спала вполглаза, на тот случай, если люди попытаются выкинуть какой-нибудь номер.

Через три дня они вернулись в пределы Срединного Королевства. Появление этого маленького отряда вызвало такой переполох, какого прежде не видывали меж двух морей. В первой же де-

ревне, где путники остановились купить еды и питья, им принесли все бесплатно и половина местных парней пожелали присоединиться к процессии. Джайлз отобрал себе дюжину ребят покрепче. Он пообещал им хорошую плату и купил им лошадей, каких удалось найти. Фермер кое-что задумал.

Отдохнув денек, Джайлз снова пустился в путь, в сопровождении увеличившейся свиты. Они пели песни в его честь. Песни были сложены на скорую руку и звучали немного нестройно, но Джайлзу они казались превосходными. Некоторые путники время от времени разражались радостными возгласами, другие смеялись. Воистину, то было чудесное зрелище!

Вскоре фермер Джайлз свернул к югу и двинулся в сторону своего дома, даже не подумав отправить к королевскому двору хоть какое-нибудь послание. Но весть о возвращении мастера Эгидиуса разнеслась по королевству со скоростью лесного пожара и вызвала великое изумление и смятение, поскольку как раз перед тем по всем городам и деревням был разослан королевский указ о трауре в связи с гибелью множества храбых рыцарей.

Везде, где только появлялся Джайлз, народ

тут же забывал о трауре. Начинали звонить колокола, и отовсюду с радостными криками сбегались люди, размахивая шапками и платками. Несчастного дракона освистывали и всячески оскорбляли, так что вскоре Хризофилакс горько пожалел, что согласился на эту сделку. Это было слишком унизительно для дракона, происходящего из такого древнего и знатного рода. Когда они вернулись в Хэм, Хризофилакса облаяли все тамошние собаки. Все, кроме Гарма: его глаза, уши и нос были прикованы исключительно к хозяину. Пес совсем потерял голову от восторга и принялся скакать по улице, выкидывая кренделя.

Само собой разумеется, Хэм устроил фермеру Джайлзу великолепную встречу. Но, возможно, больше всего Джайлз порадовался тому, что мельник с кузнецом совершенно скисли и растерялись.

— Этим дело не закончится, попомните мои слова! — сказал кузнец, но ничего более мрачного ему в голову так и не пришло, и кузнец уныло понурился. Фермер Джайлз в сопровождении своих шести слуг, двенадцати крепких парней и дракона поднялся на холм и на некоторое время остался там. К себе домой он пригласил одного

лишь священника.

Вскорости эта новость достигла столицы, и люди высыпали на улицы, позабыв об официальном трауре и собственных делах. Повсюду стоял шум и гам.

Король сидел во дворце, грыз ногти и рвал на себе бороду. Он был буквально не в себе от горя и ярости (и финансовых неурядиц), так что никто не осмеливался заговорить с ним. Но в конце концов королевских ушей достиг шум с улицы, мало напоминающий плач или горестные причитания.

— Что это там за вопли?! — возмущенно спросил король. — Скажите людям, чтобы они отправлялись по домам и горевали более благопристойно! Разорались точно гуси на ярмарке!

— Дракон вернулся, государь, — сообщили ему придворные.

— Что?! — воскликнул король. — Немедленно соберите наших рыцарей — хотя бы тех, что остались!

— В этом нет необходимости, государь, — сказали придворные. — При мастере Эгидиусе дракон держится смирно, словно дрессированный. Во всяком случае, так нам сообщили. Эти новости поступили не так давно, и известия весьма про-

тиворечивы.

— Слава тебе, Господи! — с облегчением воскликнул король. — Подумать только — ведь мы заказали на послезавтра панихиду по этому человеку! Отменить панихиду! А что там с нашими сокровищами?

— Сообщения гласят, государь, что их там целая гора, — ответили придворные.

— А когда они прибудут? — нетерпеливо спросил король. — До чего же славный малый этот Эгидиус! Пришлите его ко мне сразу же, как он появится!

Теперь придворные несколько замешкались с ответом. Наконец кто-то набрался храбрости и произнес:

— Прошу прощения, государь, но поговаривают, что фермер свернул к своему дому. Но, несомненно, он при первой же возможности поспешит сюда, как только сменит дорожное одеяние на более приличествующее случаю.

— Несомненно! — отозвался король. — Но черт бы побрал все его одеяния! Он не должен был отправляться домой, не доложившись нам. Мы весьма недовольны.

Первая возможность явиться ко двору пришла и прошла, а за ней и множество других. На самом

деле фермер Джайлз задержался на неделю, если не больше, и ко двору не поступило ни послания от него, ни каких-либо новых известий.

На десятый день чаша королевского терпения переполнилась.

— Пошлите за этим человеком! — приказал король, и за Джайлзом послали. До Хэма от столицы был день быстрой езды в одну сторону.

— Он не идет, государь! — доложил два дня спустя дрожащий гонец.

— Молнии небесные! — возмутился король. — Велите ему явиться к следующему вторнику, или его ждет пожизненное заключение!

— Прошу прощения, государь, но он все равно не идет, — доложил во вторник одинокий и глубоко несчастный гонец.

— Десять тысяч громов! — возмутился король. — Тогда посадите этого дурака в тюрьму! А теперь пошлите несколько человек, чтобы они привели этого хама в цепях! — приказал он придворным.

— А сколько человек посылать? — неуверенно спросили они. — Там дракон, и… и Хвосторуб, и…

— И швабры, и веники! — рявкнул король. Потом он приказал оседлать своего белого коня и, собрав всех рыцарей (тех, что уцелели) и отряд

латников, в гневе поскакал в Хэм. Все жители столицы смотрели ему вслед, чрезвычайно озадаченные.

Но фермер Джайлз был уже не просто Героем Всей Округи. Он стал теперь Любимцем Страны. Так что мирные поселяне больше не встречали рыцарей радостными возгласами — хотя всё еще снимали шапки при виде короля. Чем ближе королевский отряд подъезжал к Хэму, тем угрюмее на него смотрели. В некоторых деревнях жители запирались в домах и не казали носа на улицу, пока рыцари не проезжали мимо.

Пылкий гнев короля сменился ледяной яростью. Когда они в конце концов подъехали к реке, за которой располагался Хэм и дом фермера, вид у короля был мрачный донельзя. Он намеревался спалить деревню дотла. Но на мосту через реку обнаружился фермер Джайлз верхом на серой кобыле и с Хвосторубом в руках. Вокруг никого больше не было видно, не считая Гарма, лежащего посреди дороги.

— Доброе утро, государь! — жизнерадостно сказал Джайлз, не дожидаясь, пока к нему обратятся.

Король холодно взглянул на Джайлза.

— Ваши манеры непригодны для двора, — ска-

зал он, — но это еще не повод не являться, когда за вами посылают.

— По правде говоря, государь, я и не думал к вам являться, и вовсе не из-за манер, — отозвался Джайлз. — У меня своих дел по горло. Я и так убил кучу времени из-за ваших поручений.

— Десять тысяч громов! — снова вспылил король. — Что за дьявольская наглость! Все, на вознаграждение теперь и не рассчитывайте! Скажите еще спасибо, если вас не вздернут! А вастаки вздернут, если вы немедленно не попросите у нас прощения и не вернете наш меч.

— Да ну? — переспросил Джайлз. — А я так полагаю, что свое вознаграждение я уже получил. Как говорят в наших местах, что нашел, то твое. И еще я полагаю, что Хвосторубу у меня лучше, чем у ваших людей. Кстати, а что здесь делают все эти рыцари и воины? — поинтересовался он. — Если вы прибыли в гости, то добро пожаловать, но только не со всей оравой. А если вы явились, чтобы забрать меня, то вас тут маловато.

Король задохнулся от возмущения, а рыцари побагровели и понурились. Кое-кто из латников усмехнулся, пока король на них не смотрел.

— А ну отдавай мой меч! — крикнул король, снова обретя дар речи, но позабыв титуловать

себя во множественном числе.

— Отдавай корону! — отпарировал Джайлз. Такого потрясающего заявления в Срединном Королевстве испокон веков не слыхивали.

— Молнии небесные! Схватить его и связать! — крикнул король, разозлившись сверх всякой меры. — Что вы стоите? Схватите его или убейте!

Воины двинулись вперед.

— На помощь! На помощь! На помощь! — залаял Гарм.

И в то же мгновение из-под моста вынырнул дракон. Он прятался на дне реки, у дальнего берега, и теперь выпустил огромное облако пара, потому что выпил много галлонов воды. Все вокруг мгновенно окутал плотный туман, и в этом тумане видны были лишь горящие глаза дракона.

— Вы, идиоты! Убирайтесь домой! — взревел дракон. — Или я разорву вас на кусочки! На горном перевале осталось лежать множество рыцарей, а здесь, на дне реки, скоро будет лежать еще больше! Вся королевская конница, вся королевская рать!

И с этими словами дракон ринулся вперед и вцепился в бок королевского белого коня. Конь бросился прочь, словно те самые десять тысяч

громов, которые так любил поминать король. Прочие лошади проворно последовали за ним. Некоторые из них уже встречались с драконом, и у них остались самые неприятные воспоминания об этой встрече. А простые воины бросились наутек, не разбирая дороги, — лишь бы подальше от Хэма!

Белый конь был лишь поцарапан, и далеко ему ускакать не удалось. Вскоре король развернул его обратно. Конем-то он, по крайней мере, еще повелевал, и никто не посмел бы сказать, что король боится кого бы то ни было на свете, будь то человек или дракон. Когда король вернулся к мосту, туман уже рассеялся, но то же самое можно было сказать и обо всех королевских рыцарях и воинах. И теперь ситуация совершенно изменилась — королю пришлось в одиночку разговаривать с упрямым фермером, у которого под рукой были Хвосторуб и дракон.

Неудивительно, что разговор окончился ничем. Фермер Джайлз был непреклонен. Он не желал ни уступать, ни драться, хотя король и пытался вызвать его на поединок.

— Ну уж нет, государь! — рассмеялся Джайлз. — Отправляйтесь домой и поостыньте. Я не хочу причинять вам вреда, но лучше бы вам уйти, а то

я не отвечаю за дракона. Счастливого пути!

Тем и закончилась достославная Битва у Хэмского моста. Король не получил ни единого пенни из драконьих сокровищ, и извинений от Джайлза он тоже не добился. Наш фермер прямо-таки раздулся от гордости. И мало того — с этих пор власть Срединного Королевства в тех местах пришла в упадок. И на много миль вокруг люди признали своим властелином Джайлза. Король, несмотря на все свои титулы, никак не мог набрать людей, чтобы выступить против мятежника Эгидиуса. Ведь Джайлз сделался Любимцем Страны и героем множества песен. А запретить все песни о его деяниях было совершенно невозможно. Кстати, наибольшей популярностью пользовалась комическая баллада из ста куплетов, повествующая о встрече на мосту.

Хризофилакс довольно долго оставался в Хэме, к вящей выгоде Джайлза: человека, у которого есть ручной дракон, просто невозможно не уважать. Дракона с дозволения священника поселили в амбаре для церковной десятины, и охраняли его двенадцать крепких парней. Именно тогда возник первый из титулов Джайлза — Dominus de Domito Serpente, что на простом наречии означает Владыка Ручного Змея. Джайлз пользовался

всеобщим уважением, но по-прежнему продолжал платить королю символическую подать: в День святого Матиаса, в годовщину встречи на мосту, он посылал королю шесть бычьих хвостов и пинту горького пива. Впрочем, вскоре Джайлз сменил «лорда» на «графа». Надо сказать, к тому времени он так растолстел, что его пояс, знак графского титула, пришлось сделать чрезвычайно длинным.

Через несколько лет Джайлз стал принцем Юлиусом Эгидиусом и прекратил платить дань. Поскольку он был сказочно богат, то построил себе великолепный дворец и собрал сильное войско. Оно выглядело очень красочно и нарядно, ведь воины были одеты в лучшую одежду, какую только можно купить за деньги. Каждый из двенадцати парней, первыми присоединившихся к Джайлзу, стал капитаном. Гарм получил золотой ошейник и до конца дней своих мог бродить где ему заблагорассудится.

Счастливый Гарм сделался совершенно несносен: он требовал, чтобы все окрестные псы относились к нему с уважением — из почтения к его грозному и величественному хозяину. Серая кобыла окончила свои дни в мире и спокойствии, так ни с кем и не поделившись своими размыш-

лениями.

В конце концов Джайлз стал королем — конечно же королем Малого Королевства. Он был коронован в Хэме под именем Эгидиуса Драконариуса, но был более известен как старина Джайлз Змейский. При его дворе вошло в моду простое наречие, и сам Джайлз никогда не произносил речей на книжной латыни. Жена Джайлза стала весьма представительной и величественной королевой и крепко держала в руках все домашние расходы. Обойти королеву Агату было невозможно — ну, по крайней мере идти пришлось бы долго.

Со временем Джайлз сделался почтенным старцем. У него была седая борода длиной до колен, очень приличный двор (где почти каждого вознаграждали по заслугам) и совершенно по-новому устроенное рыцарство. Рыцари назывались Драконьей Стражей, и эмблемой им служило изображение дракона, а двенадцать крепких парней стали старшими рыцарями.

Следует признать, что, хотя Джайлз возвысился во многом благодаря удаче, он выказал недюжинный ум, сумев правильно воспользоваться благоприятными обстоятельствами. И удача, и ум остались при Джайлзе до конца его дней, к

великому благу его друзей и соседей. Он очень щедро вознаградил священника, и даже кузнецу с мельником кое-что перепало. Джайлз вполне мог себе позволить проявить щедрость. Но после того как Джайлз стал королем, он издал суровый закон, запрещающий пророчить неприятности, и объявил мельничное дело королевской монополией. Кузнец сменил профессию и стал гробовщиком, а вот мельник сделался преданным слугой короны. Священник стал епископом и учредил епархию в хэмской церкви, которая по такому случаю была перестроена и расширена.

Те, кто и поныне живет на территории Малого Королевства, могут найти в этом повествовании подлинное объяснение названий, которые и в наше время носят некоторые города и деревни. Как сообщили нам знающие люди, Хэм, сделавшись главным городом нового королевства, благодаря естественному сходству между словами «лорд Хэма» и «лорд Тэма»[31], стал более известен под последним названием, каковое и сохранил до наших дней; произносить это имя как Тейм — непростительная безграмотность. А Драконарии (Драконьи Стражи) в память о драконе, с которого

[31] Примечания: 31
То есть «ручного».

началась их славная карьера, построили себе прекрасный дом в четырех милях к северо-западу от Тэма, на том самом месте, где состоялась первая встреча Джайлза и Хризофилакса. Это место было названо Aula Draconaria, в честь королевского титула и штандарта, на котором был изображен дракон. На простом наречии оно называлось Уормингхолл[32], под каковым именем оно и стало известно в королевстве.

С тех пор лик земли изменился и множество королевств успело возникнуть и пасть; леса исчезли, а реки изменили свой ход. Остались лишь холмы, но и их источили дожди и ветра. Но название пережило все. Правда, теперь люди зовут это место попросту «Уормы», поскольку окрестные деревни утратили былую гордость. Но во дни, о которых повествует эта история, то место звалось именно Уормингхолл и в нем помещался королевский трон, а над крышей реяло знамя с изображением дракона. И все шло прекрасно, пока Хвосторуб был на своем месте.

---

[32] Примечания: 32
«Драконий дворец».

Эпилог

Хризофилакс часто просил отпустить его на волю, да и кормить его было накладно, поскольку он продолжал расти — ведь драконы, как и деревья, растут всю свою жизнь. А потому через несколько лет, когда Джайлз почувствовал, что его положение достаточно упрочилось, он позволил несчастному дракону вернуться домой. Они расстались, заверив друг друга во взаимном уважении и заключив пакт о ненападении. В глубине души Хризофилакс чувствовал некое дружеское расположение к Джайлзу — насколько драконы вообще на это способны. Ведь, в конце концов, с Хвосторубом Джайлз вполне мог бы отнять у дракона жизнь и все сокровища без остатка. Ну, а так у него в пещере еще оставались кой-какие безделушки (как это и подозревал Джайлз).

Хризофилакс улетел к себе в горы. Летел он медленно, с трудом, поскольку отяжелел от долгого безделья да к тому же еще успел подрасти. Добравшись домой, Хризофилакс первым делом вышвырнул из пещеры юного дракона, имевшего наглость занять жилище во время отсутствия законного хозяина. Говорят, что шум битвы разносился по всей округе. Потом Хризо-

филакс с чувством глубокого удовлетворения сожрал поверженного противника. После этого уязвленная гордость дракона поутихла. Хризофилакс почувствовал себя гораздо лучше и надолго уснул. Когда же он в конце концов проснулся, то отправился на поиски того большого и глупого великана, который некогда стал первопричиной всех злоключений Хризофилакса. Дракон высказал великану все, что о нем думает, и бедняга ужасно смутился.

— Мушкетон, говоришь? — переспросил он, почесав в затылке. — А я-то думал, что это были слепни!

FINIS

или, на простом наречии,

КОНЕЦ

«Приключения Тома Бомбадила» и другие стихотворения из «Алой книги»

Предисловие

В «Алой книге» содержится множество стихотворений. Несколько вошли в повествование о Низвержении Властелина Колец или в сопутствующие рассказы и летописи; но еще больше обнаруживается на разрозненных листках; а некоторые небрежно набросаны на полях или вписаны там, где осталось свободное место. Эта последняя разновидность — по большей части полузабытые обрывки или рифмованная чепуха, для нас зачастую непонятная, даже когда каракули удается разобрать. Из таких маргиналий взяты стихотворения № 4, № 12 и № 13; однако куда более наглядным примером послужил бы фрагмент, нацарапанный на странице со стихотворением Бильбо «Когда ударят холода»:

Под ветром флюгер-петушок
Чуть не остался без хвоста;
Бедняга дрозд насквозь продрог —
Не смог жука склевать с листа!
Рек флюгер: «Жребий мой непрост!»
«Все суета!» – ответил дрозд,

И оба – в плач: вот маята!

Настоящая подборка составлена из стихотворений более древних, основанных главным образом на ширских легендах и шутках конца Третьей эпохи и сочиненных, по всей видимости, хоббитами — главным образом Бильбо и его друзьями или их прямыми потомками. Однако авторство в текстах указано нечасто. Те, что в повествования не вошли, записаны разным почерком и, вероятно, восходят к устной традиции.

В «Алой книге» говорится, что стихотворение № 5 сочинил Бильбо, а № 7 — Сэм Гэмджи. Стихотворение № 8 помечено инициалами С. Г.; такая атрибуция вполне вероятна. № 11 тоже помечен инициалами С. Г., хотя Сэм разве что немного подправил древний фрагмент шуточного бестиария, по всей видимости, милого сердцу хоббитов. Во «Властелине Колец» утверждается, что стихотворение № 10 — это ширский фольклор.

Стихотворение № 3 — пример еще одного жанра, который хоббиты, вероятно, находили весьма забавным: это так называемые докучные сказки, они возвращаются к началу и повторяются снова и снова, пока слушатели не возмутятся. В «Алой книге» содержится несколько образчиков этого жанра, но все прочие безыскусны и грубоваты, а

вот стихотворение № 3 — одно из самых длинных и затейливых. Его наверняка сочинил Бильбо. Эта вещица явно перекликается с пространной поэмой авторства Бильбо, которую он декламирует в доме Эльронда. По своему происхождению это «поэзия бессмыслицы», но в ривенделльском варианте она преобразуется и используется, пусть и не вполне уместно, для переложения эльфийских и нуменорских легенд об Эарендиле: возможно потому, что Бильбо изобрел такой тип строфы и схему рифмовки и очень ими гордился. Больше нигде в «Алой книге» такая стихотворная форма не встречается. Более старый вариант, приведенный здесь, по-видимому, написан в те времена, когда Бильбо только что вернулся из своего путешествия. Хотя влияние эльфийских преданий, несомненно, просматривается, всерьез они не воспринимаются, а использованные названия (*Деррилин, Теллами, Бельмари, Аэри*) — это просто придумки в эльфийском стиле и на самом деле эльфийскими не являются.

Влияние событий конца Третьей эпохи и расширение горизонтов Шира благодаря общению с Ривенделлом и Гондором заметно и в других стихотворениях. Стихотворение № 6, хотя оно и помещено здесь рядом со стихотворением

Бильбо о Жителе Луны, а также и последнее стихотворение в сборнике (№ 16), по всей видимости, гондорского происхождения. Они со всей очевидностью основаны на преданиях людей, живущих на побережьях и хорошо знакомых с реками, впадающими в море. В № 6 напрямую упоминается *Бельфалас* («ветреный залив Бель») и Береговая башня *Тирит Аэар* в Дол Амроте. В стихотворении № 16 упоминаются Семь Рек[33], которые впадают в Море в Южном королевстве, и используется гондорское имя на языке Высоких эльфов — *Фириэль*[34], смертная женщина. На Прибрежье и в Дол Амроте бытовало много преданий о древних эльфийских поселениях и о гавани в устье Мортонда, откуда «идущие на запад корабли» отплывали еще со времен падения Эрегиона во Вторую эпоху. Так что эти два произведения являются не более чем переложением гондорских легенд, которые, впрочем, могли дойти до Бильбо через Ривенделл. Стихотворение №

---

[33] Примечания: 33

Лефнуи, Мортонд — Кириль — Рингло, Гильрайн — Серни и *Андуин.*

[34] Примечания: 34

Такое имя носила гондорская принцесса, через которую Арагорн вел свое происхождение от Южного королевского рода. Так же звали одну из дочерей Эланор, дочери Сэма, но если ее имя и связано с этим стихотворением, то, скорее всего, из него и заимствовано; оно никак не могло возникнуть в Западном пределе.

14 также основано на эльфийских и нуменорских летописях о героических днях конца Первой эпохи, сохранившихся в Ривенделле; в нем, по всей видимости, слышатся отголоски нуменорского сказания о Турине и гноме Миме.

Стихотворения № 1 и № 2 со всей очевидностью пришли из Бакленда — ведь хоббиты, жившие западнее Мшар, никак не могли располагать таким количеством сведений о тамошних землях и о Пади, лесистой долине реки Ивлинки[35]. Из этих же произведений явствует, что обитатели Бакленда знали Бомбадила[36], хотя, конечно же, так же слабо представляли себе его могущество, как жители Шира — могущество Гандальва; и тот и другой воспринимались как некие благие сущности, может статься, загадочные и непредсказуемые, но тем не менее комичные. Стихотворение № 1 —

---

[35] Примечания: 35

Гриндволл — маленькая пристань на северном берегу Ивлинки, снаружи Городьбы, надежно защищенная и охраняемая решетчатым заграждением или заслоном, уходящим прямо в воду. *Брередон* («Шиповниковый холм») — деревушка на возвышенности за пристанью, на узкой косе между оконечностью Городьбы и Брендивином. У *Мита*, где речка Скирборн, разливаясь, впадала в Брендивин, были сходни; от сходней тропинка уводила к Дипхаллоу и дальше и выходила на Насыпь, а по ней дорога шла через Камышовку и Сток.

[36] Примечания: 36

На самом деле, скорее всего, именно баклендцы и дали ему это имя (оно баклендское по форме) в придачу к его многим более древним именам.

более раннее и составлено из разных вариантов хоббитских легенд о Бомбадиле. Стихотворение № 2 основано на тех же преданиях, хотя здесь Том добродушно подшучивает уже над друзьями, а тем смешно (и немножко страшно); оно, скорее всего, было сочинено гораздо позже, после того как Фродо со спутниками побывали в доме Бомбадила.

Хоббитские стихи, здесь представленные, в целом имеют две общие черты. Они изобилуют мудреными, затейливыми словесами и отличаются прихотливой рифмовкой и прочими метрическими изысками — в простоте своей хоббиты, видимо, весьма ценили и уважали такого рода ухищрения, при том что они, конечно же, просто-напросто имитируют эльфийские образцы. Эти вещицы кажутся легкомысленными и шутливыми — по крайней мере на первый взгляд, — хотя порою возникает неуютное ощущение, что с ними не все так просто. Стихотворение № 15, несомненно, хоббитского авторства, являет собою исключение. Оно самое позднее из всех и относится к Четвертой эпохе, но сюда оно включено, поскольку чья-то рука

нацарапала в самом начале: «*Frodos Dreme*»[37]. Это крайне любопытно; очень маловероятно, что стихотворение написано самим Фродо, но заголовок свидетельствует, что оно связано с темными, исполненными отчаяния снами, которые одолевали Фродо в марте и октябре в течение его последних трех лет пребывания в Шире. Но конечно же, существовали и другие предания о сумасбродных хоббитах, которым «не сиделось на месте», и если они все-таки возвращались из странствий, то впредь слыли необщительными чудаками. Мысль о Море всегда маячила на задворках хоббитского воображения, но в Шире конца Третьей эпохи преобладали страх перед ним и недоверие ко всей эльфийской премудрости — и такой настрой, конечно же, не вовсе развеялся благодаря событиям и переменам, ознаменовавшим завершение эпохи.

---

[37] Примечания: 37
Сон Фродо (*ср.-англ.*). — *Примеч. пер.*

1. Приключения Тома Бомбадила

Старый Том Бомбадил – нрав неугомонный;

Куртка синяя на нем и кушак зеленый,

Башмаки желтей желтка и штаны из кожи,

В шляпе – лебедя перо; словом, парень гожий!

Жил он в доме под Холмом, где река Ивлинка

Бьет ключом из-под земли в травяной лощинке.

Славный Том погожим днем шел лесным овражком:

Бегал с тенью взапуски, собирал ромашки,

Щекотал брюшко шмеля с куцыми усами,

Отдыхал на бережку долгими часами.

Замечтался – борода свесилась пониже;

Златеника, Дочь Реки, подплыла поближе —

Хвать за бороду его! Том скатился в воду,

Забарахтался, чихнул, вынырнул у брода.

– Эй, Том Бомбадил! Вздумалось поплавать? —

Златеника говорит. – Замутил мне заводь,

Всех рыбешек распугал, наступил на лапу

Бедной выдре, утопил собственную шляпу!

– Так подай ее сюда – прояви заботу! —

Молвит Том. – За ней нырять в ил мне неохота!

И ступай себе на дно, в темные глубины

Засыпай спокойным сном меж корней бредины!

В терем матушки родной, в сонные затоны

Златеника уплыла. На траве зеленой

Том под солнышком прилег, глядя на кувшинки,

Шляпу мокрую сушил, желтые ботинки.

Вот проснулся Чернотал, зашумел ветвями,

Песней Тома усыпил, ухватил корнями,

Заглотил, сомкнул дупло – словно дверцы шкапа:

Крак! – попались в западню Том, жилет и шляпа!

– Ха, Том Бомбадил! Это что ж такое?

Спрятался внутри ствола – не даешь покоя!

Ишь, пролез ко мне в нутро – и пером щекочешь!

Сам промок насквозь – глядишь, и меня промочишь!

– Ну-ка, старый Чернотал, отпускай без спора!

Тесновато мне в дупле – тут уснешь нескоро!

Шелести себе листвой, корни увлажняя!

Погружайся снова в сон, словно Дочь Речная!

Чернотал тотчас пустил на свободу Тома,

Заскрипел, зашелестел, запер двери дома,

Зашептал, забормотал. Выйдя из лощинки,

Том опять пустился в путь вдоль реки Ивлинки.

На опушке посидел под зеленой сенью:

Слушал птичий разговор, щебет, свист и пенье.

Мотыльки над ним вились разноцветным роем.

Солнце скрылось. В вышине тучи встали строем.

Славный Том ускорил шаг. Дождь полил ручьями,

Расчертил речную гладь мелкими кругами.

Ветер дунул, отряхнул с мокрых крон водицу.

Старый Том скорей в норе поспешил укрыться.

Вышел старина Барсук, глаз подслеповатый,

Белый лоб и острый зуб, тут же – барсучата;

Бомбадила за жилет ухватили живо,

Потащили в глубь норы, по ходам-извивам.

В тайном логове Барсук фыркнул, рассмеялся:

– Хо, Том Бомбадил! Ты откуда взялся?

Шел через парадный вход – к нам попался в лапы!

Ох, пропали ни за грош Том, жилет и шляпа!

– Вот что, старина Барсук, брось-ка эти шутки!

Мне пора в обратный путь! Не отпустишь? Дудки!

Проводи меня к дверям у корней ма-

лины,

Отряхни пушистый мех от песка и глины

И ложись-ка отдыхай на подстилке с краю,

Засыпай, как Чернотал или Дочь Речная!

– Извиняйте! – Барсуки отвечали хором;

Тома к двери потайной проводили споро,

И запрятались в норе, и хвосты поджали,

Входы-выходы землей дружно забросали.

Дождь прошел и засиял свет. Путем знакомым

Славный Том, смеясь, спешил-возвращался к дому.

Отпер двери, приподнял ставни расписные;

Запорхали над огнем мотыльки ночные.

В чистом небе за окном замерцали звезды,

Вышел месяц молодой, был прозрачен воздух.

Над Холмом сгустилась тьма. Том затеплил свечку.

Брякнул на двери засов, скрипнуло крылечко:

– У-у, Том Бомбадил! Гости на пороге!

Вот и я – не ждал, родной? Подкосились ноги?

Ты про Нежить не забыл, что гнездится в скалах,

В древних склепах под Холмом, в каменных завалах?

Унесу во мрак могил, в холод и забвенье —

Бедный Том истает там, станет бледной тенью!

– Ну-ка прочь! Захлопни дверь – и не возвращайся!

Погаси горящий взгляд, зло не усмехайся!

Убирайся вновь во мрак, в темные глубины,

Засыпай, как Чернотал у речной стремнины,

Как семейство Барсуков, словно Златеника, —

Охраняй забытый клад, боль тоски великой!

И умчалась Нежить прочь – еле ускользнула! —

Через двор, через забор тенью промелькнула,

Завывая, пронеслась между валунами,

Возвратилась в темный склеп, грохоча костями.

На пуховую постель Том прилег устало —

Водной Дочери милей, тише Чернотала,

Безмятежней, чем Барсук или Нежить злая,

Как кузнечный мех, сопел, спал, забот не зная.

Том проснулся поутру, засвистел синицей:

– Трень-брень, скройся, тень, день поет-искрится!

Распахнул окно лучам, сдул с пера пылинки,

Натянул опять жилет, шляпу и ботинки.

Хитрый старый Бомбадил – ловкий да смышленый;

Куртка синяя на нем и кушак зеленый.

Тома в жизни не словить – в роще ли, в низинке,

На нехоженой тропе, у реки Ивлинки,

Или в лодке, на воде, где прозрачны струи.

Там-то Том однажды днем Дочь словил Речную:

Косы распустив, она в камыше зеленом

Пела песнь текучих вод птицам и затонам.

Он поймал ее, надел на руку колечко.

Зашептались тростники, дрогнуло сер-

дечко.

И воскликнул Бомбадил: – Вот моя невеста!

Ждет тебя мой старый дом! На столе нет места:

Сливки, масло, белый хлеб, мед желтее солнца;

Розы ставни оплели и глядят в оконце.

Там и жить нам! Позабудь о речном жилище!

В темной илистой воде милого не сыщешь!

Свадьбу справил славный Том Бомбадил на диво —

Дева в зелень с серебром, как речные ивы,

Нарядилась, а жених укрепил в петлице

Желтых лютиков букет. Том свистел синицей,

Скрипке звонко подпевал, рокотал, как пчелы,

И кружил Речную Дочь в пляске развеселой.

В окнах свет горел всю ночь; спать постлали рано.

Под луною Барсуки вышли на поляну,

Поплясать вокруг Холма; ветки Чернотала

Глухо бились об окно; Мать-Река вздыхала

В тростниках у берегов, в темноте внимая,

Как в пещерах под Холмом стонет Нежить злая.

Славный Том Бомбадил ничего не слышал:

Топот, рокот, стук и пляс, шорохи на крыше.

До рассвета он проспал; встал, запел, сияя:

– Трень-брень, ясный день, милая, родная! —

Загляделся от крыльца, как на зорьке алой

Златеника у окна косу заплетала.

2. Бомбадил катается на лодке

Ветер с Запада подул, гаснут краски лета;

Том поймал упавший лист: осени примета!

«Я поймал счастливый день, ветром брошен с лету.

Стану ль ждать я до весны? Раз пришла охота —

Нынче ж лодку починю да и в путь-дорогу,

Вниз по ивовой реке, по крутым порогам».

Пташка села на сучок. – Цвирк, Том! Вижу-вижу!

Знаю-знаю, путь тебе предстоит неближний!

Я слетаю, упрежу – пусть готовят встречу?

– Цыц, болтушка – съесть тебя за такие речи!

Всем готова разболтать о чужих заботах!

Черноталу раззвонишь – изловлю в два счета,

Насажу на тонкий прут – да изжарю птичку!

Засвистев, порхнула прочь Пеночка-Весничка:

– Ты поймай, сперва поймай! Мне имен не надо!

Я на ушко просвищу – вести будут рады!

«На закате дня, – скажу, – возле Митских Сходней».

Поспеши, поторопись: доплывешь сегодня!

Засмеялся славный Том: – Так тому и сбыться!

Почему бы не туда нынче прокатиться?

Сладил весла, просмолил днище; из залива

Вывел лодочку в проток, где тростник

да ивы.

Вниз по речке Том поплыл, пел: – Ольха-бредина,

Ты неси меня, волна, через мель-глубины!

– Хо! Том Бомбадил! Держишь путь куда ты —

В утлой лодочке своей вниз по перекатам?

– Может статься, доплыву я до Брендивина,

Может быть, друзья зажгут для меня лучину.

За рекой, за Городьбой есть народец малый,

Что под вечер гостю рад. Съезжу к ним, пожалуй.

– Загляни к моей родне – от меня с поклоном.

Расспроси про заводь-пруд, рыбные затоны.

– Жди! – ответил Бомбадил. – Я плыву по свету

Подышать прохладой вод, не носить приветы.

– Ах, так! Ты гляди за своим корытом!

Здесь коряги! В ил нырнешь – вот и будем квиты!

– Зимородок, цыц! Оставь при себе советы!

Улетай себе, глодай рыбные скелеты!

Сколь по-княжьи не рядись, ты, брат, грязный малый!

Хлама-сора полон дом, хоть нагрудник – алый!

Зимородка острый клюв извести не жалко

На хороший флюгер – раз! – и конец рыбалке![38]

---

[38] Примечания: 38

В письме от 1 августа 1962 года к Полин Бэйнс, художнице, иллюстрировавшей «Приключения Тома Бомбадила», Толкин поясняет некоторые подробности, добавленные в стихотворение в качестве «личного развлечения». «Напр., подвешивание зимородка, чтобы определить направление ветра, — заимствование из сэра Т. Брауна; торчащий из груды золота ус выдры — из древнескандинавских легенд о Нибелунгах; и три места сплетен, *кузница, мельница* и *привоз* (рынок) — из одного средневекового поучения, которое мне довелось редактировать!» В книге сэра Томаса Брауна «Расхожие народные суеверия» (III, гл. 10) говорится: «Зимородок, подвешенный за клюв, показывает, куда дует ветер». Касательно остальных отсылок см. ниже. — *Примеч. пер.*

Зимородок клюв закрыл, подмигнул без страха;

Том под веткою проплыл. Фрр-р! – вспорхнула птаха,

Тому синее перо сбросила в подарок.

«Славный приз, – подумал Том, – и красив, и ярок!»

В шляпе укрепил перо он взамен былому:

«Стоек, весел синий цвет – в самый раз для Тома!»

Всплыли пузыри со дна, закружились в пене.

Том веслом прихлопнул – шлеп! – по мелькнувшей тени.

– Бульк! Том Бомбадил! Экая находка!

Стал гребцом? А ну, возьму, опрокину лодку?

– Что ж, Усатый – и верхом прокатиться можем!

Ухвачу за хвост – мороз побежит по коже!

– Вздор, Том Бомбадил! Вот как кликну

бате:

Созывай скорей родню, мать, сестру и зятя!

Том-то спятил: ишь, гребет, словно утка-ржанка,

По Ивлинке – оседлал утлую лоханку!

– Ох, получит чей-то мех Нежить, как поймаю!

Ох, расплющит меж колец![39] Матушка родная

Разве только по усам опознает детку!

Лучше Тома не дразни – с рук сходило редко!

– Плюх! – сказал ондатр, взметнул брызги над волною,

Тома с ног до головы окатил водою,

Лодку раскачал, нырнул, выбрался на сушу,

---

[39] Примечания: 39

Аллюзия на скандинавскую легенду о Нибелунгах. Ср.: «Асы те отдали Хрейдмару клад и туго набили шкуру выдры и поставили ее на ноги: тут должны были асы насыпать золота и прикрыть шкуру снаружи; а когда это было исполнено, подошел Хрейдмар и увидел, что торчит волосок от усов, и приказал прикрыть» («Сага о Волсунгах», пер. Б. Ярхо). — *Примеч. пер.*

И, пока напев не стих, вслед глядел да слушал.

Лебедь с Элвет[40]-островка плыл надменно рядом:

Фыркнул, Тома одарил нелюбезным взглядом.

Рассмеялся Том: – Пера не узнал? Не скрою,

Износилось, старый гусь! Хочешь – дай другое!

Будь учтивей ты в речах – стал бы мне милее.

Ишь, зазнался – сам немой, с вытянутой шеей!

Вот воротится Король, за крыло подвесит

Да пометит желтый клюв: поубавит

[40] Примечания: 40

Elvet (*арх.*) — «лебедь», от др.-англ. *elfetu, ilfetu*. То есть остров Элвет — это буквально «Лебединый остров», а вовсе не «эльфийский», как может показаться по созвучию. — *Примеч. пер.*

спеси![41]

Старый Лебедь зашипел и прибавил ходу.

Том челнок направил вслед, рассекая воду.

К Ивовой запруде Том выплыл. Вниз с откоса

Речка пенилась, катясь к Ивовому плесу;

Словно пробку, закружив, лодку раскачала,

Через мель и валуны вынесла к причалу.

– Глянь-ка! Том-Лесовик, борода баранья! —

---

[41] Примечания: 41

Отсылка к старинной английской традиции «переписи лебедей» (*upping*), которая существует и по сей день. Традиция ведет начало с 1186 года, когда все лебеди Темзы перешли в собственность короны (в настоящее время короне принадлежат лебеди-шипуны только на 130-километровом участке реки Темзы). В прошлом, когда лебеди являлись собственностью богатых семей, на клювах действительно ставили особые знаки. В наши дни перепись, то есть подсчет популяции лебедей и их маркировка, ежегодно проводится в третью неделю июля; торжественно обставленная церемония длится пять дней. В письме от 1 августа 1962 года к Полин Бэйнс Толкин напоминает о том, что лебеди — «традиционно королевская собственность»; лебедь и зимородок (его название изначально означало «королевский рыболов») «ждут возвращения своего законного Повелителя, истинного Короля». — *Примеч. пер.*

В Брередоне и окрест тешились селяне.
—
Наших луков берегись! Радуешься рано!
Не дадим народу чащ, нечисти курганной
Через реку Брендивин в челноках кататься!
– Тьфу, обжоры-толстяки! Полно вам смеяться!
Я-то видел, как в норе хоббит пузо прятал —
Чуть приблизился барсук иль козел рогатый;
Лунный блик, своя же тень – пятитесь пугливо.
Орков напущу на вас – разбежитесь живо!
– Чушь, Том Лесовик! Ишь, горазд хвалиться!
Раз – и в шляпе три стрелы! Кто тебя боится?
Ну, куда пойдешь теперь? Если пива ищешь —
В Брередоне бочек нет столь обширных

днищем!

– Путь мой лег за Брендивин, в Ширскую сторонку,

Да река бурлива тут для моей лодчонки.

Благо тем, кто бы меня перевез на барке —

Им пошлю я светлых дней да закатов ярких!

Вспыхнул алым Брендивин, волны запылали,

Солнце кануло за Шир, потемнели дали.

На причале – никого; тишина над Митом.

– Вот так встреча! – пробурчал Бомбадил сердито.

По дороге Том побрел; все сгущался вечер,

Засветились впереди Камышовки свечи.

– Тпру! – Колеса, тормозя, заскрипели глухо.

Том шагал себе вперед, не ведя и ухом.

– Эй, бродяга! Отвечай, по какому делу

К нам во Мшары завернул? Ишь ты, в шляпе – стрелы!

Дали знать, чтоб не шнырял у чужой ограды?

Ну, иди сюда, иди! Говори, что надо?

Ширский эль, держу пари, хоть мошна – пустая!

Не получишь ни глотка – сразу упреждаю!

– Ну-ну, Грязнолап! Тоже мне приветил!

К Митским Сходням припоздал, обругал, не встретил!

Ишь, разлегся как мешок – толстым да ленивым

Привыкать пора к речам более учтивым!

Ты, ходячая лохань! Голь не строго судит,

А не то б прогнал – и кто в проигрыше будет?

Ладно, Мэггот! Угостишь пивом для

начала!

Даже в сумерках друзей узнавать пристало!

Хохоча, пустились в путь мимо Камышовки —

Хоть в трактире разливал эль трактирщик ловкий.

К дому Мэггота, скрипя, двинулась повозка,

Том то прыгал, то плясал, сотрясая доски.

Над Бамфурлонгом звезда вспыхнула ночная,

В кухне полыхал огонь, гостя привечая.

Вышли к двери сыновья, поклонился каждый;

Кружки вынесла жена – тем, кто мучим жаждой;

Были песни, болтовня, танцы до упаду;

Славный Мэггот хоть и толст, а плясал что надо;

Том в волынку дул – пока кружка наполнялась;

Дочки встали в хоровод, всласть жена смеялась.

Разошлась семья ко сну, кто – в кровать, кто – в сено;

У камина старый Том с Мэгготом степенно

Сели, стали смаковать новости да сплетни

От Курганов до Холмов: о торговле летней,

Про пшеницу и ячмень, жатву и посевы,

Слухи странные из Бри, байки кузнихлева[42],

Что поют ветра, о чем шепчутся осины;

Что за Стражи у Реки, Тени над трясиной.

Старый Мэггот наконец задремал на стуле.

---

[42] Примечания: 42

Ср.: «From mulne ant from chepinge, from smiðde ant from ancre hus me tidinge bringeð» («С мельницы и с рынка, с кузни и из отшельнической хижины доходят слухи».) («Ancrene Wisse», под ред. Дж. Р. Р. Толкина. «Общество по изданию ранних английских текстов», 1962, стр. 48). — *Примеч. пер.*

На рассвете Том исчез: словно сны минули —

Тот – печален, тот – смешон, те – полны угрозы…

Дверь не скрипнула за ним; утренние грозы

Смыли с Митских Сходней след и с дороги выше;

Ни напевов, ни шагов Брередон не слышал.

Подле Гриндволла три дня дожидалась лодка.

В темноте приплыл ондатр, отвязал находку,

Сквозь запруду протащил; хоббиты видали,

Как ондатры лодку вверх по реке погнали.

Лебедь с Элвет-островка выплыл горделиво,

Клювом фалинь подхватил над волной прилива,

За собой повлек челнок; а ондатр плыл рядом,

Мимо ивовых коряг направлял где надо.

Зимородок сел на нос, пеночка – у края;

Веселились, челночок к дому возвращая.

Хвать-похвать, а вёсел – нет! Что еще за шутки?

«Как сому – без плавников, как без крыльев – утке?»

Ох, ольха-бредина-мель! Брошены без толку,

Весла Тома на песке дожидались долго!

3. Призвание

Жил встарь веселый мореход,
Скиталец вод, гонец-герой.
Он сделал золоченый челн —
По воле волн лететь стрелой.
Лежали в трюмах апельсин,
И розмарин, и майоран,
Запас овсянки на обед,
Лаванды цвет, лесной тимьян.

Он кликнул буйные ветра —
Пришла пора, путь вдаль увлек.
Через семнадцать быстрых рек
Направил бег златой челнок.
Причалил он у берегов,
Близ валунов, где пенит вал
Поток шумливый Деррилин
Среди долин и черных скал.
Он шел полями много дней
К Земле Теней, одетой мглой.
Вверх по холму, вниз по холму

Брести ему пришлось порой.

Он задержался отдохнуть,
Забыв про путь, и песнь сложил.
Прелестной бабочкой пленен,
Ей сердце он, любя, вручил.
Но высмеяла та в ответ
Его обет и тайный жар —
Тогда постиг он колдовство,
И ведовство, и тайны чар.

Светлей луча соткал он нить —
Ее словить, и одолжил
Броню надкрылий – у жука,
У королька – перо для крыл.
Набросив паутинку-сеть,
Он улететь ей помешал.
Из лепестков и пряных смол
Он ей возвел роскошный зал.
Он ложе пухом тополей
И мхом с полей устлал как мог;
В шелка, бесплотные, как сны,
В лучи луны ее облек.

Он ожерелья ей дарил,
Но не прельстил ее ничуть.
Она сердилась не шутя —
И он, грустя, продолжил путь.
Ее покинул увядать,
Спеша опять судьбе вдогон;
На крыльях королька чуть свет
Ветрам вослед умчался он.

Он миновал архипелаг,
Где алый мак цветет весь год,
В лучах сверкает водопад,
Скрывает клад волшебный грот.
Он в битвы ратные не раз
Спешил, держась своей стези:
Объехал земли Бельмари,
И Теллами, и Фэнтези.
Он халцедон и хризолит,
Пустил на щит и морион;
Из изумруда сделал меч —
Немало сеч изведал он.
С эльфийским войском Аэри
И Фаэри он принял бой:

Златоволосых рыцарей
Сразиться звал лихой герой.

Он на кольчугу взял хрусталь,
На шлем – не сталь, морской коралл.
Серебряное острие
Он на копье свое вздевал;
Для дротиков брал малахит
И сталактит; исполнен сил,
В сраженье яростном стрекоз
Из Царства Грез он истребил.

Сразившись с Дамблдорами,
Жужжорами и Злой Пчелой,
Он приз – Златой Медовый Сот
По глади вод повез домой.
На корабле из лепестка,
Шатром листка от зноя скрыт,
Он, распевая, начищал,
Полировал доспех и щит.

Он к островку в дали морской
На день-другой решил свернуть;
Лишь заросли цветущих трав

Там отыскав, в обратный путь
Поплыл домой по лону вод,
Медовый Сот припрятав – но
Вдруг вспомнил о призвании,
Посланий, давным-давно
Забытом – в состязаниях,
В скитаниях по воле волн.
Пришлось пускаться в путь опять,
Опять спускать на воду челн.
Так стал он вечным странником,
Посланником, скитальцем вод:
Гоним он ветром по морям,
Часам и дням забыл он счет.

4. Две принцессы

Принцессочка Йа —
Светлее ручья:
Так песни эльфов гласят.
Из крыл мотыльков,
Из сквозных облаков
Соткан ее наряд.
Белей чем снега,
Блестят жемчуга,
Вплетаясь в пряди волос;
И пояс ее —
Златое шитье —
Усыпан брильянтами рос.
Ажурный платок
Ей плечи облек;
Звездой искрился кулон.

Пряталась днем
Под серым плащом
Она, опустив капюшон.
А в звездной ночи,

Одета в лучи,
Сияла как яркий кристалл,
И блеск башмачков
Из чешуек мальков
Ночную тьму разгонял.

В ночи как стекло
Сияла светло
Лесного озера гладь
Под сводом небес;
Туда через лес
Шла она танцевать.
Взлетев над водой
Огнистой звездой,
Зерцала касалась на миг
Плясунья слегка
Носком башмачка —
И вспыхивал лунный блик.

Но, глянув вокруг,
Заметила вдруг,
Взгляд опустив к озерку:
Как Йа, нежна,

Принцесса Онна
С ней танцует носок к носку!

Светла и мила,
Как Йа, весела,
Онна в тишине ночной
Как тень в озерце —
В звездном венце
Кружится вниз головой!
Чарующий вид!
В удивленье глядит
Онна на принцессу – ведь
Фокус непрост —
В океане звезд
Вниз головой висеть!
Есть ли страна,
Где Йа и Онна
Могли бы сойтись наяву?
Тропы не найти,
Не сыскать пути
Ни чарам, ни колдовству!
Так искони
Друг для дружки они

Опрокинувшись в небо, парят.
Недвижна – вода,
Одна, как всегда,
Кружилась, радуя взгляд,
В лучистых шелках,
В златых башмачках,
Привстав на носках,
Йа, легка и стройна:
Привстав на носках,
В златых башмачках,
В лучистых шелках,
Кружилась в танце Онна!

5. Как Житель Луны засиделся допоздна

Стоит трактир, честной трактир
Под горкой у мостка.
Туда-то в полуночный час
Сам Лунный Житель как-то раз
Сошел хлебнуть пивка.

В трактире есть гуляка-кот,
На пятиструнной скрипке
Весь день наяривает он:
Пиликает, меняя тон,
То медленно, то шибко.

Есть у трактирщика щенок,
Любитель доброй шутки.
Чуть кто сострит, чуть гости – в смех,
Пес веселится больше всех
И носом водит чутко.

Еще корова там живет,

Гордячка-щеголиха,
Но стоит заиграть коту,
Ей устоять невмоготу —
Выплясывает лихо!

Там ложкам-вилкам несть числа,
Тарелкам нету счету;
Для праздничных воскресных блюд
Сервиз парадный подают,
Отдраенный в субботу.

А Лунный Житель пил да пил,
Кот подвывал басово,
Лихой сервиз пошел вприскок,
Гонялся за хвостом щенок,
Запрыгала корова.

Гость, захмелев, упал под стол —
Ведь выпито немало! —
И там похрапывал во сне,
А звезды меркли в вышине,
И за окном светало.

Трактирщик говорит коту:
Мол, лунные лошадки

Ржут, рвутся ввысь как ураган,
А их хозяин в стельку пьян —
Однако, непорядки!

Хвать скрипку кот – от этих нот
Пошел бы мертвый в пляс!
Трактирщик Жителя Луны
Трясет за плащ и за штаны:
– Уже четвертый час!

Вкатили гостя по холму;
С холма в порыве рьяном
Раз-два – и зашвырнули ввысь!
Лошадки рысью вслед неслись —
И вилка со стаканом!

Играет скрипка все быстрей —
С рук сбыли забулдыгу!
Корова сделала кульбит,
Лошадки сверзились с копыт,
А гости пляшут джигу!

Субботний разбитной стакан
Сбежал с воскресной вилкой,
Дзынь-звяк! – смычок порвал струну,

Корова – прыг через Луну
С проказливой ухмылкой!
Луна зашла, и Солнце ввысь
Всплыло над лесом дальним;
Очами, полными огня,
Глядит: как так? Средь бела дня
Все разошлись по спальням!

6. Как Житель Луны сошел с вышины

Стар Житель Луны: серебро седины
В его бороде искрит;
Лучистый опал чело осиял,
Жемчугами пояс расшит.
Закутавшись в плащ, лучист и блестящ,
Однажды – верь иль не верь,
Хрустальным ключом он отпер тайком
Слоновой кости дверь.

По нити луча, озорно хохоча,
Вприпрыжку сбежал он вниз:
Свобода, ура! А значит, пора
Исполнить внезапный каприз.
Ведь он разлюбил брильянт и берилл,
Прискучил ему минарет
Из лунных камней, что с предвечных дней
Венчал лунарный хребет.

Старик был бы рад расшить свой наряд
Рубинами там и тут;
Задумал гордец оправить в венец
Сапфир, турмалин, изумруд.
Сидел не у дел он, и грустно глядел
На мир золотой из окна,
И слышал вдали гул и гомон с Земли,
Пока вращалась она.
При полной луне в серебристой стране
Душой он жаждал огня:
Не тусклых тонов – но рдяных костров,
Багряных отблесков дня!
А то селенит так тускло блестит,
Зато ласкает глаза
Пунцовый восход с небесных высот,
Когда налетает гроза.

Моря синевы и зелень листвы
Манили его новизной,
Веселье и смех – забав и потех
Круговорот земной.
Там множество блюд на стол подают:

Горячую снедь и вино;
А вот пирожки из снежной муки
Ему приелись давно.

В мечтах о жарком и о пунше хмельном
Сверкая пятками, он
Промчался, доколь не настал еще Йоль,
Вниз через весь небосклон,
Падучей звездой пролетел над водой
И в пенную рухнул купель;
Сорвавшись с высот, окончил полет
В заливе ветреном Бель.

Воскликнув: «Тону!», пошел он ко дну
И в мыслях простился с Луной,
Но тут его спас рыбацкий баркас
Из хладной пучины морской:
Запутавшись в сеть – снастей посередь
Сверкал Лунный Житель, одет
В мерцанье теней, в переливы огней,
В текучий опаловый свет.

Но ждать не с руки: и в порт рыбаки

Свезли свой богатый улов.

– Ступай в городок, ты до нитки промок,

В трактире сыщи себе кров.

Старцу вдогон колокольный звон

На Башне Береговой

Летел с вышины: гость, мол, прибыл с Луны

В час неурочный такой.

Дым из печек не шел, не сбирали на стол,

Все укрыла знобкая хмарь,

В очагах – лишь зола, вся трава полегла,

Вместо солнца – дымный фонарь.

Во дворах – ни души; в предрассветной тиши

Звонких песен нигде не слыхать;

Сном весь город объят; мирно спят стар и млад,

Покидать не желая кровать.

Стучи ни стучи – не горит ни свечи:

Безлюдно кругом и темно.

Где ж найти кров и стол? Гость к трактиру прибрел

И стукнулся робко в окно.

Кухарь вышел на стук. – Эй, чего тебе, друг? —

Он буркнул угрюмо со сна.

– Мне неси все подряд; мне б старинных баллад

И побольше хмельного вина!

Кухарь фыркает: – Тут сладких вин не нальют!

Но входи, коль сойдемся в цене.

Буду рад серебру и скажу – не совру:

Плащ твой шелковый глянулся мне.

За жемчужный убор отодвину запор,

Серебром ты заплатишь за кров.

Чтоб присесть у огня, осчастливь-ка меня

Горстью-другой жемчугов.

Чтоб попить и поесть, гость отдал все

что есть,

Все то, что доселе берег —

И плащ, и венец, – получив наконец

Вчерашней овсянки горшок.

В попытках согреть холодную снедь,

Он ложку задумчиво грыз.

Бедолаге урок: к йольским пудингам в срок

Спускаться положено вниз!

Знай о том наперед гость-лунатик с высот —

Не спешил бы пускаться в круиз!

7. Каменный тролль

Тролль с давних пор на склоне гор
Глодает кость – напал, вишь, жор! —
Не первый год грызет-жует,
Мосол мусолит мрачно —
Смачно! Жрачно!
Ворчит и ропщет с давних пор
И кость мусолит мрачно.

Скор на подъем, явился Том,
Да как притопнет башмаком:
– Кого едим? Ба, это ж Тим!
Мослак-то преизряден —
Дядин! Скраден!
Тим спал в могиле вечным сном —
Но ты, гляжу, всеяден?

– Друг, – молвил Тролль, – доесть позволь:
Кость спер я – небрезглива голь!
А Тим и так давно мертвяк —
На что ему костяшка?

Ляжка! Няшка!
Пусть сгложет бедный старый тролль
Ненужную голяшку!

А Том в ответ: ты, оглоед,
Прибрал к рукам чужой скелет,
И не спросясь – хруп, чавк да хрясь, —
Жрешь дядины остатки!
Сладко? Гадко!
Расхитчику мы скажем: нет!
Положь назад остатки!

Тролль щерит пасть и к гостю – шасть!
– Я нынче попирую всласть!
Привет, еда! Прошу сюда!
Наемся до отвала!
Сало! Мало!
Ужо я попирую всласть —
Мясца мне перепало!

Тролль хвать-похвать, а Том – бежать:
Отпрыгнул да зашел позадь,
Не будь дурак, занес башмак,

И пнул в сердцах проглота —
С лёту! То-то!
Обидчику несдобровать —
Том знатно пнул проглота!

Но твердоват троллиный зад:
Не вел и ухом старый гад!
Кремня прочней его филей —
Ногой, в башмак обутой,
Пнуто! Круто!
Но не помят троллиный зад
Ногой, в башмак обутой!

Бедняга Том остался хром,
А заду тролля – нипочем!
Тролль бодр и здрав; мосол дожрав,
Ворчит в своем жилище:
– Пищу! Хищу!
Пинки троллюге нипочем —
Он кость скостил с кладбища!

8. Перри-Прудовик

Сидел на камне старый Тролль
И скорбно напевал:
– Доколе мне скучать, доколь
Среди пустынных скал?
Увы, ушла моя родня
Навеки – хнычь не хнычь!
Увы! Все бросили меня —
Сижу один как сыч!

Не живоглот я и не вор,
И пива я не пью;
Но все ворота – на запор,
Чуть подойду к жилью!
Пускай мой облик и кремнист,
Нет от меня вреда!
Улыбчив я, и сердцем чист,
И повар хоть куда!

Слезами не избыть беду!
Мне нужен верный друг!

Пойду-ка Шир я обойду
Повсюду и вокруг! —
Простясь с горой, ночной порой
Тролль вышел в дальний путь,
Дошел до Делвинга с зарей
И сел передохнуть.

Глядь – миссис Бэнс идет навстречь
С корзинкой и с зонтом.
Наш тролль повел учтиво речь,
Раскланявшись притом:
– Мэм, с добрым утром! Всех вам благ!
Денек, ей-ей, неплох! —
Старушка завизжала так,
Что бедный тролль оглох.

Шел мимо мэр, почтенный Потт;
Заслышав жуткий крик,
Он задрожал, втянул живот
И резво в нору – шмыг!
Смутился Тролль: хорош прием!
– Останьтесь! – стал он звать.
Но миссис Бэнс, вбежавши в дом,

Забилась под кровать.

Тролль – на базар: а там – сыр-бор,
Шум, гам и кавардак!
Взбесились овцы, куры – в ор,
Заголосил гусак.
Метнул ножище Билл-мясник,
Облился пивом Хогг,
А пес его по кличке Клык
Пустился наутек.

Сел близ Узилищ Тролль – и сник,
И слез сдержать не смог.
Подкрался Перри-Прудовик
И ткнул беднягу в бок.
– Эй, здоровяк, чего ревешь?
Снаружи – не внутри! —
И подмигнул: – Ну всё, хорош!
Давай-ка не хандри!

– Ты, Перри, славный паренек!
Айда на чай ко мне? —
Воскликнул тролль: – Тебя вприскок
Домчу я на спине! —

Тот троллю на закорки – прыг! —
И крикнул: – Ноо! Вперед!
В тот вечер Перри-Прудовик
Битком набил живот!

Оладьи, гренки, сдоба, джем —
От яств ломился стол.
Причмокнул Перри: – Эх, поем! —
И все до крошки смёл.
Покуда чайник не остыл
И от золы шел жар,
За чашкой чашку Перри пил,
Раздувшись словно шар.

Наелись досыта друзья;
Тролль, выдохнув едва,
Сказал: «Тебе открою я
Секреты мастерства —
Как хлеб и сытник выпекать,
И торты – корж к коржу! —
И на пуховую кровать
Спать гостя уложу.

– Эй, Перри, где ты пропадал?

Где был ты целый день? —
– В гостях я сытники едал —
Вот это вкуснотень!
– Где ж кормят лакомством таким?
Поспеть бы к дележу!
Скажи, дружок! – А Перри им:
– А вот и не скажу!

– Я знаю, где! – встрял Ушлый Том. —
Клянусь, я видел сам:
На тролле ехал он верхом
К Окраинным холмам! —
И вот селяне всей толпой
В телегах и пешком
Спешат в холмы крутой тропой
И видят троллий дом.

И все кричат наперебой:
– О добрый, добрый Тролль!
Спеки нам сытничек-другой,
Спеки, спеки, изволь!
– Кыш, расходитесь по домам! —
Тролль рявкнул: – Скройтесь с глаз!

Я стряпаю по четвергам
И звал сюда не вас!

Я привечать вас не готов:
Дом тесен мой и мал!
Нет ни лепешек, ни блинов,
Ведь Перри все умял!
Том, миссис Бэнс, и Потт, и Хогг,
Болтать мне недосуг!
Вас не пущу я на порог!
Мне Перри – лучший друг!

Стал Перри тучен и пузат —
Так троллья снедь сытна!
Штаны на нем по швам трещат,
И курточка тесна.
Съедает он по четвергам
Немало вкусных блюд,
И кажется, хозяин сам
С ним рядом – лилипут.

От Бри до моря знаменит
Стал Перри-хлебопек:
Все славят кекс его, бисквит,

Печенье и пирог.
Да только все они не в счет —
Куда там пирогам
До сытников, что Тролль печет
Ему по четвергам!

9. Мьюлипы

Дом мьюлипов, их тайный лаз —
Во тьме черней чернил.
Под тихий звон все глубже вас
Засасывает ил.

Поглотит ил того, кто смог
Дойти до их дверей,
Где пасть ощерил водосток
И морось все мокрей;

Где ивы клонятся к волне
У затхлого ручья
И мрачно каркают во сне
Оравы воронья.

За Мерлокские горы дорога пролегла:
В расселинах, где средь камней лежит сырая мгла,
Вблизи бездонных омутов, у неподвижных вод,
Где нет ни солнца, ни луны, род мьюлипов живет.

В подвалах мьюлипов темно
И тускло тлеет трут.
Среди теней они давно
Счет золоту ведут.

В их доме – сырость, мрак и прель
И льется с потолка.
На ощупь тянется сквозь щель
Дрожащая рука.

Пойдет кругами сонный пруд,
И заскрипит замок,
И ваши кости соберут
Заботливо в мешок.

За Мерлокские горы, по лабиринтам троп,
Сквозь сети паутинные, сквозь темноту чащоб,
Сквозь Тодово болото, где зыбунов не счесть,
Ступайте в гости к мьюлипам – им тоже надо есть!

10. Олифант

Серый как мышь,
Рост – выше крыш,
Нос – как змея,
Гулко топаю я.
Иду – мнется трава,
Трещат дерева.
В пасти – рога-дуги;
Живу я на Юге.
Вислые уши;
Издревле по суше
Я хожу-брожу,
На земле не лежу.
Толстокожий гигант,
Я зовусь – Олифант.
Стар, могуч, тяжел —
Всех зверей превзошел.
Те, кто меня встречали, —
Забудут едва ли.
Кто не видел, тот

Небылицей сочтет.
Но я – Олифант,
Бессмертный гигант.

11. Фаститокалон

Взгляни – вот Фаститокалон.
Ты думаешь, что остров – ОН,
Вот только гол немного…
Сюда! Расстаньтесь с кораблем!
Походим, спляшем, отдохнем…
Ждут чайки у порога…
Тревога!
Пучина чайкам нипочем.
Они сидят себе рядком…
Зачем? Чтоб знак подать тайком,
Чуть с трапа спустит ногу
И слепо устремится
На мирный этот островок
Тот, кто устал и кто продрог, —
Возможно – вскипятить чаек,
Возможно – поселиться…

Эх, глупый, глупый мореход,
Что на НЕГО ступить рискнет
И костерок свой разожжет,

Надеясь выпить чаю!
Броня ЕГО тверда, как щит;
ОН притворяется, что спит,
ЕГО волна морская
Покачивает зыбко…
Едва заслышав топот ног,
Едва почуяв огонек,
С улыбкой,
Перевернувшись на живот,
ОН в воду простофиль стряхнет —
Бултых! —
И, не успев сказать «тону»,
Несчастные пойдут ко дну —
Как жалко их!
Чудовищ тьма средь бездн морских,
Но ОН – опаснее других,
Коварный Фаститокалон,
Рожденный на заре времен,
Последний из внушавших страх
Гигантских Рыбочерепах.
Тому, кто гибнуть не готов
Во цвете лет,

Вот мой совет:
Верь присказкам морских волков,
Не приставай у островков,
Каких на карте нет!
Или еще умней:
Счастливый Средиземский край
Не покидай
До окончанья дней!

12. Кот

Вот кот спит без забот,
Мечта кота —
Лишь мышь или чиж?
Мечта – да не та!
В снах, всем на страх,
Взъярен и непокорен,
Рыщет сквозь чащи, пище
Вдогон и он.
Собрат его, яр, поджар,
Лют до живых блюд:
Жрет охотно и скот,
И местный люд.

Лев разевает зев:
Готов напасть.
Схватит вмиг: острый клык,
Алчная пасть.
Войдя в азарт, леопард
За дичью мчит;
С рыком – прыг! – и настиг:

Обед добыт
В чаще лесной под луной.
Все они – далеки,
Вольны и дерзки,
А кот – ест с руки.
Но кот, что спит без забот, —
Пузат, полосат, —
Он помнит – и ждет…

13. Невеста-тень

Жил некто средь лесных полян,
Забыв про ход времен.
Недвижен, словно истукан,
Он тени был лишен.
На голове его сычи
Устроили помост
И перья чистили в ночи
В лучах июньских звезд.

Вот, в серый шелк облачена,
С цветами на челе,
Явилась госпожа: она
Мерцала в полумгле.
Очнулся он; свершился рок.
Отринув забытье,
Он госпожу к груди привлек,
Присвоил тень ее.

Под солнцем и луной с тех пор
Не слышали о ней —

Она живет в глубинах гор
Где нет ночей и дней.
Но разверзается гора
Раз в год: воспряв от сна,
Они танцуют до утра,
И тень у них – одна.

14. Клад

Боги, вступившие в мир на заре,
Пели о золоте и серебре:
Золотом сбрызнули воды земли,
Отблеск серебряный в травах зажгли.
Прежде, чем пропасть разверзлась в скале,
Прежде, чем гном пробудился во мгле,
Эльфы слагали заклятия слов:
Песни звенели средь рощ и холмов,
На наковальнях ковали творцы
Для королей дорогие венцы.
Смолкли напевы; безжалостный рок
К гибели мир первозданный увлек.
Злобная алчность, завистливый взгляд
В темные склепы упрятали клад —
Блеск серебра и узор золотой.
Тьма растеклась над эльфийской землей.

Старый и злобный, жил гном под хол-

мом:
Жаден до злата, богат серебром.
Молот звенел о металл без конца,
Долго трудился он в поте лица —
Кольца ковал и монет без числа:
Власть королевская гнома влекла.
Зренье и слух подводили порой,
Высохший череп сиял желтизной,
Светлые камни сквозь пальцы текли
И бесполезно терялись в пыли.
Гном не услышал, как дрогнул портал:
Юный дракон в подземелье вползал.
Воды вскипели, пал облаком прах,
Пламя шипело на скользких камнях,
В огненном смерче, прорезавшем мглу,
Гномий скелет обратился в золу.

Старый дракон под порталами скал,
Веки смежив, отрешенно дремал:
Радость померкла и юность прошла,
Сила и бодрость сгорели дотла.
Долгие годы он клад сторожил,
В сердце угас необузданный пыл.

Знал до полушки свое он добро:
Золото нюхал, лизал серебро,
Черным крылом укрывал их от глаз.
К брюху прилипли берилл и алмаз.
Вора грозил он в зубах размолоть:
Злобно мечтал, как пожрет его плоть,
Кости сглодает, кровь выпьет из жил;
Уши прижал, затаился, застыл.
Звякнул доспех – но дракон не слыхал.
Голос раздался под сводами скал:
Юный воитель в сиянии лат
Звал его биться за спрятанный клад.
Не помогли ни броня и ни клык —
Меч паладина дракона настиг.

Старый король с бородою седой
Скипетр сжимал одряхлевшей рукой.
Песням не рад, ни еде, ни питью,
Думал он вечную думу свою —
О сундуке под надежным замком, —
Злато и камни упрятал он в нем,
В тайном подвале, во мраке земли;
Сталь и решетки тот клад стерегли.

Доблестных танов ржавели мечи,
Славы былого померкли лучи,
В залах заброшенных ветер гулял —
Только о злате король помышлял.
Он не услышал, как пели рога:
Хлынула кровь под мечами врага,
Пламя взвилось над руинами плит,
Был властелин на пороге убит.

Старый, забытый, таинственный клад
Скрыт под скалой, под охраною врат —
Доступ к воротам не всякому дан.
Пышной травой зарастает курган,
Бродят стада и поет соловей,
Веет над соснами ветер с морей;
Кладу таиться во мраке – пока
Спят в мире эльфы и длятся века.

15. Колокол моря

Вдоль прибрежной гряды я бродил у воды;
Вижу: блещет ракушка, хрупка и бела,
Звездный отблеск со дна; я нагнулся – она,
Словно колокол моря, мне в руку легла.
И дано было мне ощутить в глубине
Нарастающий гул, шорох волн о песок,
Колыханье буев и томительный зов
Из-за дальнего моря – неясен, далек.

И завидел тут я, что пустая ладья
По теченью скользит в угасании дня.
– Срок последний истек! Поспешим! Путь далек! —
Я вскочил и воскликнул: – Возьмите меня!

Уносясь по волне в зачарованном сне,
В светлой россыпи брызг, в хороводе теней,

Я скользил в полумгле к позабытой земле,

К сумеречному брегу за гладью морей.

День и ночь напролет гулкий колокол вод

Все звонил и звонил, и ревели валы.

Там, где путь преградив, зло ощерился риф,

Я на сушу ступил у лазурной скалы.

Брег сиял белизной, над искристой волной

Серебрился мерцающий звездный узор.

Глыбой бледных камней в бликах лунных лучей

Поднимались вдали очертания гор.

Удержать я не мог между пальцев песок:

Жемчуга, без числа драгоценных камней;

Аметист и опал, гроздь соцветий – коралл,

Перламутр в переливах зеленых огней.

А под сводами скал сонный мрак на-

висал,

Полог листьев морских занавешивал ночь.

Ледяные ветра мне шепнули: «Пора!»

Свет померк – торопясь, устремился я прочь.

Средь корней, меж теней серебрился ручей,

И вкусил я воды, приносящей покой.

Вверх по руслу ручья в путь отправился я:

Вечный вечер царил над волшебной страной.

Средь лугов и полян всколыхнулся туман,

И раскрылись цветы, словно звезды земли.

Свив зеленую прядь, на озерную гладь,

Словно светлые луны, кувшинки легли.

В водах сонной реки отражались пески,

Плач слагала ольха, ивы никли к волне.

Камыши, как мечи, охраняли ключи,

Копья ирис взметнул, укрепившись на

дне.

Дивной музыки звук разносился вокруг;

Много живности разной встречалось порой:

Кролик, белый как снег, не замедлил свой бег,

Мотыльков огнеглазых блистающий рой

Взмыл как россыпь огней; грелась мышь у корней,

Барсуки с любопытством глядели из нор.

Средь долин, меж дерев лился тихий напев,

Длился призрачный танец, причудлив и скор;

Но, завидев меня, все бежали, храня

Свой секрет; тишина воцарялась кругом.

Ни привета, ни слов; лишь видением снов —

Голоса, и свирель, и труба за холмом.

Из речных тростников, из нимфейных

листов

Я скроил себе плащ зеленей лебеды;

Сжал державу рукой, поднял флаг золотой,

И глаза мои вспыхнули светом звезды.

Так, чело увенчав, я стоял среди трав,

И звончей петуха во предутренней мгле

Дерзко крикнул: – Зачем мир безмолвен и нем?

Отчего нет ответа мне в этой земле?

Да узнают окрест: я – король этих мест,

С камышовым мечом, а жезлом мне – тростник.

Так придите на зов! Всех приветить готов!

Говорите со мною! Явите свой лик!

Тьма легла над землей, словно саван ночной;

Пробираясь, как крот, я побрел сквозь туман —

Поворачивал вспять, возвращался

опять;

Я ослеп, я оглох, и согнулся мой стан.

Я укрылся в лесу: лист дрожал на весу

И валился на мох; ветви были мертвы.

Там закончился путь, я присел отдохнуть.

Совы ухали в дуплах во мраке листвы.

Год и день по часам быть мне выпало там:

Перегнившие сучья точили жуки,

Можжевельник густой нависал над травой,

Бесконечные сети плели пауки.

Срок раздумий иссяк, свет явил мне свой знак;

Я гляжу: поседела моя голова.

– Стар и сломлен – я рад возвратиться назад.

Где мой путь, что со мной – понимаю едва.

Отпустите! – и вот поспешил я вперед;

Тень скользила за мной как летучая мышь.

Иссушающий шквал налетал, оглушал,

Не спасал ни терновник, ни чахлый камыш.

Гнуло плечи сильней бремя прожитых дней,

Руки ранил я в кровь, с ног валился без сил.

Вдруг заслышал я гул, запах моря вдохнул,

Привкус соли на влажных губах ощутил.

С криком жалобным ввысь стаи птиц поднялись,

Я во мраке пещер голоса услыхал.

Струи били со дна, клокотала волна,

Лай тюленей сливался со скрежетом скал.

И настала зима, и надвинулась тьма;

Я до края земли, спотыкаясь, добрел.

Снег кружил в облаках, лед сверкал в волосах,

Мгла окутала берег, и дюны, и мол.

Там, у моря, моя дожидалась ладья,

И качал ее мерно прибрежный прибой.

И лежал я без сил, и меня уносил

По бурлящим волнам легкий ветер морской:

Мимо брошенных свай, мимо чаячьих стай,

Мимо груженных светом больших кораблей.

Впереди ожидал неподвижный причал —

Молчаливый как снег; черной сажи темней.

Город спал до утра; бесновались ветра,

За окном – ни души. Я присел на порог.

Мелкий дождь моросил, сор потоками плыл,

И отбросил я прочь что доселе берег:

Горсть златого песка, что сжимала рука,

И морскую ракушку, что смолкла навек.

Никогда уже вновь не услышать мне зов,

Никогда не ступить на сверкающий брег —

Никогда, никогда. Я бреду сквозь года

По глухим переулкам, где серая тень.

Вдаль с тоскою смотрю, сам с собой говорю,

Но ответа мне нет и по нынешний день.

16. Последний корабль

Проснулась рано Фириэль —
Часы пробили три.
То здесь, то там звенела трель
Птиц – вестников зари.
Пропел петух; блеснул восток,
Из смутной темноты
Дохнул прохладой ветерок,
Пошевелил листы.
Свет за окном яснел и рос
Сверкающей волной:
Зажег огнями россыпь рос,
Мерцал в листве сквозной.
Скользнула дева за порог,
Смеясь, сбежала в сад
И пробежала через лог
Куда глаза глядят.

Сверкнула заводи купель,
Зашелестел тростник.
У старой ивы Фириэль

Помедлила на миг.
Там зимородок голубой
Бросался камнем вниз,
Камыш зеленою стеной
Над ряскою навис.

И, над водою замерев,
Где лилии цвели,
Она услышала напев
В мерцающей дали.
Звук арф и флейт певучий тон,
И мелодичный зов —
Как колокольный перезвон,
Как голоса ветров.

Вслед лебедям, по воле волн,
Вдоль берегов крутых
Плыл гордый белоснежный челн
На веслах золотых.
То были эльфы, Дивный Род,
В серебряных плащах;
В коронах трое: взгляд их горд
И мудрость в их чертах.

Звучал напев под рокот струн,
Под вёсел мерный плеск:
– Трель птиц звонка, мир свеж и юн,
И зелен летний лес.
Еще не раз позолотит
Заря отрог горы,
И не один цветок сокрыт
В бутоне до поры.

– Куда ж спешите вы, гребцы,
По воле волн речных?
Прочь, в потаенные дворцы,
Под своды чащ лесных?
На Север – к дальним островам,
Где скалы да гранит,
Где чайки плачут в лад волнам —
Куда ваш путь лежит?

Они в ответ: – О нет, не так!
Наш белый челн ведом
От серых гаваней – сквозь мрак,
Назад, в Эльфийский дом.
Там Древо Белое цветет,

Там пеной брег одет,
Там серебрит поверхность вод
Звезды искристый свет.

Прощай, земля теней и снов,
Навек о нас забудь!
Звон башенных колоколов
Зовет нас в дальний путь.
Здесь блекнут травы, вянет лист,
Тускнеет свет луны.
Мы слышим зов, певуч и чист,
Мы прочь спешить должны.

Плеск весел смолк. Лишь голос пел
Под мерный шум ручья:
– Нас мало, мало, Фириэль,
И не полна ладья.
Для столь прекрасной, для одной
Мы место отвели.
Иди же к нам! Твой срок земной
Не вечен, Дочь Земли!

Несмело сделав шаг к реке,
Замешкалась она —

Увязла в глинистом песке,
Застыла, смущена.
И белоснежная ладья
Растаяла вдали.
Вслед донеслось: – Не вправе я!
Ведь я – дитя Земли.

Роса на платье не сверкнет,
Обратный путь далек:
Домой, назад, под темный свод,
Через поля и лог.
Надела фартук Фириэль
И косу заплела;
День за работой пролетел,
И вновь сгустилась мгла.

Над Семиречьем чередой
Текут за годом год;
Как встарь, склонились над водой
Ракиты и осот.
Жжет солнце, тают облака,
Но белые челны
На запад не несет река,

И песни – не слышны.

Кузнец из Большого Вуттона

Случилось это все не так уж давно и не так уж далеко — это вам скажет всякий, у кого хорошая память и длинные ноги. Было на белом свете одно селение под названием Большой Вуттон. Он звался Большим, потому что был больше Малого Вуттона, который располагался в нескольких милях от Большого, посреди густого леса. Впрочем, Большой Вуттон тоже был не слишком велик, однако процветал. Жили в нем самые разные люди — и хорошие, и плохие, и так, серединка на половинку. В общем, как и повсюду.

Это было замечательное селение, и оно славилось по всей округе своими искусными ремесленниками. Но более всего знамениты были повара Большого Вуттона. В селении стояла специальная большая Кухня, принадлежавшая Совету селения, а Мастер Повар был очень важной особой. Дом Мастера Повара и Кухня примыкали к Большому Залу — самому большому, самому старому и самому красивому зданию во всем селении. Оно было построено из прочного камня и дуба, и за ним тщательно ухаживали, хотя теперь Зал уже

не был ярко раскрашен и вызолочен, как в былые времена. Жители селения сходились в Зал, чтобы посидеть вместе и поговорить обо всем на свете. А еще в Зале проводились общие празднества и семейные торжества. Так что Мастер Повар был не только очень важной, но еще и очень занятой особой — ведь ему приходилось готовить достойное угощение к любому празднику. Праздников в году было много, а угощение считалось достойным, если оно было обильным и разнообразным.

Но одного праздника жители Большого Вуттона всегда ждали с особенным нетерпением, потому что это был единственный зимний праздник. Он длился целую неделю, а в последний день этой недели на закате устраивалось особое торжество, которое называлось Пир Хороших Детей. Приглашали на этот пир далеко не всякого. Конечно, не всегда на пир попадали именно те, кто больше всего заслуживал приглашения, а кое-кого, кто приглашения не заслужил, звали по ошибке; так уж оно бывает, как бы устроители ни старались. Но тут еще многое зависело от того, кому когда повезло родиться, потому что Пир Хороших Детей устраивался только раз в двадцать четыре года, и приглашенных на нем всегда бывало двадцать четыре, не больше и не меньше. Поэтому иногда

его так и называли — Праздник Двадцати Четырех. По такому случаю всегда ожидалось, что Мастер Повар превзойдет сам себя и помимо всяких вкусных вещей, которые обычно готовятся к другим праздникам, испечет Большой Пирог. Именно по тому, как удавался этот пирог — а может, и не удавался, всякое ведь бывает, — и запоминали его имя: праздник бывал так редко, что мало какому Мастеру Повару доводилось печь Большой Пирог дважды.

Однако как-то раз случилось такое, чего на памяти жителей селения никогда еще не бывало. Очередной Мастер Повар, ко всеобщему удивлению, неожиданно объявил, что ему требуется отдых, и ушел неизвестно куда. Вернулся он несколько месяцев спустя, совсем другим человеком. Мастер Повар был добродушен и любил смотреть, как веселятся другие, но сам он всегда оставался серьезен и молчалив. Теперь же он сделался весельчаком, часто шутил и смешил окружающих. Еще он повадился петь на праздниках шуточные песни — вот уж чего от Мастера Повара никто не ожидал! А кроме того, он привел с собой Ученика, и это изумило все селение.

Нет, в том, что Мастер Повар взял себе ученика, ничего удивительного не было. Так делалось

всегда. В должный срок Мастер выбирал какого-нибудь мальчишку и передавал ему свои знания. Постепенно ученик выполнял все более сложную работу, а когда Мастер Повар удалялся на покой или умирал, ученик занимал его место. Но дело в том, что этот Мастер все никак не мог выбрать себе ученика. Он всегда говорил что-нибудь вроде «Еще успеется» или «Да я пока все приглядываюсь; вот как увижу того, кто мне подойдет, так уж я его не пропущу». Но теперь Мастер Повар привел с собой обычного мальчишку и к тому же чужака. Этот мальчишка был проворнее и подвижнее своих сверстников из Большого Вуттона и отличался необыкновенной вежливостью, но был чересчур молод для серьезной работы — на вид ему было чуть больше двенадцати. Впрочем, выбор ученика всегда зависел исключительно от Мастера Повара. Никто не имел права в это вмешиваться. Так что мальчишка поселился в доме Мастера Повара и оставался там до тех пор, пока не стал достаточно взрослым, чтобы найти собственное жилье. Вскоре жители селения привыкли к мальчишке, и у него появилось несколько друзей. Эти друзья и Мастер Повар звали его Альвом, но для всех остальных он был просто Ученик.

Следующее удивительное событие произошло три года спустя. В одно прекрасное весеннее утро Мастер Повар снял свой высокий колпак, аккуратно сложил белоснежные фартуки, повесил на крючок белую куртку, прихватил крепкий ясеневый посох и небольшую сумку и ушел. Он попрощался лишь с Учеником — никого больше при этом не было.

— Ну, до встречи, Альв, — сказал Мастер Повар. — Управляйся с делами сам, как можешь — а можешь ты неплохо. Думаю, все будет в полном порядке. Надеюсь, если мы еще когда-нибудь встретимся, ты мне расскажешь, как тут все обернулось. Передай всем, что я снова отправился отдыхать, но на этот раз уже не вернусь.

Когда Ученик передал слова Мастера Повара жителям селения, которые пришли в Кухню, эта новость повергла Большой Вуттон в смятение.

— Ну кто же так делает! — восклицали жители. — Никого не предупредил, ни с кем не попрощался! Что же мы будем теперь делать без Мастера Повара? Он же не оставил себе замены!

Среди жарких споров никому и в голову не пришло сделать Мастером Поваром юного Ученика. Альв немного подрос за это время, но все еще выглядел сущим мальчишкой, да и проучился он

всего три года.

В конце концов за неимением лучшего жители Большого Вуттона поставили Мастером Поваром одного человека, местного уроженца, который довольно неплохо умел готовить всякие несложные кушанья. В молодости этот человек часто помогал Мастеру Повару при подготовке празднеств, но Мастеру он не глянулся, и тот так и не захотел взять его в ученики. Теперь это был почтенный человек, отец семейства, весьма солидный и бережливый.

— Во всяком случае, уж он-то не сбежит без предупреждения! — говорили жители селения. — А неважная стряпня все же лучше, чем никакой. До следующего Большого Пирога еще семь лет. К тому времени он наверняка сумеет справиться с этим делом.

Нокс — так звали этого человека — был очень доволен таким поворотом событий. Он всегда стремился стать Мастером Поваром и ни капли не сомневался, что сможет управиться с этими обязанностями. Теперь Нокс, оставаясь в Кухне один, надевал время от времени высокий белый колпак и любовался на свое отражение в начищенной до блеска сковородке. При этом он приговаривал:

— Как поживаете, Мастер? Этот колпак прямо как на вас сшит! Надеюсь, при вас дела пойдут как надо.

Дела и вправду шли неплохо. Сперва Нокс старался изо всех сил. К тому же у него ведь был помощник — Ученик. На самом деле Нокс многому научился, исподтишка наблюдая за Альвом, но сам бы он в этом никогда не признался. Но вот подошло время Праздника Двадцати Четырех, и Нокс задумался: как же ему приготовить Большой Пирог? Втайне он очень беспокоился. Хотя за семь лет Нокс научился печь вполне подходящие для обычных случаев торты и пирожные, он знал, что Большой Пирог всегда ждут с особенным нетерпением и что он должен удовлетворить даже самых взыскательных знатоков, а не только детей. Многие взрослые приходили помогать готовить праздник, и их полагалось угостить пирогом, испеченным по тому же рецепту, только размером поменьше. Кроме того, было принято, чтобы каждый Большой Пирог был новым и необыкновенным, а не просто повторял предыдущий.

Нокс свято верил, что пирог должен быть прежде всего очень сладким и сытным. И решил, что для этого пирог следует целиком покрыть са-

харной глазурью — тем более что Ученику она прекрасно удавалась. «Так пирог выйдет красивый и такой весь из себя сказочный», — подумал Нокс. По его представлениям, именно это больше всего любили дети: сладости и сказки. Сам Нокс из сказок уже вырос — так он считал, — а вот к сладостям по-прежнему был неравнодушен.

— Ага! Сказки! — воскликнул Нокс. — Вот и идея!

Ему пришло в голову посадить в центр пирога, на вершину, куколку в белом наряде, дать ей в руку маленький жезл с блестящей звездочкой на конце и написать вокруг розовым кремом «КОРОЛЕВА ФЕЙ».

Но когда Нокс принялся подбирать необходимые продукты, то обнаружил, что очень смутно представляет, что же именно следует класть внутрь Большого Пирога. Нокс покопался в старых поваренных книгах, которые остались от его предшественников, и был неприятно удивлен. Рецепты были записаны от руки и не всегда разборчиво. О некоторых ингредиентах Нокс просто никогда не слышал, а о других забыл, и теперь искать их было уже некогда. Впрочем, Нокс подумал, что можно попробовать использовать кое-какие пряности, которые упоминались в кни-

гах. Он поскреб в затылке и припомнил, что его предшественник держал пряности и приправы, предназначенные для особых пирогов, в старинной черной коробке со множеством отделений. За семь лет коробка ни разу не попадалась ему на глаза, но, поискав, Нокс обнаружил ее на верхней полке кладовки.

Он снял коробку с полки и сдул с нее пыль, но когда Нокс поднял крышку, оказалось, что пряностей в коробке осталось очень мало, да и те засохли и подернулись плесенью. Но в одном отделении он обнаружил небольшую звезду, размером с мелкую монетку. Цветом звезда напоминала потускневшее от времени серебро.

— Экая забавная штучка! — воскликнул Нокс и поднес находку поближе к свету.

— Ничего забавного тут нет! — раздался голос у него за спиной. Нокс даже подпрыгнул от неожиданности. Это был голос Ученика, но никогда прежде он не разговаривал с Мастером таким тоном. На самом деле он вообще редко разговаривал с Ноксом, если только тот сам не обращался к нему. С точки зрения Нокса, именно так и надлежало себя вести молодому человеку. Кроме того, Нокс считал, что глазурь, конечно, мальчишка делает ловко, а вот всему остальному

ему еще стоит поучиться.

— Что ты имеешь в виду, парень? — недовольно спросил Нокс. — Ты хочешь сказать, что эта штучка не забавная? А какая же она тогда?

— Она волшебная, — ответил Ученик. — Она из Волшебной Страны.

Повар расхохотался.

— Ладно, ладно! — сказал он. — На самом деле это одно и то же, но если тебе так хочется, зови ее волшебной. Подрастешь — поумнеешь. А пока что можешь повынимать косточки из изюма. Если среди них вдруг часом найдется волшебная — покажешь мне.

— Мастер, что вы собираетесь делать с этой звездой? — настойчиво спросил Ученик.

— Положу ее в Пирог, что ж еще? — ответил Повар. — Там ей самое место, особенно если она волшебная. — Произнеся последнее слово, Нокс хихикнул. — Я думаю, ты и сам не так уж давно бывал на детских праздниках и должен знать, что в пирог частенько запекают монетки и всякие мелкие безделушки, какие под руку подвернутся. Во всяком случае, у нас в Большом Вуттоне так делается. Это забавляет детей.

— Но это не безделушка, Мастер, это волшебная звезда! — возразил Ученик.

— Да, да, это я уже слышал, — огрызнулся Повар. — Хорошо, я скажу об этом детям, пускай посмеются.

— Я не думаю, Мастер, что они станут смеяться, — заметил Ученик. — Но вы хорошо придумали. Это правильно.

— Ты как разговариваешь с Мастером?! — возмутился Нокс.

И вот настал момент, когда Пирог был испечен и покрыт глазурью — причем б*о*льшую часть работы сделал Ученик.

— Раз уж ты так хорошо разбираешься в волшебстве, я позволю тебе сделать Королеву Фей, — сказал ему Нокс.

— Хорошо, Мастер, — отозвался Ученик. — Я ее сделаю, если вам некогда. Но это вы придумали, а не я.

— Потому что думать — это моя обязанность, а не твоя, — сказал Нокс.

Во время праздника Пирог водрузили на середину длинного стола, а вокруг зажгли двадцать четыре красные свечи. Посреди Пирога поднималась маленькая белая гора, на склонах которой росли деревца. Деревца блестели, точно покрытые инеем. На вершине горы на одной ножке, словно застыв в танце, стояла крохотная белая

фигурка, и малюсенький жезл в ее руке искрился в сиянии свечей.

Дети смотрели на Пирог во все глаза. Один-два малыша даже захлопали в ладоши и закричали:

— Какая прелесть! Он прямо как волшебный!

При этих словах Повар просиял, но по лицу ученика промелькнула тень досады. Они оба присутствовали на празднике: Мастеру полагалось самому разрезать Пирог, когда придет время, а ученик должен был наточить нож и подать его Повару.

Наконец Повар взял нож и шагнул к столу.

— Надо вам сказать, дорогие мои, — объявил он, — что под этой прекрасной глазурью скрывается много вкусного. Но кроме того, в пироге прячутся всякие маленькие безделушки, монетки и всякое такое — на удачу. Всего их в Пироге двадцать четыре, так что должно хватить всем, если только игрушечная Королева играет честно. Но на это не слишком-то полагайтесь — наша малютка весьма себе на уме. Вот хоть господина Ученика спросите.

Но Ученик в этот момент отвернулся от Мастера Повара и внимательно разглядывал лица детей.

— Ах да! Чуть не забыл! — спохватился Повар. — На самом деле сегодня в Пироге не двадцать

четыре сюрприза, а двадцать пять. Там есть еще маленькая серебряная звездочка. Она волшебная — ну, во всяком случае, так утверждает господин Ученик. Так что будьте осторожны! Если вдруг кто-то сломает о нее зубик, волшебная звездочка его не починит. Но все равно тому, кому она достанется, очень повезет.

Это был хороший Пирог, и никто не нашел в нем ни одного изъяна, — вот разве что маловат он был. Когда Пирог нарезали, каждый малыш получил по большому куску, но после этого ничего уже не осталось, так что добавки не давали. Вскоре дети расправились со своими порциями, и все сюрпризы нашлись. Кому-то достался один, кому-то два, а кому-то и ни одного. Неизвестно, приложила ли к этому руку куколка с жезлом, но удача распределилась именно так. Но вот уже от Пирога не осталось ни крошки, а волшебная звездочка так никому и не попалась.

— Вот так так! — воскликнул Повар. — Видать, звезда-то была вовсе не из серебра! Наверное, она просто растаяла. А может, господин Ученик сказал правду и звездочка и вправду была волшебной? Значит, она просто исчезла и перенеслась обратно в Волшебную Страну. Не очень-то честно с ее стороны, — и Нокс с ухмылкой посмотрел на

Ученика. Ученик взглянул на него в ответ, но в его темных глазах не было улыбки.

Но звезда действительно была волшебная — в таких вещах Ученик не ошибался. А произошло с ней вот что: один мальчик проглотил ее, даже не заметив. Зато он нашел в своем куске серебряную монетку и отдал ее Нелли, маленькой девочке, которая сидела рядом с ним: Нелли не досталось никакого сюрприза, и из-за этого она так расстроилась, что мальчику захотелось ее утешить. Он иногда думал: «А что же на самом деле сталось со звездочкой?» И даже не догадывался, что она осталась с ним. Звезда притаилась в каком-то месте, где мальчик не мог ее почувствовать, — так уж ей полагалось, — и осталась там надолго, дожидаясь своего дня.

Праздник состоялся в середине зимы, а теперь настал июнь с его короткими ночами. Мальчик проснулся еще до рассвета. Ему не спалось: в этот день ему исполнялось десять лет. Мальчик выглянул из окна, и ему показалось, что весь мир застыл в безмолвном ожидании. Легкий ветерок, прохладный и благоуханный, шуршал в листве просыпающихся деревьев. А затем пришел рассвет, и мальчик услышал, как вдали запели птицы, приветствуя солнце. По мере того как заря

разгоралась, песня звучала все ближе и ближе и в конце концов нахлынула на мальчика, заполнив собою все пространство вокруг дома. А потом, когда из-за горизонта выглянул солнечный диск, эта песня волною унеслась на запад.

— Это похоже на Волшебную Страну, — сказал себе мальчик. — Только в Волшебной Стране люди тоже поют.

И он запел высоким и чистым голосом, и с губ его полились непонятные слова — мальчик словно бы знал их наизусть. И едва мальчик запел, звезда вылетела у него изо рта. Мальчик поймал звезду, и теперь она, сверкая ярким серебром в солнечном свете, трепетала у него на ладони, точно собираясь взлететь. Не задумываясь над тем, что он делает, мальчик хлопнул себя по лбу. И звезда пристала ко лбу да так там и осталась на много лет.

Мало кто из жителей Большого Вуттона обращал внимание на эту звезду, хотя если приглядеться, ее можно было заметить. Но звезда стала частью лица мальчика и обычно не светилась. Но зато теперь мягкий свет лился из глаз мальчика, а голос его с каждым годом становился все прекраснее. Люди любили слушать, как он разговаривает, даже если он всего-навсего здоровался с ними.

Мальчик прославился своим искусством не только среди жителей Большого Вуттона, но и по всей округе. Его отец был кузнецом. Мальчик пошел по его стопам и превзошел отца в кузнечном ремесле. Пока его отец был жив, мальчика называли сыном кузнеца, а потом стали звать просто Кузнецом. Ибо к тому времени он стал лучшим кузнецом от Восточного Предела до Западного Леса. Он мог выковать из железа все что угодно. Конечно, чаще всего он делал простые и полезные вещи для повседневных нужд: плуги и плотницкие инструменты, кухонные ножи, котелки и сковородки, засовы, щеколды и дверные петли, крюки для очагов и каминные решетки, подковы и множество всего другого. Прочные и надежные, они подолгу служили своим хозяевам, но, кроме того, их отличало своеобразное изящество. Их приятно было брать в руки, и на них приятно было смотреть.

А в свободное время Кузнец часто делал что-нибудь для собственного удовольствия. И эти вещи были прекрасны. Железо в его руках могло преобразиться в легкую и нежную цветущую ветвь, но сохранить при этом суровую силу железа или даже стать еще крепче. Мало кто мог пройти мимо сделанных Кузнецом ворот или оконных

решеток, не остановившись полюбоваться на них, и никто не мог пройти через эти ворота, пока они были заперты. Работая над такими вещами, Кузнец пел, и тогда все соседи бросали свои дела и приходили к кузне послушать его пение.

Вот и все, что о нем знали. Хотя на самом деле и это было немало — куда больше, чем добилось большинство жителей селения — и даже искусные мастера, что трудились не покладая рук. Но было еще и кое-что другое. Но о чем соседи не подозревали — так это о том, что Кузнец познакомился с Волшебной Страной и некоторые ее области изучил настолько хорошо, насколько это вообще доступно смертному. За прошедшие годы слишком многие жители селения сделались похожи на Нокса, и потому Кузнец мало с кем разговаривал о своих путешествиях, кроме жены и детей. Женой его стала Нелли, та самая девочка, которой он когда-то отдал серебряную монетку. А детей у Кузнеца было двое: дочка Нэн и сын Нед. Он все равно бы не смог держать эти путешествия в тайне от своей семьи — ведь родные видели, как ярко сияет звезда у него во лбу после долгих вечерних прогулок или по возвращении из странствия.

Время от времени Кузнец покидал селение

— когда пешком, когда верхом. Считалось, что он путешествует по делам. Иногда так оно и бывало, но отнюдь не всегда. Во всяком случае, по большей части уходил он вовсе не за тем, чтобы раздобыть новые заказы или закупить чугун в чушках, древесный уголь и другие припасы, хотя о таких вещах Кузнец тоже заботился и знал, как честным путем превратить пенни в двухпенсовик. Но в Волшебную Страну он шел совсем не за этим. Кузнец был там желанным гостем. Звезда ярко сияла у него во лбу, и он был в безопасности, насколько смертный может чувствовать себя в безопасности в этой полной опасностей стране. Малое Зло бежало пред светом звезды, а от Большого Зла он был храним.

Кузнец был благодарен той силе, что хранила его, ибо вскоре сделался достаточно мудрым, чтобы понять: в Волшебной Стране таится немало опасностей и со многими злыми тварями не справиться без оружия, каким смертному владеть не под силу. Он же хотел учиться и познавать, но не стремился стать воителем. Хотя со временем он смог бы сковать оружие, которое в его собственном мире вошло бы в легенды и считалось достойным королей, Кузнец знал, что в Волшебной Стране оно мало чего стоило бы. И потому

среди сделанных им вещей не было ни одного меча, копья или наконечника стрелы.

Сперва, попадая в Волшебную Страну, Кузнец лишь гулял по лесам, лугам и чудным долинам, среди малого народца и других мирных созданий, стараясь оставаться незаметным, или бродил по берегам прозрачных озер, в которых по ночам мерцали неведомые звезды, а на рассвете отражались сияющие вершины далеких гор. Иногда, приходя ненадолго, он проводил все время, разглядывая какое-нибудь дерево или цветок. Но позже, когда он осмелился на более длительные путешествия, Кузнецу довелось повидать немало прекрасного и устрашающего. Он никогда потом не мог ни вспомнить этого толком, ни описать своим друзьям, но Кузнец знал, что все увиденное навеки поселилось где-то в глубине его души. Но кое-что не изгладилось из его памяти, и Кузнец часто вспоминал эти чудеса и тайны.

Когда Кузнец только начинал бродить по Волшебной Стране, один, без провожатого, он думал, что доберется до самых отдаленных ее пределов. Но путь ему преградили высокие горы, а когда Кузнец попытался обойти их, то в конце концов очутился на пустынном берегу. Он стоял у Моря Безветренной Бури, где синие волны, подобные

одетым снегом холмам, безмолвно катят из Бессветья к побережью, неся с собой белые корабли. Те корабли возвращаются из сражений у Темных Границ, о которых людям не известно ничего. Он увидел, как волна вынесла на берег огромный корабль, а потом беззвучно схлынула, унося с собой клочья белой пены. Эльфийские мореходы были высоки и грозны: со сверкающими мечами, блестящими копьями, с пронизывающим светом в глазах. Неожиданно они запели победную песнь, и сердце Кузнеца затрепетало от страха. Он упал ничком, а моряки прошли мимо него и скрылись среди холмов, что эхом отзывались на их песню.

Впоследствии Кузнец никогда больше не ходил на этот берег. Он счел, что находится в островном королевстве, со всех сторон осаждаемом Морем, и его помыслы обратились к горам: теперь Кузнец желал добраться до сердца этого королевства. Однажды во время странствий он попал в густой туман и долго блуждал, сбившись с пути, до тех пор, пока туман не развеялся и Кузнец не обнаружил, что очутился на просторной равнине. Посреди этой равнины возвышался большой, одетый сумраком холм, а над этим сумраком, словно башня превыше прочих башен, возносилось в небо Королевское Древо, и свет его был подобен

свету полуденного солнца. Древо усыпали бесчисленные листья, цветы и плоды, и среди них не нашлось бы двух одинаковых.

Кузнец никогда больше не видел Королевского Древа, хотя часто искал его. Во время одного такого путешествия он поднялся по склонам Окружных Гор и попал в глубокую долину. На дне ее лежало озеро, и ветерок, играющий листвой деревьев, не оставлял ни малейшей ряби на озерной глади. Казалось, что долина заполнена красноватым светом заходящего солнца, но свет этот исходил из озера. Кузнец заглянул в озеро с нависавшего над ним невысокого утеса, и ему показалось, что он видит неизмеримые глубины. Он узрел там языки пламени, которые ветвились, и извивались, и подрагивали, подобно гигантским водорослям на морском дне, а между ними сновали существа, созданные из огня. Охваченный изумлением, Кузнец спустился к воде и потрогал ее носком сапога. Но то оказалась не вода: это вещество было прочнее камня и более скользким, чем стекло. Кузнец ступил на него и тут же упал. Отзвук падения со звоном прокатился по озеру и эхом отразился от склонов.

И тут легкий ветерок в одно мгновение перерос в Ураган. Ураган взревел словно огромный зверь,

обрушился на Кузнеца, вышвырнул его на берег и поволок по горному склону, как опавший лист. Кузнец как-то сумел ухватиться за ствол молодой березы и вцепился в него. Ураган яростно сражался с Кузнецом, стараясь оторвать его и унести прочь, но береза склонилась под порывами ветра до самой земли и укрыла Кузнеца своими ветвями. Когда Ураган наконец умчался прочь, Кузнец поднялся на ноги и увидел, что березка стоит нагая. С нее были сорваны все листья, и теперь она плакала, и слезы падали с ее ветвей словно капли дождя. Кузнец прикоснулся к белоснежной коре и сказал:

— Спасибо тебе, береза! Как мне тебя отблагодарить? Чем я могу помочь тебе?

И рука его, лежащая на стволе, почувствовала, как дерево отвечает:

— Ничем. Уходи прочь! Ураган охотится за тобой. Ты не принадлежишь этим краям. Уходи и никогда не возвращайся!

И выбираясь из долины, Кузнец чувствовал, как слезы березы стекают по его лицу и горчат на губах. На протяжении всего долгого пути сердце его было полно печали, и после этого Кузнец некоторое время не приходил в Волшебную Страну. Но он не мог навсегда отказаться от нее, и когда

он вернулся, неутоленное стремление повело его в глубь страны.

Наконец Кузнец нашел дорогу через Окружные Горы и шел по ней, пока не добрался до Внутренних Гор, а Горы те были высоки, отвесны и устрашающи. Но все же он отыскал проход и в один прекрасный день, осмелев, прошел через узкое ущелье и заглянул в лежащую за ним долину. Кузнец не знал, что нашел Долину Вечного Утра, красота которой настолько же превосходит красу окраинных лугов Волшебной Страны, насколько они превосходят наши цветущие по весне луга. Воздух здесь был таким прозрачным, что можно было разглядеть красные язычки птиц, певших в кронах деревьев на противоположном склоне, хотя Долина была очень широкой, а птички не превосходили размером крапивника.

Пологие склоны Долины полнились журчанием водопадов. Охваченный восхищением, Кузнец поспешил вниз. Ступив на траву Долины, услышал вдалеке эльфийское пение. Он прошел над речной заводью с белоснежными лилиями и вышел на лужайку, где танцевало множество дев. Зачарованный их стремительным, изящным и изменчивым танцем, Кузнец шагнул к хороводу. Но тут хоровод внезапно остановился, и навстре-

чу Кузнецу вышла юная дева с распущенными волосами, в струящемся платье. Она со смехом произнесла:

— Не слишком ли ты осмелел, Звездноликий? Ты не боишься, что Королева может разгневаться, узнав об этом? Или ты явился сюда с ее дозволения?

Кузнец смутился. Он и вправду думал, что звезда у него во лбу дает ему право ходить повсюду, где он захочет. Но теперь Кузнец понял, что это не так. И еще он понял, что девушка прочла его мысли. Но она лишь улыбнулась и произнесла:

— Пойдем! Раз уж ты здесь, ты будешь танцевать со мной.

И она взяла Кузнеца за руку и ввела в круг.

Они танцевали вместе, и в эти мгновения Кузнец ощущал в себе ту стремительность, силу и радость, что переполняли ее. Но вскоре — так показалось Кузнецу — танец окончился. Девушка сорвала белый цветок, что рос у нее под ногами, и вдела Кузнецу в волосы.

— А теперь прощай! — сказала она. — Может быть, когда-нибудь мы встретимся снова, если будет на то воля Королевы.

Кузнец не помнил, как вернулся домой. Просто в какой-то момент он обнаружил, что едет верхом

по дороге неподалеку от Большого Вуттона. Несколько местных жителей уставились на Кузнеца в изумлении и провожали его взглядом до тех пор, пока он не скрылся из виду. Кузнец подъехал к дому; на крыльцо выбежала дочка и бросилась отцу на шею. Кузнец вернулся раньше, чем ожидали домашние, но те, кого ждут с нетерпением, никогда не приходят слишком рано.

— Папа! — воскликнула дочка. — Где ты был? Твоя звезда светится так ярко!

Когда Кузнец переступил порог, звезда снова потускнела. Но Нелли взяла мужа за руку, подвела к камину и взглянула ему в лицо.

— Дорогой, — спросила она, — где ты побывал и что ты увидел? У тебя в волосах цветок…

Нелли осторожно достала цветок из волос, и он лег ей на ладонь. Цветок был так близко и все же казался далеким. Сгустились сумерки, и в темноте стало заметно, что цветок светится, да так ярко, что в его свете предметы начали отбрасывать тени. Нелли показалось, что тень ее мужа выросла до потолка.

— Папа, ты похож на великана! — сказал их сын, который до этого момента не проронил ни слова.

Цветок этот так и не завял и не потускнел, и

семья Кузнеца хранила его в тайне, как великое сокровище. Кузнец сделал для него маленькую шкатулку с замочком, и она передавалась среди его потомков из поколения в поколение. Иногда наследники Кузнеца открывали шкатулку и любовались Живым Цветком до тех пор, пока крышка не захлопывалась, и никто не мог заранее сказать, когда именно она закроется.

Шли годы. Во время того Пира Детей, когда Кузнец получил звезду, ему еще не было десяти лет. Затем миновал следующий Праздник Двадцати Четырех — к этому времени Альв стал Мастером Поваром и выбрал себе нового ученика, Харпера. Двенадцать лет спустя Кузнец принес из Волшебной Страны Живой Цветок. И вот приблизилась зима, и с ней — очередной Праздник Хороших Детей. В один из дней этого года Кузнец бродил по окраинным лесам Волшебной Страны. Стояла осень. Золотые листья покрывали ветви деревьев, а алые устилали землю. За спиной у Кузнеца послышались чьи-то шаги, но Кузнец не обернулся да и вообще не обратил на них внимания — так глубоко он погрузился в свои мысли.

На этот раз он явился в Волшебную Страну по приглашению и проделал долгий путь. Кузнецу казалось, что так далеко он не забирался еще

никогда. Его направляли и охраняли, но Кузнец плохо помнил пути, которыми прошел. Часто глаза ему застил туман или сумрак. И так длилось до тех пор, пока он не поднялся на вершину, над которой раскинулось ночное небо с бесчисленными звездами. Там Кузнец предстал перед самой Королевой. Она не носила короны и не восседала на троне. Королева стояла на холме во всем своем величии и великолепии, и ее окружало огромное воинство. Доспехи стражей искрились и сверкали словно звезды. Но Королева была выше самых высоких копий, а чело ее было увенчано белым пламенем. Королева знаком приказала Кузнецу приблизиться, и он, дрожа, шагнул ей навстречу. Разнесся высокий чистый голос трубы, и вот! — Королева и Кузнец остались одни.

Кузнец не опустился на колени. Он был растерян и испуган и чувствовал себя столь ничтожным пред Королевой, что ему казалось, будто любые знаки почтения будут недостаточны. Наконец Кузнец осмелился поднять глаза и взглянуть в склонившееся над ним серьезное лицо Королевы. И тут, к собственному изумлению и беспокойству, Кузнец узнал ее: это была та самая прекрасная девушка из Зеленой Долины, танцовщица, под ногами которой распускались

цветы. Видя, что Кузнец вспомнил ее, Королева улыбнулась и шагнула ему навстречу. Они долго разговаривали — по большей части без слов, — и Кузнец многое постиг из мыслей Королевы, и узнанное наполняло его то радостью, то печалью. Затем перед внутренним взором Кузнеца предстала вся его жизнь, от нынешнего момента и до того самого Праздника Хороших Детей, на котором ему досталась звезда. Неожиданно ему вспомнилась маленькая танцующая куколка с жезлом в руке, и Кузнец, устыдившись, опустил глаза пред красой Королевы.

Но Королева снова рассмеялась — точно так же, как смеялась там, в Долине Вечного Утра.

— Не смущайся так из-за меня, Звездноликий, — сказала она. — Не стоит так сильно стыдиться собственного народа. Пусть хотя бы куколка напоминает о Волшебной Стране. Для кого-то это — лишь мимолетный проблеск, а для кого-то — пробуждение. С того самого дня в твоем сердце жило желание увидеть меня, и ныне твоя мечта исполнилась. Но больше я ничего не могу тебе дать. И теперь, когда пришла пора расстаться, я избираю тебя своим посланцем. Если встретишь Короля, передай ему: «Время настало. Пусть он выбирает».

— Но, Владычица, — запинаясь от волнения, проговорил Кузнец, — где же мне найти Короля?

Он много раз задавал этот вопрос жителям Волшебной Страны и всегда слышал в ответ одно и то же: «Он не сказал нам».

— Если он не открыл тебе этого, Звездноликий, — промолвила Королева, — тогда и я не вправе. Но он много странствует, и его можно встретить в самых неожиданных местах. А теперь преклони колени.

Кузнец опустился на колени, а Королева приблизилась и возложила руку ему на голову. И великий покой снизошел на него. Кузнецу казалось, что он в одно и то же время пребывает и в Большом Мире, и в Волшебной Стране и смотрит на них откуда-то извне, так что он испытывал одновременно и чувство утраты, и радость обладания, и умиротворение. Через некоторое время недвижность схлынула, и Кузнец поднялся на ноги. Близился рассвет, и звезды поблекли, а Королева исчезла. Кузнец услышал лишь, как где-то вдали, в горах, эхом разнеслась песня трубы. Вершина, на которой он стоял, была безмолвна и пуста. И Кузнец знал, что на этот раз его путь ведет к утрате.

Теперь вершина, где состоялась встреча, оста-

лась далеко позади. Кузнец брел по опавшим листьям, обдумывая все, что он увидел и узнал. Шаги приблизились. Неожиданно кто-то окликнул его:

— Не по пути ли нам, Звездноликий?

Кузнец очнулся, поднял голову и увидел человека. Неизвестный был высок ростом и шагал легко и быстро; он был одет в темно-зеленое, а лицо его скрывал опущенный капюшон. Кузнец был озадачен. До сих пор лишь жители Волшебной Страны называли его Звездноликим, но он не припоминал, чтобы когда-либо прежде видел здесь этого человека. И все же Кузнецу казалось, что они вроде бы встречались.

— Это зависит от того, куда ты направляешься, — откликнулся Кузнец.

— Я возвращаюсь в твое селение, — промолвил неизвестный. — Надеюсь, ты идешь туда же?

— Я и вправду иду туда, — признал Кузнец. — Что ж, пойдем вместе. Но мне только что пришла в голову одна мысль. Еще до того, как я пустился в обратный путь, Владычица велела мне передать одно послание. Но мы скоро уже покинем пределы Волшебной Страны, и я сомневаюсь, что мне доведется когда-либо сюда вернуться. А тебе?

— Я вернусь. Можешь передать послание со

мной.

— Но это послание для самого Короля. Ты знаешь, где его найти?

— Знаю. Что было в послании?

— Госпожа лишь велела мне передать: «Время настало. Пусть он выбирает».

— Я понял. Можешь больше не беспокоиться об этом.

Они шагали бок о бок, не нарушая тишины, лишь листья шуршали у них под ногами. Но через несколько миль, когда они еще не вышли за пределы Волшебной Страны, незнакомец остановился. Он повернулся к Кузнецу и сбросил капюшон. И тут Кузнец узнал его. Это был Ученик Альв — про себя Кузнец по-прежнему звал его Учеником. Ему часто вспоминался тот день, когда юный Альв стоял в Зале, держа сверкающий нож для разрезания Пирога, и глаза его сияли в свете свечей. Теперь Альв уже должен был состариться — ведь он много лет пробыл Мастером Поваром. Но здесь, на опушке Окраинного Леса, он выглядел все тем же Учеником, только более зрелым: в волосах его не блестела седина, а на лице не было ни единой морщины. Глаза же его сияли, словно отражая свет.

— Я хотел бы поговорить с тобой, Кузнец, сын

Кузнеца, прежде чем мы вернемся в твою страну, — сказал он.

Кузнец удивился. Ему самому частенько хотелось побеседовать с Альвом, но так как-то ни разу и не довелось. Альв всегда приветливо здоровался с Кузнецом и вроде бы хорошо к нему относился, но, казалось, избегал разговора один на один. Он и сейчас смотрел на Кузнеца дружелюбно. Но теперь Альв поднял руку и указательным пальцем прикоснулся к звезде на челе у Кузнеца. Сияние глаз Альва померкло, и Кузнец понял, что в них, должно быть, отражался свет звезды, которая теперь угасла. И он отшатнулся, удивленно и сердито.

— А не кажется ли тебе, Мастер Кузнец, — спросил Альв, — что тебе пора передать эту звезду кому-то другому?

— А тебе-то что до этого, Мастер Повар? — вопросом на вопрос ответил Кузнец. — И почему это я должен ее отдавать? Разве она не моя? Она сама пришла ко мне. Разве человек не может оставить себе вещь, которая попала к нему таким образом, — хотя бы на память?

— Кое-что — может. То, что дается в подарок, на память. Но не все. Некоторые вещи не могут вечно принадлежать одному человеку или пе-

редаваться по наследству. Они даются лишь на время. Возможно, ты не думал, что эта звезда может понадобиться кому-то другому. Но это так. И время пришло.

Кузнец встревожился. Он был великодушным человеком и теперь с благодарностью вспомнил все, что дала ему звезда.

— Что же мне делать? — спросил он. — Должен ли я передать эту звезду кому-нибудь из владык Волшебной Страны? Или, может, самому Королю?

Когда Кузнец произнес эти слова, в сердце у него вспыхнула надежда, что, может быть, благодаря этому поручению ему удастся еще раз побывать в Волшебной Стране.

— Ты можешь отдать ее мне, — сказал Альв. — Но, возможно, это покажется тебе слишком трудным. Может, ты согласишься пройти со мной в мою кладовку и положить звезду в ту самую коробку, куда ее когда-то спрятал твой дедушка?

— Я не знал об этом… — произнес Кузнец.

— Об этом не знал никто, кроме меня, потому что лишь я один присутствовал при этом.

— Тогда, наверное, ты должен знать, как эта звезда попала к моему дедушке и почему он спрятал ее в коробку?

— Он принес ее из Волшебной Страны, — сказал Альв. — Но это ты знаешь и сам. А оставил он ее в надежде, что эта звезда достанется тебе, его единственному внуку. Он сказал мне об этом, поскольку думал, что я смогу это устроить. Он приходился отцом твоей матушке. Я не знаю, много ли она рассказывала тебе о нем. Да и много ли ей было известно? Его звали Райдером, и он был великим путешественником. Он многое повидал и многое успел, прежде чем осел на одном месте и сделался Мастером Поваром. Но он ушел, когда тебе было всего лишь два года, а жители селения не придумали ничего лучше, как поставить на его место Нокса, это ничтожество. Но, впрочем, как мы и рассчитывали, в свое время Мастером стал я. В этом году мне снова предстоит испечь Большой Пирог. Насколько мне припоминается, я буду единственным Мастером Поваром, который испечет его дважды. И я хочу положить звезду в этот Пирог.

— Ну что ж, ты ее получишь, — отозвался Кузнец и посмотрел на Альва, словно пытаясь прочесть его мысли. — А тебе известно, кто ее найдет?

— А что тебе до этого, Мастер Кузнец?

— Если ты это знаешь, то хотел бы знать и я,

Мастер Повар. Возможно, тогда мне было бы легче расстаться с этой дорогой для меня вещью. А сын моей дочери еще слишком мал.

— Может, легче, а может, и нет. Там видно будет, — ответил Альв.

Весь остаток пути они проделали молча и, миновав границу Волшебной Страны, добрались наконец до Большого Вуттона. Там они сразу направились в Большой Зал. Солнце садилось, и в окна лился красноватый свет заката. Высокая резная дверь сверкала позолотой, а с водосточных желобов под крышей смотрели причудливые, ярко раскрашенные рожицы. Не так давно Зал заново покрасили и вызолотили, и в Совете селения было множество споров по этому поводу. Кое-кто ворчал и говорил, что Зал «размалевали», но более сведущие понимали, что Зал всего лишь снова сделали таким, каким он был в старину. Впрочем, поскольку это не стоило Совету ни единого пенни — должно быть, Мастер Повар заплатил за все из своего кармана, — они позволили Альву поступать как он сам знает. Но Кузнец еще не видел обновленного Зала при таком освещении, и теперь он стоял и любовался, забыв, зачем пришел.

Потом Кузнец почувствовал, как кто-то прикос-

нулся к его руке, и Альв подвел его к маленькой дверце в дальней стене. Он открыл эту дверцу и по темному коридору провел Кузнеца в кладовку. Там Альв зажег высокую свечу, открыл буфет и снял с полки черную коробку. Теперь она была заново отполирована и украшена серебряными завитушками.

Альв поднял крышку и показал коробку Кузнецу. Одно маленькое отделение оставалось пустым, прочие же были теперь заполнены пряностями, свежими и жгучими, и глаза Кузнеца тут же увлажнились. Он приложил руку ко лбу, и звезда легко отделилась и с готовностью легла ему на ладонь. Но внезапно Кузнеца пронзила острая боль, и по лицу его потекли слезы. Хотя лежащая на его ладони звезда снова ярко засияла, Кузнец не мог разглядеть ее — видел лишь размытое, словно бы отдаленное пятно света.

— Я что-то плохо вижу, — сказал Кузнец. — Придется тебе положить ее вместо меня.

Он протянул руку. Альв взял звезду и положил ее на место. Сразу же стало темно.

Кузнец повернулся, не промолвив ни слова, и побрел к двери. Добравшись до порога, он обнаружил, что зрение понемногу возвращается к нему. Спустились сумерки, и на сияющем небосводе,

рядом с Луной, ярко горела Вечерняя звезда. На мгновение Кузнец застыл, любуясь их красотой, потом почувствовал на своем плече чью-то руку и обернулся.

— Ты отдал мне звезду по доброй воле, — сказал Альв. — Если ты все еще хочешь знать, кому она достанется, я скажу тебе.

— Да, хочу.

— Она достанется тому ребенку, на которого ты укажешь.

Эти слова застали Кузнеца врасплох, и ответил он не сразу.

— Ну… — нерешительно произнес он наконец. — Не знаю, что ты подумаешь о моем выборе… Полагаю, у тебя мало причин любить семейство Ноксов, но я бы выбрал его правнука, Тима, из тех Ноксов, которые живут в Таунсенде. Он как раз приглашен на праздник. Ноксы из Таунсенда — они совсем другие.

— Я заметил это, — согласился Альв. — У мальчика мудрая мать.

— Да, сестра моей Нелли. Но я люблю маленького Тима не только потому, что он мой родственник. Хотя я бы не смог объяснить, почему выбрал именно его.

— С тобою было то же самое, — улыбнулся

Альв. — Но я согласен. На самом деле я и сам выбрал Тима.

— Тогда почему ты спрашивал о моем выборе?

— Так хотела Королева. Если бы ты выбрал другого малыша, я уступил бы тебе.

Кузнец пристально посмотрел на Альва. Потом вдруг низко поклонился.

— Наконец-то я все понял, государь, — сказал он. — Вы оказали нам огромную честь.

— И вознагражден сполна, — ответил Альв. — А теперь ступай с миром.

Когда Кузнец добрался до своего дома, что находился на западной окраине селения, то увидел своего сына на пороге кузни. Он только что запер кузню, завершив дневную работу, и теперь стоял, глядя на белую дорогу, по которой его отец обычно возвращался из странствий. Заслышав знакомые шаги, сын удивленно обернулся и увидел, что отец подходит со стороны селения. Нед бросился навстречу отцу и с любовью обнял его.

— Я ждал тебя еще со вчерашнего дня, папа, — сказал он. Потом Нед взглянул в лицо отцу и встревоженно воскликнул: — Какой у тебя усталый вид! Должно быть, ты проделал долгий путь?

— Да, сынок, очень долгий. От Восхода до За-

ката.

Они вместе вошли в дом. Там было темно, если не считать огня, пляшущего в очаге. Нед зажег свечи, и некоторое время они молча сидели у камина. Кузнецом овладели усталость и чувство тяжелой утраты. В конце концов он огляделся по сторонам, словно приходя в себя, и спросил:

— А почему мы одни?

Сын недоуменно посмотрел на него.

— Как почему? Мама сейчас в Малом Вуттоне, у Нэн. Ее парнишке исполняется два года. Они надеялись, что ты тоже там будешь.

— Ах да… Я должен был туда попасть. Я и хотел, Нед, но меня задержали. А потом мне нужно было подумать об очень серьезных вещах, и все остальное на время вылетело у меня из головы. Но я не забыл о маленьком Тиме.

Кузнец запустил руку за пазуху и вытащил оттуда маленький футлярчик из мягкой кожи.

— Я принес ему подарок. Старый Нокс, наверное, назвал бы его безделушкой — но это пришло из Волшебной Страны, Нед.

Он достал из футляра небольшую серебряную вещичку. Это была крохотная лилия. Ее стебель венчали три изящных цветка в форме колокольчиков. Это и были колокольчики, и когда Кузнец

легонько встряхнул лилию, они зазвенели, и каждый из них издавал собственный звук — а вместе они сливались в нежную, чистую мелодию. Когда раздался этот мелодичный звон, свечи затрепетали и на мгновение вспыхнули белым пламенем.

Глаза Неда расширились от изумления.

— Можно посмотреть поближе, па? — спросил он. Нед осторожно взял лилию и принялся рассматривать. — Какая чудесная работа! — воскликнул он. — И, папа, эти колокольчики пахнут! Их запах напоминает мне… напоминает что-то забытое…

— Да, запах появляется на некоторое время после того, как прозвенят колокольчики. Не бойся, Нед, она не сломается. Ее ведь сделали специально для малыша — чтобы он не мог ни сломать ее, ни пораниться.

Потом Кузнец спрятал игрушку в чехол и убрал ее.

— Я завтра же сам отнесу ее в Малый Вуттон, — сказал он. — Может, Нэн, ее Том и Нелли простят меня. Что же касается малыша Тома, для него еще не настало время считать дни… равно как недели, месяцы или годы.

— Да, верно. Сходи, папа. Я бы с удовольствием пошел вместе с тобой, но я, пожалуй, в ближай-

шее время не смогу добраться до Малого Вуттона. Я бы не попал туда сегодня, даже если бы не ждал тебя. Слишком уж много было работы, а будет еще больше.

— Э нет, сын Кузнеца! Тебе тоже нужно отдыхать. Если я стал дедушкой, это еще не значит, что в моих руках не осталось силы! Говоришь, работы будет еще больше? Пускай! Теперь за нее возьмутся две пары рук. Я уже не буду уходить в странствия: во всяком случае в длительные, если ты понимаешь, о чем я.

— Ах, вот оно что… А я как раз хотел спросить, что сталось со звездой. Тебе, должно быть, тяжело, папа… — Нед взял отца за руку. — Мне очень жаль. Но в этом есть и своя хорошая сторона — во всяком случае, для нашего дома. Знаешь, Мастер Кузнец, ты еще многому сможешь научить меня, если у тебя появится время. И я имею в виду не только работу с железом.

Они поужинали вместе и долго после этого сидели за столом. Кузнец рассказывал сыну о своем последнем путешествии в Волшебную Страну и о других вещах, которые приходили ему на ум, — но умолчал о том, что уже выбрал, к кому должна будет перейти звезда.

Наконец Нед посмотрел на него и произнес:

— Отец, помнишь тот день, когда ты вернулся, принеся с собой Живой Цветок? Я тогда еще сказал, что у тебя тень как у великана. Тень не лгала. Так значит, ты танцевал с самой Королевой… И все же ты должен был передать звезду. Надеюсь, она перейдет к достойному. Этот ребенок обязан тебе вечной признательностью.

— Малыш ничего не узнает, — отозвался кузнец. — С такими дарами иначе нельзя. Ну что ж, так тому и быть. Я передал ее дальше, а сам вернулся к своему молоту и наковальне.

Как ни странно, старый Нокс, насмехавшийся над своим Учеником, так и не смог забыть о звездочке, которая исчезла из праздничного Пирога, хоть это и случилось много лет назад. Нокс растолстел и обленился. Он удалился на покой, когда ему исполнилось шестьдесят — по меркам Большого Вуттона, это был не такой уж преклонный возраст. Теперь Ноксу было под девяносто. Он и поныне любил плотно покушать и был до чрезвычайности падок на сладкое, а потому сделался неимоверно толстым. То время, когда он не сидел за столом, Нокс проводил в большом кресле, которое стояло либо у окна, либо, если погода была хорошая, на крылечке. Он любил поболтать на самые разные темы, но в последнее время сводил

разговор главным образом к своему Большому Пирогу (теперь Нокс был искренне убежден, что испек его совершенно самостоятельно), и всякий раз, когда Нокс засыпал, ему снился Пирог. Ученик, проходя мимо, иногда останавливался, чтобы перекинуться с Ноксом парой слов. Старый Повар по-прежнему называл Альва Учеником и считал, что тот должен величать его Мастером. И Ученик так и делал. Это, конечно, говорило в его пользу, хотя вообще-то Нокс его недолюбливал.

Однажды днем Нокс пообедал и вышел на крыльцо, подремать в кресле. Проснувшись, он обнаружил, что рядом стоит Ученик и смотрит на него сверху вниз.

— Здорово! — сказал Нокс. — Рад тебя видеть. Мне как раз снова вспомнился Пирог, и я о нем думал. Это был лучший из моих пирогов, а это что-то да значит. Но ты, может быть, уже забыл его.

— Нет, Мастер. Я его отлично помню. Но что вас беспокоит? Это был хороший Пирог; он понравился людям, и его хвалили.

— Еще бы! Это ведь я его испек. Но меня не это беспокоит. Я о той маленькой безделушке, звезде. Ума не приложу, что с ней сталось. Конечно же, растаять она не могла. Я это сказал лишь затем,

чтобы не пугать детей. Может, ее кто-нибудь проглотил? Но как? Можно проглотить мелкую монетку и не заметить, но не звезду же! Она была маленькая, но с острыми лучами.

— Да, Мастер. Но ведь вы же на самом деле не знаете, из чего была сделана та звезда? Не стоит об этом беспокоиться. Я вас уверяю, ее просто кто-то проглотил.

— Но тогда кто? На память я не жалуюсь, а тот день мне запомнился особенно хорошо. Я могу назвать поименно всех детей, что были на празднике. Дай-ка подумать… Должно быть, это Молли, дочка мельника. Она всегда была жадной и все глотала не разжевывая. Вот и сделалась теперь толстой, как куль с мукой.

— Да, Мастер, с некоторыми это бывает. Но Молли ела осторожно. Она нашла в своем куске целых две безделушки.

— Что, правда? Ну, значит, это Гарри, сын бондаря. Не мальчишка был, а бочонок, и рот как у лягушки.

— Я бы сказал, Мастер, что Гарри был очень славным мальчиком. Он всегда широко и дружелюбно улыбался. Но, так или иначе, Гарри был настолько осторожен, что разрезал свою порцию на маленькие кусочки, прежде чем начать есть.

Но он ничего не нашел.

— Тогда это, должно быть, та маленькая бледная худышка, Лили из семьи торговца. Она еще во младенчестве глотала булавки, и хоть бы хны.

— Нет, Мастер, это не Лили. Она съела только крем и глазурь, а остальное отдала мальчику, который сидел рядом с ней.

— Тогда я сдаюсь. Кто же это был? Ты, похоже, очень внимательно за ними наблюдал. Если, конечно, ты не сочиняешь.

— Это был сын Кузнеца, Мастер. И я думаю, это пошло ему на пользу.

— Да брось! — рассмеялся старый Нокс. — Я должен был догадаться, что ты меня разыгрываешь. Не мели чепухи! Кузнец тогда был тихоней и копушей. Теперь от него куда больше шума — вечно всякие песенки распевает. Но он осторожен и рисковать не любит. Он тщательно прожевывает еду, прежде чем проглотить, и всегда так делал — если, конечно, ты понимаешь, о чем я.

— Понимаю, Мастер. Ну что ж, если вы не хотите верить, что это был Кузнец, тут я ничем помочь не могу. Возможно, теперь это уже и не важно. Может, вы перестанете беспокоиться, если я скажу, что звезда снова лежит в коробке? Вот она!

Нокс только сейчас заметил, что Ученик одет

в темно-зеленый плащ. Теперь он извлек из-под плаща черную коробку и распахнул ее перед носом у старого повара.

— Вот эта звезда, Мастер, в уголке.

От запаха пряностей Нокс расчихался и раскашлялся, но в конце концов все-таки заглянул в коробку.

— Ага, вот она где! — сказал он. — Во всяком случае, выглядит она точно так же, как та.

— Это она и есть, Мастер. Я сам положил ее сюда несколько дней назад. Этой зимой я снова запеку ее в Большой Пирог.

— Ага! — воскликнул Нокс, хитро уставившись на Ученика, а потом расхохотался, да так, что все его тело затряслось, словно желе. — Понял, понял! Двадцать четыре ребенка и двадцать четыре сюрприза на счастье, а звезда была лишней. Так значит, ты ее вытащил, прежде чем поставить пирог в печь, и припрятал до другого случая! Ты всегда был хитроумным малым — шустрым и сообразительным. И бережливым к тому же: и ложки масла не израсходовал понапрасну. Ха-ха-ха! Так вот в чем тут загвоздка! Мне следовало бы догадаться! Ну ладно, теперь все разъяснилось и я могу спокойно подремать. — Нокс откинулся на спинку кресла. — Только смотри, чтобы твой

нынешний ученик не сыграл с тобой никакой шутки. А то, знаешь ли, на всякого мудреца довольно простоты. — И Старый Повар прикрыл глаза.

— До свиданья, Мастер! — сказал Ученик и захлопнул коробку. От этого стука Повар снова открыл глаза.

— Нокс, — неожиданно произнес Ученик, — твои познания столь велики, что я лишь дважды отважился что-либо тебе сообщить. Я сказал тебе, что эта звезда — из Волшебной Страны и что она досталась Кузнецу. Но ты лишь посмеялся надо мной. Теперь же, на прощанье, я хочу сказать тебе еще кое-что. И не вздумай смеяться! Ты — тщеславный старый плут, толстый, ленивый и хитрый. Я выполнял за тебя почти всю работу. Ты научился от меня всему, чему только мог, — кроме уважения к Волшебной Стране и хоть какой-то учтивости, — но даже не поблагодарил за это. Тебя даже не хватило на то, чтобы вежливо попрощаться со мной.

— Если уж зашла речь об учтивости, — язвительно заметил Нокс, — то я не вижу ничего учтивого в том, чтобы обзывать старого почтенного человека, которому ты в подметки не годишься, всякими непотребными словами. Проваливай

со своей Волшебной Страной и прочей чушью куда-нибудь в другое место! Бывай здоров, если ты это хотел услышать. А теперь убирайся! — Нокс насмешливо махнул рукой. — Если у тебя на Кухне припрятан кто-нибудь из твоих сказочных приятелей, пришли его ко мне — я на него хоть посмотрю. Если он взмахнет своей волшебной палочкой и снова сделает меня худым, тогда я буду думать о нем лучше. — И он расхохотался.

— Не уделите ли вы несколько мгновений Королю Волшебной Страны? — отозвался Альв.

К ужасу Нокса, с этими словами Ученик сделался выше. Он скинул плащ. Альв был одет в обычный праздничный наряд Мастера Повара, но сейчас его белое одеяние мерцало и искрилось, а на челе у Короля сиял драгоценный камень, подобный ослепительной звезде. Лицо его было юным и в то же время суровым.

— Старик, — произнес Король, — ты не старше меня. Что же до подметок — ты не раз насмехался надо мной у меня за спиной. Осмелишься ли ты бросить вызов мне в лицо?

Он шагнул вперед, и Нокс съежился, дрожа от страха. Старый Повар попытался закричать, позвать на помощь, но обнаружил, что способен лишь шептать, и то с трудом.

— Не надо, господин! — хрипло взмолился он. — Не трогайте меня! Я всего лишь жалкий старик…

Лицо Короля смягчилось.

— Увы, на этот раз ты говоришь правду. Не бойся! Я не причиню тебе вреда. Но у тебя, кажется, была просьба к Королю Волшебной Страны? Что ж, твое желание будет исполнено. Прощай! А теперь спи.

Король снова завернулся в плащ и направился в сторону Зала, но прежде чем он скрылся из вида, вытаращенные глаза Старого Повара закрылись и Нокс захрапел.

Когда Нокс проснулся, солнце уже садилось. Он протер глаза и передернул плечами — осенний воздух был довольно прохладным.

— Уф, ну и сон! — воскликнул Нокс. — Вот что значит съесть слишком много свинины за обедом!

С того дня Старый Повар так сильно боялся снова увидеть скверный сон, что едва осмеливался взять что-либо в рот, так что его трапезы стали очень короткими и состояли из простых блюд. Вскоре Нокс начал худеть, и его одежда, равно как и его кожа, повисли на нем складками. Дети прозвали его «Мешком-с-Костями». Через некоторое

время Нокс обнаружил, что снова может ходить по селению, опираясь на палку. Так что тот дурной сон сильно продлил ему жизнь. Говорят, что Нокс дотянул до своего векового юбилея — это было его единственным достижением. Но он до последних дней своей жизни твердил любому, кто соглашался его слушать:

— Конечно, я испугался — а кто бы не испугался на моем месте? Но если подумать как следует, сразу ясно, что это всего лишь дурацкий сон. Король Волшебной Страны! Да у него даже волшебной палочки не было! А если человек перестает много есть, то он худеет — это только естественно. Так что все вполне объяснимо. И никакого волшебства в этом нет.

И вот снова подошел Праздник Двадцати Четырех. Кузнеца пригласили туда петь песни, а его жена помогала приглядывать за детьми. Кузнец смотрел, как малыши поют и танцуют, и дети казались ему красивее и веселее, чем когда-то был он сам. Он на миг задумался о том, что поделывал Альв в свободное время. Казалось, любой из детей достоин получить звезду. Но по большей части Кузнец следил за Тимом, полноватым мальчиком, который был неуклюж в танцах, но зато замечательно пел. Сейчас Тим тихо сидел за

столом и наблюдал, как точили нож и нарезали Пирог. Неожиданно Тим произнес:

— Дорогой Мастер Повар, отрежьте мне, пожалуйста, самый маленький кусочек. А то я уже так много съел, что сейчас лопну.

— Хорошо, Тим, — согласился Альв. — Я отрежу тебе особый кусочек. Думаю, ты съешь его без труда.

Кузнец наблюдал, как Тим ест пирог — медленно, но с удовольствием. Правда, когда мальчик не нашел в своем куске ни монетки, ни безделушки, на лице его промелькнуло разочарование. Но вскоре глаза Тима засияли. Мальчик рассмеялся, повеселел и что-то тихонько запел. Потом он вскочил и принялся танцевать с необычной грацией, которой никогда прежде в нем не замечалось. Остальные дети засмеялись и захлопали в ладоши.

«Что ж, все прекрасно, — подумал Кузнец. — Значит, ты и есть мой наследник… Интересно, в какие неизведанные края заведет тебя звезда? Бедолага Нокс! Впрочем, я полагаю, он так никогда и не узнает, какая скандальная история приключилась в его семействе».

Он и вправду никогда об этом не узнал. Но зато на Празднике произошло одно событие, сильно

порадовавшее Нокса. Прежде чем Праздник окончился, Мастер Повар попрощался со всеми детьми и взрослыми, которые там присутствовали.

— А теперь я должен проститься с вами, — промолвил он. — Через день-два я уйду. Мастер Харпер уже вполне способен заменить меня. Он — замечательный повар и к тому же ваш земляк — впрочем, это вы и сами знаете. Мне же пора возвращаться домой. Не думаю, что вы будете слишком сильно скучать обо мне.

Дети весело сказали «до свиданья» и поблагодарили Мастера Повара за чудесный Пирог. Лишь маленький Тим взял Повара за руку и тихо вымолвил:

— Жалко, что вы уходите…

На самом деле несколько семейств Большого Вуттона какое-то время все-таки скучали по Альву. А его немногочисленные друзья, особенно Кузнец и Харпер, сокрушались о его уходе и в память об Альве следили, чтобы Зал всегда оставался чистым и нарядным. Впрочем, большинство жителей особо не горевали. Альв очень долго пробыл Мастером Поваром, и жители ничего не имели против перемен. А старый Нокс стукнул палкой об пол и откровенно заявил:

— Наконец-то он убрался! И замечательно! Я

этого хитреца всегда недолюбливал. Слишком уж он был шустрый.

Лист работы Ниггля

Жил некогда на свете человек по имени Ниггль, которому предстояло отправиться в длительное путешествие. Ниггль этого не желал — по правде говоря, сама мысль о путешествии была ему неприятна, — но выбора у него не было. Он знал, что рано или поздно ехать придется, но в дорогу собираться не спешил.

Ниггль был живописцем, хотя и не особенно выдающимся — отчасти потому, что ему приходилось заниматься еще и множеством других дел. Ниггль считал бо́льшую часть этих дел неприятными и докучными, но выполнял их добросовестно, когда не было возможности от них избавиться — а такое случалось чересчур часто, по крайней мере на его взгляд. В стране, где жил Ниггль, законы были весьма строгие. Но мешало Нигглю не только это. Во-первых, Ниггль порою попросту бездельничал и бил баклуши. А во-вторых, Ниггль был по-своему мягкосердечен — знаете, из тех добряков, которые не столько творят добро, сколько чувствуют себя неловко оттого, что им лень его творить. Однако все же

временами Ниггль что-то делал, хотя это не мешало ему ворчать, гневаться и браниться — правда, в основном про себя. И тем не менее из-за своего мягкосердечия Нигглю зачастую приходилось оказывать всяческие услуги своему хромому соседу, мистеру Пэришу. А иногда Ниггль помогал даже малознакомым людям, если они приходили к нему с просьбой о помощи. Время от времени Ниггль вспоминал о предстоящем путешествии и довольно бестолково принимался упаковывать все, что под руку попадется. В такие моменты он тоже почти не занимался живописью.

Ниггль то и дело начинал писать все новые картины, но ни одной из них так и не довел до ума: замыслы этих картин по большей части были чересчур грандиозны для его таланта. Ниггль был из тех художников, которые лучше рисуют отдельные листья, чем деревья. Он всегда подолгу возился с одним-единственным листиком, стараясь уловить его неповторимую форму и то, как он блестит на солнце и как по краям его переливаются капельки росы. И все-таки Ниггль мечтал нарисовать целое дерево, и чтобы все листочки на нем были выписаны в одном и том же стиле, но при этом на всем дереве не нашлось бы двух одинаковых листьев.

Особенно много Ниггль возился с одной из своих картин. Сперва на ней появился лист, трепещущий на ветру, а за ним — дерево. Дерево росло, вздымая вверх бесчисленные ветви и выпуская причудливые корни. На ветвях селились неведомые птицы — им тоже надлежало уделить внимание. Потом вокруг Дерева и за ним, в просветах между листьями и ветвями, начала проступать целая страна: леса, уходящие за горизонт, и горы, увенчанные снегом. Ниггль утратил интерес к прочим своим полотнам. А часть из них просто взял и прикрепил к краям главной картины. И вскоре холст сделался таким большим, что для работы над ним Нигглю понадобилась приставная лестница. Он целыми днями лазал по этой лестнице вверх-вниз: тут добавит штрих, там что-то сотрет… Когда к нему кто-нибудь заходил, Ниггль держался довольно вежливо. Он сидел за столом, вертел в руках карандаш, слушал, что ему говорят, но все его мысли были прикованы к огромному полотну. Ниггль специально для него построил за домом, на том участке, где когда-то выращивал картошку, большой сарай.

Ниггль никак не мог избавиться от своего мягкосердечия. «Эх, был бы я малость потвер-

же!» — иногда думал он, имея в виду, что предпочел бы не принимать близко к сердцу чужие неприятности. Но довольно долго его никто особо не беспокоил. «Во всяком случае, эту картину я непременно закончу — мою единственную настоящую картину! — прежде чем отправлюсь в это злосчастное путешествие!» — говорил он себе. Однако со временем Ниггль начал понимать, что до бесконечности путешествие откладывать невозможно. А потому пора было прекратить расширять картину и завершить хотя бы то, что уже начато.

В один прекрасный день Ниггль стоял перед картиной и разглядывал ее — пристально, как никогда, и в то же время отстраненно. Художник никак не мог понять, что же он сам думает об этой картине, и жалел, что у него нет друга, к которому можно было бы обратиться с этим вопросом. Он был ею абсолютно недоволен, и в то же время она казалась ему очень красивой, единственной по-настоящему прекрасной картиной в мире. Чего Нигглю хотелось в тот момент, так это чтобы в сарай вошел его, Ниггля, двойник, похлопал его по плечу и сказал (со всей очевидностью, от души): «Великолепно! Теперь я понял ваш замысел. Пожалуйста, продолжайте, продолжайте работать и

ни о чем больше не беспокойтесь! Мы дадим вам государственную субсидию, чтобы отныне вы ни в чем не нуждались».

Однако на самом деле жалованье Нигглю никто давать не собирался. И одно он понял твердо: необходимо сосредоточиться и работать, много и неустанно работать, чтобы довести картину до ума, даже при нынешних ее размерах. Ниггль закатал рукава и взялся за дело. Несколько дней он старался не думать ни о чем постороннем. Но на него тут же, как назло, градом посыпались события, требующие его внимания: в доме у него все пошло наперекосяк; подошла его очередь исполнять обязанности присяжного заседателя; один его друг, проживающий в другом городе, серьезно заболел; мистер Пэриш слег с прострелом, и вдобавок гости продолжали валить валом. Стояла весна, и знакомым Ниггля хотелось немного отдохнуть на природе: Ниггль жил в славном маленьком домике, в нескольких милях от города. Ниггль мысленно проклинал гостей, но ничего не мог поделать, поскольку сам же их напригласил — еще давно, зимой, когда походы в магазин и чаепития со знакомыми не казались ему помехой. Он пытался проявить твердость, но безуспешно. Ниггль почти никогда не мог прямо

сказать «нет», даже если не считал какое-то дело своей прямой обязанностью. А некоторые дела он просто вынужден был исполнять, вне зависимости от своего отношения к ним. Кое-кто из гостей намекал, что его сад очень запущен и что к Ниггло, чего доброго, в один прекрасный день нагрянет Инспектор. Конечно, мало кто из гостей знал о картине Ниггля, но даже если бы они и знали, это мало что изменило бы. Я сомневаюсь, что они сочли бы ее чем-то заслуживающим внимания. Пожалуй, это и вправду была не очень хорошая картина, несмотря на несколько удачных фрагментов. Во всяком случае, Дерево было весьма любопытным и на свой лад даже уникальным. Как и сам Ниггль — при том, что в целом он был самым обыкновенным и даже чуть глуповатым человеком.

Наконец счет для Ниггля пошел буквально на часы. Его знакомые из соседнего города всё чаще вспоминали о том, что ему предстоит отправиться в путь, и кое-кто уже начал прикидывать, как надолго ему удастся оттянуть тягостное путешествие. Они размышляли, кому достанется дом Ниггля и станут ли новые хозяева лучше ухаживать за садом.

Наступила осень, очень дождливая и ветреная.

Однажды художник работал у себя в сарае. Он стоял на лестнице, пытаясь передать отблеск заходящего солнца на снежных пиках гор — Ниггль только что краем глаза заметил этот отсвет слева от пышной ветви Дерева. Ниггль знал, что скоро должен будет уехать — возможно, в самом начале будущего года. Времени на то, чтобы в общих чертах закончить картину, оставалось в обрез: художник понимал, что в некоторых углах он успеет набросать лишь слабое подобие того, что ему на самом деле хотелось бы изобразить.

Раздался стук в дверь.

— Войдите! — резко отозвался Ниггль, спустился с лестницы и остановился, крутя в руках кисть. Это пришел сосед Ниггля, Пэриш. Можно сказать, что это был его единственный настоящий сосед, поскольку все прочие жили довольно далеко. Однако Ниггль не слишком дружелюбно относился к Пэришу: отчасти потому, что у того постоянно случались неприятности и приходилось ему помогать, а еще потому, что Пэриш совсем не интересовался живописью, зато хорошо разбирался в садоводстве. Когда Пэриш смотрел на сад Ниггля (что бывало часто), то видел там главным образом сорняки, а когда смотрел на картину Ниггля (что случалось редко), то видел лишь

какие-то дурацкие полосы и пятна — зеленые, серые и черные. Он по-добрососедски частенько выговаривал Нигглю за сорняки, а по поводу картины предпочитал помалкивать. Пэриш про себя думал, что это очень любезно с его стороны, не понимая, что любезность эта довольно куцая. Лучше бы он помог Нигглю управиться с сорняками или похвалил картину — хотя бы из вежливости.

— Ну, Пэриш, в чем дело? — спросил Ниггль.

— Мне, наверное, не следовало бы вас отвлекать, — проговорил Пэриш (даже не взглянув на картину). — Вы, конечно, очень заняты…

Ниггль как раз собирался сказать что-то в этом духе, но упустил возможность. Ему оставалось лишь согласиться.

— Да.

— Но мне не к кому больше обратиться… — продолжал Пэриш.

— То-то и оно, — со вздохом произнес Ниггль. Вздохнул он как бы про себя, но при этом постарался, чтобы Пэриш его услышал. — Так что я могу для вас сделать?

— Моя жена болеет, вот уже несколько дней, и я начинаю беспокоиться, — сказал Пэриш. — А ветер сорвал с моей крыши половину черепицы,

и теперь спальню заливает дождем. Сдается мне, надо бы вызвать доктора. И строителей, конечно, — только их ведь целую вечность прождешь. Вот я и подумал: может, у вас найдутся какие-нибудь доски и холст для починки — взаймы, всего на пару дней, чтобы на первых порах хоть как-нибудь перебиться?

И с этими словами Пэриш наконец-то посмотрел на картину.

— Охо-хо! — воскликнул Ниггль. — Ну надо же, какое несчастье. Надеюсь, у вашей жены всего лишь простуда. Я сейчас приду и помогу вам перенести ее на первый этаж.

— Большое спасибо, — весьма прохладно отозвался Пэриш. — Но у нее не простуда, у нее сильный жар. Из-за какой-то там простуды я бы вам докучать не стал. И моя жена и так уже лежит на нижнем этаже. Я не могу бегать с подносами вверх-вниз — с моей-то ногой. Но, вижу, вы и вправду очень заняты. Прошу прощения, что потревожил. Я просто надеялся, что у вас, может, найдется время, чтобы сходить за доктором — самому-то мне не добраться… И за строителями тоже, раз уж у вас нет лишнего холста.

— Конечно-конечно, — отозвался Ниггль, хотя в голове у него вертелись совсем другие слова. И

чувствовал он себя сейчас не добрым, а попросту мягкотелым. — Я могу сходить. Я обязательно схожу, если вы действительно так беспокоитесь.

— Я очень, очень беспокоюсь! — сказал Пэриш. — Ах, если бы только не моя хромота…

И Нигглю пришлось идти. Видите ли, ему было неудобно отказать. Они с Пэришем были соседями, а другие дома располагались довольно далеко. У Ниггля был велосипед, а у Пэриша — нет, да он бы и не смог на нем ездить. У Пэриша была хромая нога, которая действительно здорово болела, и об этом было трудновато забыть, точно так же как и о кислом выражении лица Пэриша, и о его плаксивом голосе. Конечно же, Ниггля ждала картина, а времени на ее окончание оставалось всего ничего. Но напоминать об этом было как-то некрасиво. Разумеется, об этом следовало подумать самому Пэришу — но Пэриш никогда не думал о картинах, тут уж ничего не поделаешь. Так что Ниггль лишь мысленно выругался и оседлал свой велосипед.

Было сыро и ветрено. Дневной свет уже угасал. «Все, сегодня больше не поработаешь!» — подумал Ниггль и всю дорогу то ругался про себя, то представлял, как проходится кистью по горам или по находящимся рядом ветвям — впервые

Ниггль представил их себе еще весной. Руки его, стискивающие руль велосипеда, так и чесались вернуться к краскам. Теперь, оказавшись за пределами сарая, он совершенно точно понял, как следует изобразить поблескивающие сплетения ветвей, обрамляющие видение далеких гор. Но внезапно Нигглю сдавило сердце, и он со страхом подумал, что уже не успеет воплотить этого на полотне.

Ниггль нашел врача и оставил записку строителям. Контора была закрыта, и подрядчик ушел домой, греться у камина. Ниггль промок до нитки и сам подхватил простуду. Врач, в отличие от Ниггля, не особенно спешил отправиться в путь. Он прибыл лишь на следующий день, что вышло для него очень даже удобно, ведь к этому времени ему пришлось иметь дело уже с двумя пациентами в двух соседних домах. Ниггль валялся в постели с высокой температурой, и ему мерещились дивные листья и ветви, сплетающиеся на потолке. Его не слишком утешило известие о том, что у миссис Пэриш действительно всего лишь простуда и что она уже поправляется. Ниггль отвернулся к стене и уткнулся лицом в листья.

В постели он пролежал довольно долго. Ветер продолжал бушевать. Он снес еще довольно

много черепицы с крыши Пэришей и добрался до дома художника — теперь и у Ниггля начала протекать крыша. Подрядчик все не приходил. Ниггля это не беспокоило — по крайней мере день-два. Потом он выбрался из постели, поискать, чего бы поесть (жены у Ниггля не было). Пэриш не появлялся — от сырости у него разболелась нога. Его жена была занята: она собирала тряпкой воду и ворчала — неужели «этот мистер Ниггль» забыл зайти к строителям? Рассчитывай она позаимствовать у Ниггля что-нибудь полезное, она отправила бы Пэриша к соседу, невзирая на ногу, но взять с Ниггля было нечего, а потому он оказался предоставлен сам себе.

Где-то в конце недели Ниггль, пошатываясь, кое-как добрался до своего сарая. Он попытался взобраться на лестницу, но у него закружилась голова. Ниггль сел и посмотрел на картину. Сегодня ему не шли на ум ни листья, ни горы. Он мог бы нарисовать отдаленный пейзаж песчаной пустыни, но у него не было сил.

На следующий день художник почувствовал себя намного лучше. Он взобрался на лестницу и принялся рисовать. И только-только Ниггль начал втягиваться в работу, как раздался стук в дверь.

— Черт подери! — воскликнул Ниггль. Но с тем же успехом он мог бы вежливо сказать: «Войдите!» — потому что дверь все равно отворилась. На этот раз в сарай вошел очень высокий, совершенно незнакомый Нигглю человек.

— Это частная студия, — сказал Ниггль. — Я занят. Убирайтесь!

— Я — Инспектор Домов, — представился человек, протягивая служебное удостоверение, так, чтобы Ниггль мог увидеть его с лестницы.

Ниггль непроизвольно охнул.

— Дом ваших соседей находится в совершенно неудовлетворительном состоянии, — сказал Инспектор.

— Я знаю, — отозвался Ниггль. — Я давно уже оставил записку строителям, но они так и не пришли. А потом я заболел.

— Понятно, — сказал Инспектор. — Но теперь вы уже не болеете.

— Но я же не строитель. Пэришу следует подать жалобу в Городской Совет — пусть Аварийная Служба ему поможет.

— У них хватает хлопот с более тяжелыми случаями, чем этот, — сказал Инспектор. — В долине произошло наводнение, и множество семей остались без крыши над головой. Вы должны помочь

вашему соседу произвести временный ремонт и предотвратить нанесение дальнейшего ущерба, устранение какового повлекло бы дополнительные расходы. Таков закон. Здесь у вас достаточно материала: холст, дерево, водоотталкивающие краски.

— Где? — негодующе спросил Ниггль.

— Вот! — ответил Инспектор, указывая на картину.

— Но это моя картина! — воскликнул Ниггль.

— Смею заметить, я это понял, — сказал Инспектор. — Но дома важнее. Таков закон.

— Но я не могу… — Ниггль не успел больше ничего сказать, потому что в это самое мгновение в сарай вошел другой человек. Он был очень похож на Инспектора, почти как двойник — тоже высокий и весь в черном.

— Идем! — сказал он. — Я Водитель.

Ниггль неуклюже спустился с лестницы. Похоже, его лихорадка снова вернулась: у художника закружилась голова и его пробрал озноб.

— Водитель? Какой Водитель? — залепетал он. — Чей?

— Ваш и вашей машины, — отозвался человек. — Машина была заказана давным-давно. Она наконец прибыла. Она ждет. Видите ли, сегодня

вы отправляетесь в путешествие.

— Вот так так! — огорчился Инспектор. — Что ж, ничего не поделаешь, придется вам ехать — хотя нехорошо начинать путешествие, оставив за спиной невыполненную работу. Однако мы, по крайней мере, сможем пустить в дело этот холст.

— Охо-хо! — воскликнул несчастный Ниггль и заплакал. — Но ведь она даже не завершена!

— Не завершена? — переспросил Водитель. — Ну, что успели, то успели, тут уж ничего не поделаешь. Она закончена — во всяком случае, насколько это касается вас. Идем!

И Ниггль послушно поплелся следом. Водитель не дал ему времени собраться, сказав, что Нигглю следовало сделать это заранее, а теперь они могут опоздать на поезд. Так что все, что Ниггль успел, это прихватить из прихожей маленькую сумку. В сумке не оказалось ни еды, ни одежды — лишь коробка с красками и небольшой альбом с его собственными эскизами. На поезд они успели вовремя. Ниггль чувствовал себя очень усталым и сонным. Когда его посадили в купе, он плохо соображал, что происходит. Впрочем, это его мало беспокоило: Ниггль забыл, куда и зачем он отправляется. Почти сразу же поезд въехал в темный туннель.

Ниггль проснулся на очень большом, полутемном железнодорожном вокзале. Вдоль платформы шел Кондуктор, но выкрикивал он не название станции. Он кричал: «Ниггль!»

Ниггль поспешно выскочил из вагона и тут обнаружил, что забыл в купе свою сумку. Он бросился было обратно, но поезд уже ушел.

— А, вот вы где! — воскликнул Кондуктор. — Сюда! Что? У вас нет никакого багажа? Тогда придется вас отправить в Работный Дом.

Нигглю стало совсем плохо, и он упал в обморок прямо на платформе.

Его положили в санитарную машину и отвезли в лазарет при Работном Доме.

Нигглю совершенно не нравилось, как с ним обращаются. Лекарства, которые ему давали, были горькими. Служащие и медицинский персонал были недружелюбны, молчаливы и суровы. Ниггль не видел никого, кроме них, не считая очень строгого врача, который заглядывал к нему время от времени. Это место больше походило на тюрьму, чем на больницу. Нигглю приходилось много работать: в определенное время дня он копал землю, плотничал или красил доски в один и тот же однотонный цвет. Выходить из Работного Дома ему не позволялось, а все окна смотрели

во внутренний двор. По нескольку часов подряд его держали в темноте — «чтобы было время подумать», так ему говорили. Ниггль потерял счет времени. Лучше ему не становилось — если судить по тому, что ему ничто не доставляло ни малейшего удовольствия. Даже сон не приносил ему радости.

Сперва, примерно первые сто лет (по крайней мере, так казалось самому Нигглю), его мучили бесполезные сожаления о прошлом. Лежа в темноте, он повторял про себя одно и то же: «Ну почему я не заглянул к Пэришу в первое же утро после того, как поднялся сильный ветер? Ведь я же собирался! Первые несколько сорванных черепиц было бы легко вернуть на место. Тогда, может быть, миссис Пэриш и не простудилась бы. Тогда и я бы не заболел. И у меня в запасе была бы еще неделя». Но постепенно Ниггль забыл, зачем ему так нужна была эта лишняя неделя. Если его что-то и беспокоило теперь, так это его работа в лазарете. Ниггль обдумывал ее, прикидывая, как ловчее сделать так, чтобы доска не скрипела, как быстрее навесить дверь или починить ножку стола. Возможно, он действительно стал довольно полезным человеком, хотя никто ему об этом не говорил. Но, конечно же, бедолагу продержали в

лазарете так долго вовсе не из-за этого. Возможно, здешние служители ждали, чтобы Нигглю стало лучше, но это «лучше» они определяли исходя из каких-то собственных странных медицинских критериев.

Как бы то ни было, бедолага Ниггль не получал никакого удовольствия от жизни — во всяком случае, того, что он привык называть удовольствием. Конечно, у него здесь не было никаких развлечений. Но нельзя отрицать, что он начал испытывать некоторое… ну, удовлетворение — вот, к примеру, если ты голоден, то хлеб и без варенья кажется вкусным. Ниггль привык браться за работу точно по звонку и оставлять ее по звонку, возвещавшему окончание работы, — все у него было чисто и аккуратно, так что в следующий раз он мог сразу продолжать с того места, где остановился. Теперь он успевал за день переделать кучу разных дел, а мелкие поручения вообще щелкал как орешки. «Свободного времени» у него не было — если не считать того, что отводилось на сон, — но зато теперь Ниггль научился как следует распоряжаться тем временем, которым располагал. Ему незачем было суетиться, некуда спешить. Ниггль обрел внутренний покой, и в часы отдыха он действительно отдыхал.

И тут внезапно весь распорядок разом изменился. Спать Ниггрю почти не позволялось. Его сняли с плотницких работ и поставили копать землю, день за днем. Ниггль воспринял это довольно спокойно. Он даже не сразу принялся отыскивать на задворках своего сознания давно позабытые ругательства. Он просто копал себе и копал, пока ему не начало казаться, что спина вот-вот переломится. Ладони Ниггля покрылись волдырями, и он почувствовал, что больше не в силах поднять ни одной лопаты земли. И никто ему даже спасибо не сказал. Но зато пришел врач и осмотрел Ниггля.

— Готово! — сказал он. — Полный покой — и темнота!

Ниггль лежал в темноте и в полном покое. Он ничего не чувствовал и ни о чем не думал. Он не знал, сколько пролежал здесь — часы или годы. Но наконец Ниггль услышал Голоса, совсем не похожие на те, что он слышал прежде. Это было что-то среднее между медицинским консилиумом и судебным заседанием, и происходило оно совсем рядом, словно бы в соседней комнате, дверь в которую оставалась открыта, хотя ни единого лучика света видно не было.

— А теперь дело Ниггля, — сказал Голос. Это был

очень строгий голос, куда строже, чем у доктора.

— А что с ним такое? — спросил Второй Голос. Его можно было бы назвать нежным, но отнюдь не мягким. Это был голос того, кто наделен властью, и в нем звучали одновременно и надежда и печаль. — Что такое с Нигглем? У него хорошее сердце.

— Да, но оно не трудилось должным образом, — заявил Первый Голос. — А головой он вообще не думал. Посмотрите, на что он тратил время! Добро бы на удовольствия, а то на всякую чепуху. К путешествию так и не подготовился. Он располагал достатком, хотя и скромным, а прибыл сюда почти нищим, и его пришлось поместить в отделение для неимущих. Боюсь, это весьма тяжелый случай. Думаю, ему следует остаться здесь еще на некоторое время.

— Возможно, это ему не повредило бы, — отозвался Второй Голос. — Но он ведь всего лишь маленький человек. Его ни к чему особенно выдающемуся не предназначали, и особенно сильным он никогда не был. Давайте заглянем в Протокол. Ага. Тут есть несколько очень благоприятных моментов, вы не находите?

— Возможно, — согласился Первый Голос. — Но лишь немногие из них покажутся таковыми при

тщательном рассмотрении.

— Ну что ж, — заметил Второй Голос, — вот они. Он был прирожденным живописцем. Не слишком талантливым, правда. Впрочем, «Лист» работы Ниггля по-своему очень мил. Он очень тщательно прорабатывал каждый лист — просто так, для себя. Но он и думать не думал, что это делает его важной персоной. В Протоколе нет ни одного упоминания о том, чтобы Ниггль, хотя бы про себя, предполагал, будто это искупает его нерадивое отношение к предписаниям закона.

— Тогда ему не следовало быть столь нерадивым, — сказал Первый Голос.

— Но все-таки он откликался на многие Призывы.

— Лишь на малую их долю — и по большей части на самые легкие. К тому же он называл их Помехами. Протокол просто пестрит этим словом, вкупе со множеством жалоб и вздорных проклятий.

— Да, верно. Но ведь этот бедолага и впрямь принимал их за помехи. А вот еще: он никогда не ждал никакого Воздаяния, как это часто называют люди его склада. Вот, например, дело Пэриша — того, что прибыл сюда позже. Этот Пэриш был соседом Ниггля, но никогда даже пальцем не

пошевелил ради него и редко выказывал хоть какую-то благодарность. Но в Протоколе нет ни одной записи, свидетельствующей, что Ниггль ожидал от Пэриша благодарности. Похоже, он вообще об этом не думал.

— Да, это имеет значение, — признал Первый Голос, — но не такое уж большое. Думаю, если посмотреть, то обнаружится, что Ниггль часто об этом попросту забывал. Все, что Ниггль поневоле делал для Пэриша, он выбрасывал из головы как докучное неудобство, с которым раз и навсегда покончено.

— А взгляните на последнюю запись, — предложил Второй Голос, — о поездке в город под дождем. Я хотел бы особо подчеркнуть этот случай. Со всей очевидностью, это было чистейшей воды самопожертвование: ведь Ниггль догадывался, что это его последняя возможность закончить картину, и догадывался также, что Пэриш беспокоится попусту.

— Думаю, это слишком громко сказано, — возразил Первый Голос. — Но право решения за вами. Конечно же, это ваша задача — истолковать все факты наиболее благоприятным образом. Иногда они и вправду того заслуживают. Так что же вы предлагаете?

— Я полагаю, что его следует перевести на щадящий режим, — сказал Второй Голос.

Нигглю показалось, что Второй Голос необычайно великодушен. Слова «щадящий режим» звучали так, словно это был щедрый дар, приглашение на королевский пир. И тут Нигглю вдруг стало стыдно. Мысль о том, что его сочли достойным Щадящего Режима, совершенно его ошеломила. Он покраснел в темноте. Это было все равно как если бы его публично похвалили, при том, что и он, и все присутствующие знают, что похвала незаслуженная. От стыда Ниггль даже спрятался под грубое одеяло.

Наступило молчание. Потом Первый Голос — он звучал так, словно говорящий стоит рядом, — обратился к Нигглю.

— Ты все слышал, — произнес Голос.

— Да, — признался Ниггль.

— Ну, и что же ты скажешь?

— А не могли бы вы рассказать мне о Пэрише? — попросил Ниггль. — Мне хотелось бы снова его повидать. Я надеюсь, он не очень сильно заболел? И не могли бы вы подлечить его ногу? Она постоянно причиняла ему неудобства. И, пожалуйста, не беспокойтесь из-за наших с ним отношений. Пэриш был очень хорошим соседом

и очень дешево продавал мне прекрасную картошку — это экономило мне кучу времени.

— В самом деле? — переспросил Первый Голос. — Я рад это слышать.

На некоторое время снова стало тихо. Потом Ниггль услышал: Голоса удаляются.

— Ну что ж, я согласен, — произнес в отдалении Первый Голос. — Пусть его переведут на следующий этап. Хоть завтра.

* * *

Проснувшись, Ниггль обнаружил, что шторы отдернуты и его комнатушка залита солнечным светом. Он встал и увидел, что рядом с постелью кто-то положил не больничный халат, а более удобную одежду. После завтрака врач осмотрел сбитые в кровь руки Нигля и смазал их какой-то мазью — они сразу же перестали болеть. Еще он дал Нигглю несколько добрых советов и бутылку с укрепляющим средством — вдруг да понадобится. Ближе к полудню Нигглю дали печенье и стакан вина, а потом вручили билет.

— Теперь можете отправляться на станцию, — сказал врач. — Кондуктор за вами присмотрит. Счастливого пути.

Ниггль выскользнул за дверь и на мгновение зажмурился — очень уж ярким было солнце. Ниггль полагал, что очутится в большом городе, соответствующем размерам вокзала. Ничего подобного. Ниггль стоял на вершине безлесного холма, поросшего зеленой травой, и над холмом гулял свежий, бодрящий ветер. Вокруг никого не было. Лишь внизу, у подножия холма, блестела крыша вокзала.

Ниггль быстро, но без спешки зашагал вниз. Там его ждал Кондуктор.

— Вам сюда! — сказал он и провел Ниггля на платформу, где стоял маленький симпатичный поезд — такие обычно ходят на местных линиях: паровозик и один вагон, оба очень яркие, чистенькие и свежевыкрашенные.

Похоже было, будто поезд отправляется в свое первое путешествие. Да и железнодорожное полотно выглядело как новенькое: гнезда, в которые укладываются рельсы, были выкрашены в зеленый цвет, сами рельсы сверкали, а шпалы чудесно пахли нагретой солнцем смолой. Вагон был пуст.

— Господин Кондуктор, а куда идет этот поезд? — спросил Ниггль.

— По-моему, та станция еще никак не назы-

вается, — отозвался Проводник. — Но вы ее не пропустите.

И с этими словами он захлопнул дверь.

Поезд тотчас же тронулся. Ниггль откинулся на спинку сиденья. Маленький паровозик, пыхтя, полз по глубокой выемке. По обе стороны от нее поднимались высокие зеленые склоны, а сверху раскинулось синее небо. Через некоторое время — довольно скоро — паровозик свистнул, затормозил и встал. Там, где он остановился, не было ни железнодорожной станции, ни какой-либо вывески — лишь лестница, поднимающаяся на насыпь. Наверху виднелась аккуратная изгородь, и в ней — калитка. У калитки стоял велосипед Ниггля. По крайней мере, он выглядел в точности так, и к рулю была прикреплена желтая бирка с большими черными буквами: «НИГГЛЬ».

Ниггль распахнул калитку, вскочил на велосипед и помчал вниз по склону, освещенному ярким весенним солнцем. Вскоре Ниггль обнаружил, что тропинка, по которой он ехал, исчезла и теперь его велосипед катит по чудной траве, зеленой и густой. Ниггль мог разглядеть каждую былинку. Ему почудилось, будто он уже где-то когда-то видел такую дивную траву — быть может, во сне. И окружающий пейзаж тоже казался

Нигглю знакомым. Да, точно — вот сейчас дорога выровняется. А теперь, конечно, снова подъем. Вдруг огромная зеленая тень заслонила солнце. Ниггль поднял глаза — и свалился с велосипеда.

Перед ним стояло Дерево, его Дерево, полностью законченное. Если, конечно, так можно сказать о живом Дереве: листья его распускались на глазах, а ветви вырастали и трепетали под ветром — именно так, как ощущал и представлял себе Ниггль. Сколько раз он пытался это передать — но тщетно. Ниггль, не сводя глаз с дерева, медленно раскинул руки.

— Это дар! — воскликнул он. Это восклицание относилось и к его искусству, и к результату. Но сейчас Ниггль употребил это слово в его прямом смысле.

Он все смотрел и смотрел на Дерево. Там были все листья, над которыми он когда-либо трудился, — такие, какими он их себе представлял, а не такие, какими ему удалось их передать; и те, что лишь возникали в его воображении, и множество тех, которые Ниггль мог бы вообразить, если бы у него хватило времени. Листья не были подписаны — это были просто красивые безымянные листья, — и все же Ниггль мог бы точно сказать, когда создан каждый из них. Несколько

самых прекрасных листьев — и причем самых типичных, самых совершенных образчиков стиля Ниггля, — были явно созданы в сотрудничестве с мистером Пэришем — по крайней мере, иначе не скажешь.

На Дереве гнездились птицы. Удивительные птицы. Как они пели! Они спаривались, высиживали птенцов, а те вставали на крыло и с песнями улетали в Лес — и все это происходило на глазах у Ниггля. Только теперь он заметил, что Лес тоже тут — тянется в обе стороны и уходит вдаль. А за ним сверкали Горы.

Через некоторое время Ниггль свернул к Лесу. Не то чтобы он устал от Дерева — нет! — но Ниггль уже успел полностью охватить его взглядом и теперь представлял его себе все целиком — как оно растет, как меняется, — даже не видя. Отправившись дальше, Ниггль обнаружил странную вещь: Лес, конечно, был далеким, но к нему можно было приблизиться и даже войти в него, и от этого его чары не развеивались. Прежде Нигглю никогда не удавалось вступить в дальние дали, не превратив их в самые обычные окрестности. Это придавало прогулке особое очарование: здесь по мере продвижения вперед перед вами раскрывались всё новые и новые горизонты

— двойные, тройные и даже четверные, вдвое, втрое, вчетверо заманчивее. Здесь можно было идти и идти, и при этом вся эта огромная страна помещалась в саду — или в картине, если вам так проще и понятнее. Вперед и вперед — хотя, наверное, не до бесконечности, потому что на горизонте высились Горы. Они приближались, но очень медленно. Казалось, они не из этой картины — они только связывали ее с чем-то иным — с чем-то б*о*льшим. Но это была уже другая картина.

Ниггль бродил по округе. Но он не просто бил баклуши. Он внимательно осматривался по сторонам. Дерево было завершено, хотя и не закончено. «Вот теперь все с точностью до наоборот!» — подумал про себя Ниггль, но в Лесу еще оставалось множество мест, над которыми нужно было поразмыслить и потрудиться. Здесь не было ничего неправильного и ничего не требовалось изменять, но лишь продолжать и развивать — и Ниггль точно знал, как именно.

Ниггль уселся под большим, изумительно красивым, не слишком подробно выписанным деревом — оно было нарисовано по образцу Большого Дерева, но все же обладало своим, особым характером, который непременно проявится,

если немного постараться, — и принялся обдумывать, с чего начать работу, чем закончить и сколько времени на это потребуется. Но план как-то не выстраивался.

— Ну конечно же! — воскликнул Ниггль. — Мне нужен Пэриш! Здесь надо разбираться в земле, растениях и деревьях. Я в этом ничего не смыслю, а он как раз смыслит. Ведь тут же не мой личный парк. Мне нужна помощь и совет; жаль, я раньше этого не понимал.

Ниггль встал и отправился к тому месту, с которого решил начать работу. Он снял куртку. И тут в небольшой тенистой ложбине Ниггль заметил человека, который растерянно оглядывался по сторонам. Он опирался на лопату, но явно не понимал, что ему делать.

— Пэриш! — окликнул его Ниггль.

Пэриш закинул лопату на плечо и зашагал ему навстречу. Он все еще чуть-чуть прихрамывал. Они не стали разговаривать — просто кивнули другу другу, как обычно делали, встречаясь на улице. Но дальше они пошли, взявшись за руки. Они без лишней болтовни договорились, где следует поставить маленький домик и разбить сад — сад непременно понадобится!

И теперь, пока они работали вместе, стало ясно,

что теперь из них двоих Ниггль лучше умеет распоряжаться временем и планировать работу. Как ни странно, именно Ниггль уделял больше времени постройке дома и разбивке сада, в то время как Пэриш частенько отвлекался, чтобы полюбоваться на деревья, и в особенности на Большое Дерево.

В один прекрасный день Ниггль трудился, высаживая живую изгородь, а Пэриш лежал рядом на травке и внимательно рассматривал прехорошенький желтый цветок. В свое время — давным-давно — Ниггль насадил множество таких цветов у подножия Дерева. Внезапно Пэриш поднял голову: его лицо сияло под солнцем и он улыбался.

— Это великолепно! — воскликнул он. — На самом-то деле мне не полагалось быть здесь. Спасибо, что ты замолвил за меня словечко.

— А, чепуха! — отмахнулся Ниггль. — Не помню, что уж там я сказал, но в любом случае от меня-то ничего не зависело.

— Да нет же, зависело, — возразил Пэриш. — Благодаря этому меня отпустили пораньше. Этот Второй Голос — ну, ты его знаешь — велел послать меня сюда. Сказал, что ты хотел повидаться со мной. Так что я перед тобой в долгу.

— Нет. Ты в долгу перед Вторым Голосом, — сказал Ниггль. — Мы оба перед ним в долгу.

Так они и жили и трудились вместе — уж не знаю точно, как долго это продолжалось. Нельзя отрицать, что в первое время они иногда ссорились, особенно когда уставали, — а поначалу они и вправду иногда уставали. Как выяснилось, их обоих снабдили укрепляющим средством. На бутылках красовалась одинаковая этикетка: «Растворить несколько капель в воде из Родника и выпить перед отдыхом».

Они отыскали Родник в глубине Леса: Ниггль его как-то раз представил, но так и не нарисовал. Теперь он понял, что Родник питал озеро, поблескивающее в отдалении, и всю окрестную растительность. Несколько капель тонизирующего снадобья придавали воде чуть горьковатый, вяжущий и в то же время бодрящий вкус — от этой смеси прояснялось в голове. Выпив ее, они отдыхали поодиночке, а потом снова вставали и радостно принимались за дело. В такие моменты Ниггль придумывал новые прекрасные цветы и растения, а Пэриш всегда точно знал, как их нужно сажать и какое место для них лучше всего подойдет. Еще задолго до того, как укрепляющее средство закончилось, Ниггль и Пэриш поняли,

что больше в нем не нуждаются. Пэриш больше не хромал.

По мере того как работа приближалась к концу, Ниггль и Пэриш все чаще позволяли себе просто бродить по лесу, любуясь деревьями и цветами, формами и красками и всем вокруг. Иногда они пели дуэтом. Но Ниггль обнаружил, что его взгляд все чаще и чаще обращается к Горам.

И вот настало время, когда дом в ложбинке, сад, трава, лес, озеро — словом, все окрестности — почти обрели завершенность и все стало именно таким, каким ему надлежало быть. Большое Дерево стояло в полном цвету.

— Сегодня вечером мы все закончим, — сказал однажды Пэриш. — А потом сможем погулять в свое удовольствие.

На следующий день они отправились в путь и шли все вдаль и вдаль до тех пор, пока не добрались до Грани. Конечно же, она была невидимой — там не было ни борозды, ни забора, ни стены. Но путники знали, что пришли к границе этой местности. Им навстречу с зеленого, уводящего к горам косогора спускался человек, похожий на пастуха.

— Вам нужен провожатый? — спросил он. — Вы хотите идти дальше?

На мгновение между Нигглем и Пэришем пролегла тень: Ниггль понял, что действительно хочет идти дальше и, в определенном смысле слова, даже должен идти. А Пэриш идти не хотел и пока что не был к тому готов.

— Мне надо подождать жену, — сказал Пэриш Нигглю. — Ей ведь будет очень одиноко… Я почти уверен, что ее рано или поздно пришлют сюда, когда она будет готова и когда я все тут для нее подготовлю. Дом теперь достроен, и мы сделали все что могли, но мне очень хотелось бы показать все это жене. Мне кажется, она сможет тут многое улучшить — придать уютности. Я надеюсь, ей тут тоже понравится. — Пэриш повернулся к пастуху. — А вы — проводник? — спросил он. — Вы не подскажете, как называются эти места?

— А разве вы не знаете? — удивился проводник. — Край Ниггля. Это Картина Ниггля — по крайней мере б*о*льшая часть этой местности. Ну, и еще немного Сад Пэриша.

— Картина Ниггля?! — изумленно воскликнул Пэриш. — Так значит, это ты все это придумал? Вот уж думать не думал, что ты такой умный! Что ж ты мне-то не сказал?

— Когда-то давно он пытался вам об этом сказать, — заметил пастух, — но вы не слушали.

Тогда он располагал лишь холстом и красками, а вы хотели залатать ими свою крышу. Вы с женой обычно называли все это «Нигглевой чепухой» или «той мазней».

— Но ведь она выглядела совсем не так, как тут, она не была такой… такой настоящей… — пробормотал Пэриш.

— Да, она была всего лишь отблеском здешней картины, — согласился пастух, — но вы могли бы уловить этот отблеск, если бы вам хоть раз пришло в голову попытаться.

— Ну, это уж я сам виноват, — вмешался Ниггль. — Я ведь даже не пытался тебе ничего объяснять. Про себя я называл тебя Старым Кротом. Да и какая разница? Мы жили и работали здесь вместе. Все могло сложиться иначе, но вряд ли — лучше. Но, боюсь, я все-таки должен идти. Думаю, мы с тобой еще встретимся — мы еще много чего сможем сделать вместе. Счастливо!

Он от души пожал Пэришу руку. Рука была сильная и надежная. На мгновение Ниггль обернулся и посмотрел назад. Цветущее Большое Дерево сияло подобно пламени. Вокруг него летали и пели птицы. Потом Ниггль улыбнулся, кивнул Пэришу и зашагал прочь вместе с пастухом.

Ему предстояло побольше узнать об овцах и

горных пастбищах, смотреть на бескрайнее небо и идти вперед, все дальше и выше в Горы. А что с ним было потом, я не знаю. Даже Ниггль, маленький человек, сидя в своем старом доме, мог уловить отблеск дальних Гор, и они возникли на заднем плане его картины. Но на что они похожи на самом деле и что лежит за ними, может сказать лишь тот, кто поднимется на них сам.

— Я так считаю, он был просто глупцом, — изрек Советник Томпкинс. — Даже хуже того: он был совершенно бесполезен для Общества.

— Ну, не знаю… — протянул Аткинс. Аткинс не был важной особой — всего лишь простой школьный учитель. — Я в этом не уверен. Все зависит от того, что вы подразумеваете под пользой.

— Он не приносил ни практической, ни экономической пользы. — сказал Томпкинс. — Осмелюсь заявить, из него могло бы выйти что-нибудь путное, если бы вы, школьные учителя, знали свое дело. Но вы его не знаете. Вот потому и вырастают бесполезные люди вроде Ниггля. Если бы этой страной управлял я, я бы взял таких, как Ниггль, и приставил их к какой-нибудь работе, на которую они годятся, — мыть посуду в общественных столовых или еще что-нибудь в том же духе. И присматривал бы, чтобы они работали

как следует. Или избавился бы от них. От Ниггля я бы уж давным-давно избавился!

— Избавились? Вы хотите сказать, что заставили бы его отправиться в путешествие до срока?

— Именно так, если вам угодно употреблять это бессмысленное устаревшее выражение. Выбросил бы его через туннель на Великую Помойку — вот что я имел в виду.

— Так значит, вы думаете, что живопись ничего не стоит? Что она недостойна того, чтобы ее хранили, развивали или хотя бы для чего-нибудь использовали?

— Конечно же, живопись полезна, — сказал Томпкинс. — Но от живописи Ниггля никакой пользы нет и быть не могло. Для смелых молодых людей, которые не боятся новых идей и новых методов, в живописи открывается широкий простор. Но на что годится эта его старомодная мазня? Пустые фантазии, вот и все. Этот ваш Ниггль даже под страхом смерти не смог бы нарисовать приличного плаката. Все возился с какими-то листочками да цветочками. Я его как-то раз спросил, зачем он это делает. И знаете, что он мне сказал? Они, дескать, славные! Представляете? Так и сказал — «славные»! Я его спросил: «Это органы размножения и пищеварения растений

— славные?» Он так и не нашелся, что ответить! Пустозвон, одно слово.

— Пустозвон… — вздохнул Аткинс. — Бедолага, он так и не дописал ни одной картины. А после его отъезда все его холсты «пустили в дело». Но знаете, Томпкинс, я не уверен, что они ни на что не годились. Помните большую картину — ту самую, которую использовали для ремонта соседнего дома, когда он пострадал от сильного ветра и его залило? Я нашел на земле оторвавшийся уголок. Он пострадал, но изображение вполне можно было разобрать: горный пик и ветвь, покрытая листьями. Он никак не идет у меня из головы.

— Из чего, простите? — переспросил Томпкинс.

— О чем это вы? — вмешался Перкинс, видя, что они вот-вот поссорятся. Аткинс уже изрядно побагровел.

— А, да о нем и говорить-то не стоит! — заявил Томпкинс. — Я вообще не понимаю, с чего это вдруг мы принялись о нем толковать. Он даже не жил в нашем городе.

— Это так, — согласился Аткинс. — Но это не помешало вам положить глаз на его дом. Вы ведь частенько ходили к нему в гости, пили его чай и при этом насмехались над ним. Ну что ж, теперь вы получили его дом в придачу к вашему город-

скому особняку. Так что посовестились бы теперь хаять его имя. Если это вас интересует, Перкинс, мы говорили о Ниггле.

— Ох, бедняга Ниггль! — воскликнул Перкинс. — А я и не знал, что он красками баловался.

Возможно, это был последний раз, когда имя Ниггля всплыло в разговоре. Тем не менее Аткинс сохранил обрывок картины. Бо́льшая его часть осыпалась, но один прекрасный лист остался целехонек. Аткинс оправил его в рамочку. Впоследствии он подарил его Городскому Музею. Эта картина, подписанная «Лист. Работа Ниггля», довольно долго провисела в какой-то нише, и несколько человек даже обратили на нее внимание. Но в конце концов Музей сгорел дотла, и лист, а с ним и Ниггль навсегда исчезли из памяти этих мест.

— Это место и вправду оказывается очень полезным, — сказал Второй Голос. — Чтобы отдохнуть и поразвеяться. Для выздоравливающих оно подходит идеально. А для многих оно — наилучшее преддверие к Горам. В отдельных случаях просто чудеса свершает! Я отправляю туда все больше народа. Редко кому приходится возвращаться.

— Да, вы правы, — сказал Первый Голос. — Ду-

маю, нам стоит дать этой местности название. Что вы предложите?

— Об этом уже позаботился Кондуктор, — сообщил Второй Голос. — Он уже давно кричит: «Поезд до Нигглева-Пэриша подан!» Нигглев-Пэриш. Я им обоим написал об этом.

— И что же они сказали?

— Они оба рассмеялись. Рассмеялись — да так, что Горы зазвенели!

Приложение

О волшебных сказках

Я собираюсь рассказать о волшебных сказках, хотя отлично сознаю, что затея эта безрассудная. Фаэри — край опасный, есть там и ловушки для неосторожных, и темницы для чрезмерно дерзких. А к чрезмерно дерзким, пожалуй, можно причислить и меня, ибо хотя я люблю волшебные сказки с тех самых пор, как научился читать, и порою о них размышляю, профессионально я их не изучал. Я в той земле — не более чем странствующий исследователь (или нарушитель границ), исполненный изумления, — но знанием небогатый.

Царство волшебной сказки обширно, глубоко и высоко, и много чем изобильно: водятся там всевозможные птицы и звери, есть там безбрежные моря и бессчетные звезды, зачаровывающая красота и вездесущее зло; радость и скорбь, острые, как мечи. Забредший в это царство, пожалуй, и вправе почитать себя счастливцем — но изобилие и необычайность увиденного сковывают язык путника, что тщится о нем поведать. А пока

он там, не след ему задавать слишком много вопросов, а то ворота, чего доброго, захлопнутся и ключи потеряются.

Есть, однако, вопрос-другой, на которые докладчик, вознамерившийся рассказать о волшебных сказках, просто обязан ответить — или хотя бы попытаться, — чего бы уж там народ Фаэри не подумал о его нахальстве. Например: что такое волшебные сказки? Каково их происхождение? Для чего они нужны? Я попробую дать ответы на эти вопросы — или намеки на ответы, что мне удалось собрать по мелочи, — в первую очередь в самих сказках, мне известных, а известна мне среди великого множества лишь малая толика.

Волшебная сказка

Что такое волшебная сказка? Здесь обращаться к «Оксфордскому словарю английского языка» бесполезно. На словосочетание *fairy-story* там отсылок нет, да и вообще о фэйри мало что сказано. В Приложении приводится словосочетание *fairy-tale*, зафиксированное с 1750 года, и дается основное его значение: (*a*) сказка про фэйри или волшебное предание вообще; а также вторичные, дополнительные значения: (*b*) неправдоподобный, невероятный рассказ, и (*c*) ложь.

Два последних значения со всей очевидностью тему мою безнадежно бы расширили. А вот первое значение представляется чересчур узким. Не для эссе, нет; и для многих книг оно тоже достаточно широко, но вот словоупотребления как такового целиком не охватывает. Особенно если мы воспользуемся словарным определением слова «фэйри»: «Сверхъестественные существа миниатюрного размера; согласно народному поверью, обладают магическими способностями и оказывают большое влияние, благое или вредоносное, на жизнь человека».

«Сверхъестественный» — слово опасное и

непростое во всех его смыслах, и в более точном, и в более широком. Но к фэйри оно навряд ли применимо, разве что «сверх-» воспринимать просто-напросто как префикс превосходной степени. Ибо на самом-то деле сверхъестественен человек — в сравнении с фэйри (и зачастую уступает им ростом); они же — естественны, куда естественнее его. Такова их судьба. Дорога в страну фэйри — это дорога не в Рай и даже не в Ад, как я понимаю, хотя кое-кто считает, что она может окольным путем завести и туда, посредством Дьяволовой десятины.

Гляди – вон узкая тропа,
Что терниями заросла;
То – Добродетели стезя,
Не всякому она мила.

Гляди – широкий, торный путь
Лег через дол из края в край:
То путь Греха, хотя иным
Он видится Дорогой в Рай.

А видишь – тропка пролегла,
Где папоротники густы?
Она в Эльфландию ведет,

Где будем к ночи я и ты.

Что до *миниатюрности*: не отрицаю, в современном восприятии это представление и впрямь задает тон. Я частенько подумываю, что любопытно было бы попытаться выяснить, как так случилось; но для того чтобы дать определенный ответ, моих познаний недостаточно. Встарь в Фаэри и в самом деле попадались обитатели небольшого роста (хотя вряд ли миниатюрные), но в целом этот народ низкорослостью не отличался. Миниатюрные существа, эльфы и фэйри, в Англии (как мне кажется) — по большей части изощренный продукт литературного вымысла[43]. Наверное, само собою разумеется, что в Англии — в стране, где в искусстве вновь и вновь возрождается любовь к рафинированной утонченности, вымысел и в вопросе фэйри обращается к изящной миниатюрности, как во Франции устремился ко двору и украсился пудрой и бриллиантами. Однако подозреваю, что эта

[43] Примечания: 43

Я говорю о том, что происходило задолго до всплеска интереса к фольклору других стран. Слова английского языка, такие как *elf* [эльф], издавна находились под влиянием французского (из которого заимствованы слова *fay* [фея] и *faërie, fairy* [фаэри, фэйри]; но в более поздние времена, благодаря их использованию в переводах, слова «фэйри» и «эльф» вобрали в себя атмосферу немецких, скандинавских и кельтских преданий и многие характеристики *huldu-fólk, daoine-sithe* и *tylwyth teg*.

цветочно-мотыльковая мелкота в придачу еще и продукт «рационализации», преобразовавшей чары Эльфландии просто-напросто в прихотливую изысканность, а невидимость — в хрупкость созданьиц, способных схорониться в чашечке калужницы или затаиться за травинкой. По всей видимости, подобная трактовка вошла в моду вскоре после того, как благодаря великим путешествиям мир впервые показался слишком тесен, чтобы вместить и людей, и эльфов; когда волшебная земля Хи Бресал[44] на Западе стала просто Бразилией, землей красного дерева. В любом случае это — главным образом дела литературные, где сыграли свою роль Уильям Шекспир и Майкл Дрейтон[45]. «Нимфидия» Дрейтона — родоначальница той долгой череды цветочных феечек и порхающих эльфиков с усиками, которых я не выносил в детстве и которых мои собственные дети, в свой черед, терпеть не могли. Эндрю Лэнг испытывал сходные чувства. В предисловии к «Сиреневой книге сказок» он ссылается на сказки

[44] Примечания: 44

О вероятности того, что ирландский Хи Бресал повлиял на название Бразилии, см. Нансен, «В северных туманах», ii, 223–230.

[45] Примечания: 45

Их влияние Англией не ограничилось. Немецкое слово *Elf*, *Elfe*, по всей видимости, заимствовано из «Сна в летнюю ночь» в переводе Виланда (1764).

скучных современных авторов: «…Они всегда начинаются с того, что маленький мальчик или девочка выходят погулять и встречают феечку гардении, или примулы, или яблоневого цвета… Эти феечки пытаются казаться смешными — но тщетно; либо пытаются поучать — и в том преуспевают».

Но, как я уже сказал, такая трактовка возникла задолго до XIX века и наскучила задолго до того — беспомощными потугами насмешить так уж точно наскучила. «Нимфидия» Дрейтона, если рассматривать ее как волшебную сказку (то есть сказку про фэйри), — одна из худших когда-либо написанных. Во дворце Оберона стены сложены из паучьих лапок,

Взамен стекла в оконной нише —
Кошачьи глазки; ну а крыша —
Из крылышек летучей мыши.

Рыцарь Пигвигген разъезжает верхом на норовистой уховертке и шлет своей возлюбленной королеве Маб браслет из мурашиных глаз, а свидание назначает в цветке калужницы. Однако сама сказка, напичканная всеми этими красивостями, сводится к занудной любовной интрижке и происка хитрых сводней; благородный ры-

царь и разгневанный супруг проваливаются в трясину, и ярость их успокаивает глоток воды из реки Леты. И лучше бы Лета поглотила все их амуры разом. Да, возможно, что Оберон, Маб и Пигвигген — миниатюрные эльфы или фэйри, а вот Артур, Гвиневера и Ланселот — нет; но история о дворе короля Артура — история о добре и зле — «волшебная сказка» куда в большей степени, нежели эта повесть об Обероне.

«Фэйри» как существительное, более или менее синонимичное слову «эльф», — слово сравнительно современное и вплоть до эпохи Тюдоров практически не использовалось. Самая ранняя цитата в «Оксфордском словаре» (единственная зарегистрированная до 1450 года от Р. Х.) весьма примечательна. Это строки из поэмы Гауэра: «as he were a faierie» («как если бы он был фэйри»). Но этого Гауэр не говорил. У Гауэра — «as he were of faierie», «как если бы он явился из Фаэри». Гауэр описывает молодого щеголя, который тщится околдовать сердца девиц в церкви.

На холеные кудри лег
Венца чеканный ободок
Или венок, хитро сплетенный
Из веток и листвы зеленой, —

Благоуханный дар дерев;
Гость пожирает взглядом дев,
Как ястреб, что, завидев птицу,
К добыче с высоты стремится,
И пыль в глаза пускает он,
Так, словно в Фаэри рожден[46].

Это — смертный юноша из плоти и крови; но он куда лучше иллюстрирует собою обитателей Эльфландии, нежели описание «фэйри», под которое он в результате двойной ошибки отнесен. Ибо беда с настоящими жителями Фаэри в том, что они не всегда выглядят под стать истинной своей сущности и являются взору прекрасными и гордыми — от такого обличья мы бы и сами не отказались. По крайней мере та магия, которой они пользуются на благо или горе человеку, отчасти сводится к способности играть на желаниях плоти и сердца человеческого. Королева Эльфландии, что умчала Томаса Рифмача на своем белоснежном скакуне, обгоняющем ветер, выехала к Эйлдонскому дереву в обличье дамы, пусть и чарующе-прекрасной. Так что Спенсер держался в рамках истинной традиции, когда называл ры-

---

[46] Примечания: 46
«Confessio Amantis», стих 7065 и далее.

царей своей Фаэри эльфами. Это название скорее пристало таким рыцарям, как сэр Гюйон, нежели Пигвиггену, вооруженному шершневым жалом.

А теперь, хотя я лишь затронул (и то без особого толку) вопрос об *эльфах и фэйри*, мне должно вернуться назад; ибо я чересчур уклонился от избранной мною темы: волшебные сказки. Я уже сказал, что значение «истории про фэйри» представляется чересчур узким[47]. Оно и впрямь узко, даже если вычеркнуть подробность касательно миниатюрности, потому что волшебные сказки в стандартном английском словоупотреблении — это не истории *про* фэйри или эльфов, но истории про Фэйри, то есть Фаэри, страну или королевство, где фэйри обитают. *Фаэри* содержит в себе немало всего помимо эльфов и фей, помимо гномов, ведьм, троллей, великанов или драконов; там есть моря, солнце, луна, небо; и еще земля и все, что на ней: дерева и птицы, вода и камень, вино и хлеб и мы сами, смертные люди, когда находимся под властью чар.

---

[47] Примечания: 47

За исключением особых случаев, таких как сборники валлийских или гэльских преданий. В таковых истории про «прекрасное семейство» или народ ши порою выделяются в особую группу «сказок про фэйри» в отличие от «народных сказок», повествующих об иных чудесах. В этом значении «волшебные сказки» либо «волшебный фольклор» — это обычно короткие рассказы о появлениях «фэйри» либо об их вмешательстве в дела людей. Но это различие — лишь следствие перевода.

Истории, в которых речь идет главным образом о «фэйри», то есть о созданиях, которых на современном английском языке можно назвать «эльфами», довольно редки и, как правило, не особо интересны. Большинство действительно хороших «волшебных сказок» посвящены *приключениям* людей в Опасной Стране либо на ее сумеречных границах. И это только естественно; ибо если эльфы существуют, и существуют в действительности независимо от наших сказок о них, тогда истина и то, что эльфам по большей части до нас нет дела, равно как и нам — до них. Наши судьбы разошлись; наши пути редко пересекаются. Даже на границах Фаэри мы сталкиваемся с ними лишь по чистой случайности[48].

Определение волшебной сказки — что это такое или какой она должна быть — зависит, таким образом, не от определения или каких-либо исторических свидетельств касательно эльфов и фэйри, а от природы *Фаэри*: Опасной Страны как таковой и воздуха той земли. Я не стану пытаться определять ее и даже описывать ее напрямую.

---

[48] Примечания: 48

И это тоже чистая правда, даже если эльфы — лишь создания человеческого разума, «правда» как способ отражения одного из представлений Человека об Истине.

Это невозможно. Нельзя уловить Фаэри в тенета слов; ибо одно из свойств Фаэри состоит в том, что описанию Фаэри не поддается, хотя восприятию — вполне. Фаэри включает в себя многие составляющие, но посредством анализа секрет целого, скорее всего, не раскроешь. Однако, надеюсь, то, что я поведаю далее, отвечая на другие вопросы, даст некоторое представление о моем собственном несовершенном видении Фаэри. А пока скажу лишь одно: «волшебная сказка» — это сказка, в которой упоминается или присутствует Фаэри, уж каков бы ни был ключевой замысел этой сказки: сатира, приключения, нравоучение или фантазия. Само понятие «Фаэри», пожалуй, точнее всего возможно истолковать как Магию[49] — но это магия особого настроя и силы, диаметрально противоположная пошлым ухищрениям усердного работяги, ученого и фокусника. Есть лишь одно условие: если в сказке присутствует сатира, потешаться нельзя над одним: самой магией. К ней в пределах сказки должно относиться со всей серьезностью — ее нельзя ни высмеивать, ни объяснять. Превосходный пример подобной серьезности — средневековая поэма «Сэр Гавейн

[49] Примечания: 49
См. ниже.

и Зеленый Рыцарь».

Однако даже если мы задействуем только эти нечеткие, неопределенно сформулированные ограничения, становится ясно, что многие, и даже самые сведущие в таких материях люди употребляют термин «волшебная сказка» крайне небрежно. Достаточно одного взгляда на современные издания — так называемые сборники «волшебных сказок», чтобы убедиться, что сказки о фэйри, о любом из домов «прекрасного семейства» и даже о гномах и гоблинах — лишь небольшая часть их содержания. Этого, как мы уже убедились, и следовало ожидать. Однако в придачу эти книги содержат немало сказок, в которых Фаэри вообще отсутствует и не упоминается даже вскользь; сказки, которые на самом деле вообще включать не следовало.

Я приведу один-два примера подлежащих изъятию образчиков. Это поможет нам дать определение «от противного». А также, как выяснится, подведет нас ко второму вопросу: каково происхождение волшебных сказок?

На сегодняшний день существует огромное количество сборников сказок. В Англии, пожалуй, ни один из них не сравнится по популярности, по широте охвата и по добротности в целом с две-

надцатью книгами двенадцати разных цветов, которыми мы обязаны Эндрю Лэнгу и его жене. Первая из них увидела свет более пятидесяти лет назад (в 1889 году) и по-прежнему переиздается. И содержание ее по большей части выдерживает испытание — с большей или меньшей степенью очевидности. Анализировать эти книги я не буду, при том что это было бы небезынтересно, — просто отмечу мимоходом, что в «Синей книге сказок» ни одна из таковых не посвящена в первую очередь «фэйри» и очень немногие вообще о них упоминают. Большинство сказок заимствованы из французских источников; выбор вполне оправданный на тот момент, а возможно, что и по сей день (хотя сам я никогда их не любил, ни сейчас, ни в детстве). Во всяком случае, столь велико было влияние Шарля Перро с тех пор, как его «Les Contes de ma mère l'Oye» в XVIII веке впервые перевели на английский, и других подобных же выдержек из богатой сокровищницы «Cabinet des Fées», завоевавших широкую известность, что и сегодня, сдается мне, если попросить кого-нибудь назвать наугад типичную «волшебную сказку», он скорее всего назовет что-нибудь французское: скажем, «Кота в сапогах», «Золушку» или «Красную Шапочку».

Другим, возможно, первыми придут в голову «Волшебные сказки братьев Гримм».

Но что можно сказать о наличии в «Синей книге сказок» «Путешествия в Лилипутию»? Я скажу вот что: это — *не* волшебная сказка ни по замыслу автора, ни в том «сокращенном» усилиями мисс Мэй Кендалл варианте, что приводится в сборнике. «Путешествию» там вообще не место. Боюсь, что его включили только потому, что жители Лилипутии малы, даже миниатюрны — только этим, собственно, они и примечательны. Но малый рост в Фаэри, как и в нашем мире, — это лишь побочное обстоятельство. Пигмеи ничуть не ближе к фэйри, чем патагонцы. Я отбрасываю эту историю не по причине сатирической направленности; в бесспорных волшебных сказках сатира содержится вкраплениями или по всему тексту; а в народных сказках сатира, возможно, зачастую подразумевалась там, где сегодня мы ее уже не разглядим. Я отбрасываю эту историю потому лишь, что произведение, в котором сатира использована как художественный прием, при всей блистательности вымысла принадлежит к жанру рассказов о путешествиях. В таких рассказах повествуется о многих чудесах, но чудеса эти — из тех, что случаются в нашем, смертном

мире, в какой-либо области нашего собственного времени и пространства; сокрыты они только благодаря расстояниям. Рассказы Гулливера имеют не больше права попасть в сказочный сборник, нежели байки барона Мюнхгаузена; или чем, скажем, «Первые люди на Луне» и «Машина времени». Более того, элои с морлоками там куда уместнее лилипутов. Лилипуты — самые обыкновенные люди, на которых сардонически взирают сверху вниз с высоты крыш. Элои и морлоки живут в дальней дали, во временной бездне настолько глубокой, чтобы на них пали своего рода чары; а ежели они и являются нашими потомками, так неплохо бы вспомнить, что некий древнеанглийский мыслитель возводил происхождение *ylfe*, эльфов как таковых, через Каина — к Адаму[50]. Эти чары расстояний, особенно удаленности во времени, ослабляет лишь абсурдная и неправдоподобная Машина Времени как таковая. Но на этом примере мы видим одну из ключевых причин, из-за которых границы волшебной сказки неизбежно размыты. Магия Фаэри — не самоцель, ее ценность — в ее воздействии, и в том числе — в удовлетворении неких исконных

[50] Примечания: 50
«Беовульф», 111–112.

человеческих желаний. Одно из таких желаний — охватить взглядом бескрайние пределы пространства и времени. Еще одно (как мы увидим далее) — вступить в общение со всем, что есть живого. Таким образом, повествование может иметь дело с удовлетворением этих стремлений, с помощью или без помощи техники либо магии, и в зависимости от степени успеха приобретет свойства и привкус волшебной сказки.

Далее, после рассказов о путешествиях, я бы также исключил и вычеркнул любую историю, что для объяснения мнимых чудес задействует механику Сна — видений, что грезятся спящему. По крайней мере даже если пересказанный сон во всех прочих отношениях сам по себе — волшебная сказка, все в целом я бы счел серьезной неудачей: как если бы хорошую картину вставили в обезображивающую раму. Нет, Сон не то чтобы вовсе не связан с Фаэри. В снах порою обретают свободу странные свойства разума. В иных человек на какое-то время обретает могущество Фаэри — то могущество, что, порождая повествование, одновременно наделяет его зримой жизнью, формой и цветом. Настоящий сон и впрямь порою может оказаться волшебной сказкой, созданной с искусством и легкостью про-

сто-таки эльфийскими, — до тех пор, пока длится. Но если бодрствующий автор говорит вам, что его сказка — это лишь нечто, пригрезившееся во сне, он намеренно лукавит, обманывая исконное желание, заложенное в самом сердце Фаэри: желание, чтобы воображаемое чудо, независимо от созидающего разума, воплотилось наяву. Про фэйри частенько рассказывают (правда это или нет, не знаю), будто они, мастера иллюзий, дурачат людей при помощи «фантазии»; но это нечто совсем иное. Это их дело. В любом случае такое надувательство имеет место в сказках, где сами фэйри отнюдь не иллюзорны; а за фантазией стоят реальные силы и реальная воля, не зависимые от людских целей и замыслов.

Так или иначе, подлинная волшебная сказка — в отличие от использования этой формы в менее серьезных, сниженных целях — непременно должна подаваться как «истина». Значение слова «истина» в этом контексте я сейчас рассмотрю. Но поскольку волшебная сказка имеет дело с «чудесами», она не терпит рамок или машинерии, подразумевающих, что вся история, в пределах которой чудеса случаются, — это лишь выдумка или иллюзия. Разумеется, сама сказка может оказаться настолько хороша, что на рамку закроешь

глаза. Или же история может получиться удачной и забавной именно как видение-сон. Такова «Алиса» Льюиса Кэрролла — в обрамлении сна и с переходами от сна к реальности. Именно поэтому (и в силу иных причин) это — не волшебная сказка[51].

И еще одну разновидность сказок о чудесном я исключил бы из разряда «волшебных сказок», и опять отнюдь не потому, что мне они не нравятся: а именно, «сказки о животных» в чистом виде. Возьмем пример из Лэнга: «Сердце обезьяны», суахилийскую сказку, приведенную в «Сиреневой книге сказок». В этой истории злая акула заманивает обезьяну прокатиться на своей спине и на полпути к своему царству сообщает: султан той страны захворал и, чтобы исцелиться, ему требуется съесть сердце обезьяны. Однако обезьяна перехитрила акулу и заставила отвезти себя назад под предлогом, что сердце якобы осталось дома — висит в мешке на дереве.

Сказка о животных, безусловно, с волшебными сказками отчасти связана. В настоящих волшебных сказках звери, птицы и прочие существа порою разговаривают как люди. В известной

---

[51] Примечания: 51
См. *Примечание А* в конце.

степени (зачастую в очень небольшой) это чудо восходит к одному из исконных «желаний», заключенных едва ли не в самом сердце Фаэри: к стремлению людей общаться с иными живыми существами. Однако говорящие звери в сказках о животных, развившихся в отдельную категорию, к этому желанию отношения почти не имеют; зачастую о нем вообще никто не вспоминает. Волшебная способность людей понимать язык птиц, зверей и деревьев к истинной сути Фаэри куда ближе. Но истории, в которых люди вообще не задействованы или где в роли героев и героинь выступают животные, а мужчины и женщины если и появляются, то лишь в дополнение к ним, а главное — все те, в которых звериное обличье, — это лишь маска, скрывающая лицо человеческое, прием сатирика или проповедника; все они — сказки о животных и никак не волшебные сказки, будь то «Ренар Лис», или «Рассказ Монастырского Капеллана», или «Братец Кролик», или там «Три поросенка». Сказки Беатрикс Поттер находятся у самой границы Фаэри — но по большей части, как мне кажется, с внешней

стороны[52]. Их близость объясняется главным образом наличием ярко выраженной морали: под таковой я разумею мораль, заложенную в самой основе, а не аллегорическое *significatio*. Но «Кролик Питер», хотя в этой сказке и содержится запрет и хотя в волшебной стране запреты тоже есть (как, наверное, во всей вселенной на каждом плане и во всех измерениях), остается сказкой о животных.

«Сердце обезьяны» со всей очевидностью тоже — не более чем сказка о животных. Подозреваю, что в «Книгу сказок» ее включили в первую очередь не ради ее занимательности, но именно в силу того факта, что сердце обезьяны якобы осталось дома в мешке. Для Лэнга, знатока фольклора, это было важно, даже при том, что этот любопытный мотив здесь использован лишь в шутку; ибо в данной сказке с обезьяньим сердцем все в полном порядке и находится оно где ему и полагается — в груди. Тем не менее эта подробность — лишь вторичное использование древнего и весьма широко распространенного фольклорного представления, которое в волшебных сказках

[52] Примечания: 52

«Глостерский портняжка», пожалуй, ближе всех прочих. «Миссис Тигги-мигл» тоже оказалась бы не дальше, если бы не намек на объяснение через сон. К сказкам о животных я также отнес бы «Ветер в ивах».

в самом деле встречается[53]: представления о том, что жизнь или сила человека или любого другого существа может быть заключена в каком-то ином месте или предмете; либо в отдельной части тела (особенно в сердце), которую нетрудно отделить и спрятать в мешке, или под камнем, или в яйце. На одном конце зафиксированной истории фольклора эту идею использовал Джордж Макдональд в своей сказке «Великанье сердце», центральный мотив которой (равно как и многие другие подробности) заимствован из популярных народных сказок. На другом конце — пожалуй, одна из древнейших сохранившихся в записи историй, «Сказка о двух братьях», содержащаяся в египетском папирусе д'Орсиньи. Младший брат говорит старшему:

> «Я заколдую мое сердце и положу его в цветок кедра. Кедр срубят, сердце мое упадет на землю – приходи искать его, даже если семь лет затратишь ты на поиски; но как только отыщешь сердце, положи его в чашу с холодной водой, и, воистину,

[53] Примечания: 53

Таковы, например, «Бессердечный великан» в «Скандинавских народных сказках» Дейзента; или «Русалочка» в «Народных сказках западных нагорий» Кэмпбелла (№ iv, ср. также № i); или менее к ним близкий «Хрустальный шар» у братьев Гримм.

оживу я»[54].

Но эта любопытная подробность и сопоставления такого рода ненавязчиво подводят нас ко второму вопросу: каково происхождение «волшебных сказок»? Разумеется, речь идет об истоке или истоках волшебных, связанных с фэйри элементов. Спрашивать о происхождении историй (какой бы то ни было разновидности) — все равно что спрашивать о происхождении языка или разума.

[54] Примечания: 54
Бадж, «Египетские тексты для чтения», с. xxi.

Происхождение

Собственно говоря, вопрос: «Каково происхождение волшебного элемента?» в итоге приводит нас к той же ключевой проблеме; при том, что волшебные сказки содержат в себе немало элементов (как, например, пресловутое вынимаемое сердце или одежды из лебяжьих перьев, магические кольца, необъяснимые запреты, злые мачехи и даже сами фэйри), которые возможно изучать, не отвечая на основной вопрос. Однако такого рода изыскания носят научный характер (по крайней мере на это претендуют); они — хлеб насущный фольклористов и антропологов, то есть тех, кто использует сказки не по назначению, но как источник тех или иных сведений или информации по интересующим их темам. Методика сама по себе абсолютно правомерная — но при этом, не зная или забывая о сути сказки (как законченного, самодостаточного повествования), подобные исследователи зачастую приходят к странным выводам. Ученым такого сорта повторяющиеся сходные черты (как, например, пресловутый мотив с сердцем) представляются особенно важными. Настолько, что фольклори-

сты склонны сбиваться с пути истинного или изъясняться обманчивой «стенографией» — тем более обманчивой, если она переходит со страниц их монографий в литературоведческие труды. Эти ученые склонны утверждать, что любые две истории, основанные на одном и том же фольклорном мотиве либо представляющие собою в целом сходную комбинацию подобных мотивов, — это «одна и та же история». Мы читаем, что «Беовульф» — «всего-навсего пересказ “Подземного человечка”», что «Черный Бык Норроуэйский» — это не что иное, как «Красавица и Чудовище» либо «та же самая история, что “Эрот и Психея”»; что норвежская «Дева-управляющий» (или гэльская «Битва птиц»[55] и ее всевозможные разновидности и варианты) — «та же самая история, что и греческое предание о Язоне и Медее».

Утверждения такого рода порою и впрямь содержат в себе (в неподобающе упрощенном виде) долю истины; но применительно к волшебным сказкам они правдой не являются, равно как и в контексте искусства или литературы. Именно колорит, атмосфера, не поддающиеся классификации частные детали, а главное — общий

[55] Примечания: 55
См. Кэмпбелл, там же, т. I.

смысл, наполняющий жизнью неразъятый костяк сюжета, — вот что на самом деле важно. Шекспировский «Король Лир» — отнюдь не то же самое, что история, которую рассказывает Лайамон в своем «Бруте». Или, например, взять крайний случай «Красной Шапочки»: то, что всевозможные пересказы этой истории, согласно которым девочку спасают дровосеки, напрямую заимствованы из сказки Перро, где волк ее все-таки съедает, не особенно важно. А действительно важно то, что в более поздней версии конец счастливый (более или менее, если не слишком горевать о бабушке), а у Перро — нет. И это — различие глобальное, к нему я еще вернусь.

Я никоим образом не отрицаю, сколь завораживает желание разъединить прихотливо переплетенные, пустившие множество отростков ветви на Древе Сказок, — я и сам ощущаю его неодолимую власть. Это желание тесно связано с филологическими исследованиями спутанной пряжи Языка — с их отдельными небольшими фрагментами я знаком и сам. Но даже в лингвистическом смысле мне кажется, что основное качество и свойства отдельно взятого языка в данный момент куда важнее уловить и куда труднее выявить, нежели проследить его линейную

историю. Вот так же и с волшебными сказками — я чувствую, что куда интереснее и по-своему куда труднее попробовать понять, что они такое, чем для нас стали и какие ценные качества обрели благодаря затяжным алхимическим процессам времени. Повторяя Дейзента, скажу: «Нам должно довольствоваться супом, перед нами выставленным, а не стремиться поглядеть на кости быка, из которых суп сварен»[56]. Хотя, как ни странно, под «супом» Дейзент имел в виду мешанину из фальшивых доисторических данных, основанных на ранних предположениях Сравнительной Филологии; а под «желанием взглянуть на кости» разумел требование своими глазами посмотреть на доказательства и разработки, к этим теориям приведшие. Я же под «супом» подразумеваю сказку — так, как она подана автором или рассказчиком, а под «костями» ее источники или материал — даже когда (в силу редкого везения) их можно выявить со всей определенностью. Но я, разумеется, отнюдь не запрещаю рассматривать суп именно как суп.

Потому вопрос происхождения я затрону лишь походя. Для исследований более углубленных я

[56] Примечания: 56
«Скандинавские народные сказки», с. xviii.

слишком невежественен; но для моих целей этот вопрос из всех трех наименее важен, и нескольких замечаний будет более чем достаточно. Ясно, что волшебные сказки (в широком или в узком смысле этого слова) уходят корнями в глубокую древность. Родственные элементы фигурируют в самых ранних письменных источниках; причем они встречаются повсеместно везде, где существует язык. Потому перед нами со всей очевидностью — вариант той проблемы, с которой сталкивается археолог либо филолог-компаративист: спор между *независимым развитием* (или скорее *придумыванием*) подобного, *наследованием* от общего корня и *распространением* в разное время из одного или более центров. Споры по большей части возникают в связи с попыткой (одной или обеих сторон) все чрезмерно упростить; и данный спор я исключением не считаю. История волшебных сказок, пожалуй, еще более сложна, нежели история физического развития рода человеческого, и столь же сложна, как история человеческого языка. Все три составляющие — независимое придумывание, наследование и распространение — со всей очевидностью сыграли свою роль в создании прихотливого полотна Повествования. Ныне распутать нити

под силу разве что искусству эльфов[57]. Из этих трех *придумывание* — самое важное и самое основное, и (что неудивительно) также самое загадочное. Для придумывающего, иначе говоря, для сочинителя, остальные две в конце концов неизбежно уводят вспять. *Распространение* (заимствование в пространстве), идет ли речь об артефакте или о сюжете, всего лишь переносит проблему происхождения в иную точку. В центре предполагаемого распространения — то самое место, где некогда жил сочинитель. Точно то же и с *наследованием* (заимствованием во времени): так мы наконец приходим разве что к сочинителю-предтече. А ежели мы считаем, что порою сочинители независимо друг от друга находят похожие идеи, темы или художественные приемы, мы просто-напросто умножаем создателя-предтечу, но тем самым отнюдь не обретаем более ясное понимание его дара.

---

[57] Примечания: 57

За исключением разве что особенно благоприятных случаев либо отдельных эпизодических подробностей. В самом деле, куда проще распутать одну-единственную *нить* — эпизод, имя, мотив, — нежели проследить историю целой *картины*, определяемой множеством нитей. Ведь вместе с картиной в гобелен вплетается новый элемент: картина — это нечто более великое, нежели сумма составляющих ее нитей, и через таковые не объясняется. Здесь-то и заключен врожденный недостаток аналитического (или «научного») метода: посредством него выясняется многое касательно элементов повествования, но мало или вообще ничего касательно их влияния на отдельно взятую историю.

Филология лишена ныне того высокого статуса, что занимала некогда в этой следственной комиссии. Взгляд Макса Мюллера на мифологию как на «болезнь языка» можно без малейшего сожаления отвергнуть. Мифология — это вообще не болезнь, хотя, как и все человеческое, болезням подвержена. С тем же успехом можно сказать, что мыслительная деятельность — это болезнь разума. Куда ближе к истине утверждение о том, что языки — особенно современные европейские — это болезнь мифологии. И все же от Языка отмахнуться никак нельзя. Воплощенный разум, язык и повествование в нашем мире — ровесники. Ум человеческий, обладающий способностью к обобщению и абстрагированию, воспринимает не только «зеленую траву», отличая ее от всех прочих сущностей (и находя, что она красива), но понимает, что она — *зелена*, в придачу к тому, что она — *трава*. Но какой мощный, какой стимулирующий эффект на способность, его же породившую, оказало изобретение прилагательного: во всей Фаэри не найдется чар и заклинаний более могущественных! Оно и неудивительно: можно без преувеличения сказать, что такого рода чары — лишь один из способов восприятия прилагательных, этой части речи в грамматике

мифа. Разум, представляющий себе «легкое», «тяжелое», «серое», «желтое», «недвижное», «стремительное», одновременно творит Магию, которая превращает тяжелые предметы в легкие, способные воспарить в воздух, преобразует серый свинец в желтое золото, а недвижную скалу — в стремительный поток. Если возможно одно, значит, возможно и другое; такая магия неизбежно справляется и с тем, и с этим. Если мы сможем взять зелень — у травы, синеву — у небес и алый цвет — у крови, мы уже обладаем могуществом чародея — на одном из планов; и в нас пробуждается желание использовать это могущество не только в воображении, но и во внешнем мире. Из этого отнюдь не следует, что мы непременно, на любом плане, воспользуемся сей властью ко благу. Мы можем наложить смертельный зеленоватый оттенок на человеческое лицо — и получим кошмар; мы можем заставить сиять невиданную и жуткую синюю луну; либо мы можем одеть леса серебряной листвой, а баранов оделить руном чистого золота; или вложить жаркое пламя во чрево хладного змия. Но в такой «фантазии», как ее называют, создается новая форма; здесь начинается Фаэри, а человек становится вторичным творцом.

Таким образом, основное свойство Фаэри — способность одним лишь усилием воли мгновенно воплощать видения «фантазии». Не все они прекрасны и не все они здравы — во всяком случае, фантазии Человека падшего. Он же приписал эльфам, этой способностью обладающим (в сказках либо на самом деле), свой собственный порок. Данному аспекту мифологии — вторичному творчеству в противовес либо изображению, либо метафорическому истолкованию красот и ужасов мира — как мне кажется, внимания уделяется чересчур мало. Не потому ли, что увидеть его возможно скорее в пределах Фаэри, нежели на Олимпе? Или потому, что считается, будто он принадлежит скорее к «низшей мифологии», нежели к «высшей»? Об их взаимоотношении — то есть о взаимоотношении *народной сказки* и *мифа* — споры ведутся бесконечные; но даже отрешившись от споров, если рассматриваешь происхождение, этот вопрос никак нельзя не затронуть хотя бы вкратце.

Некогда принято было считать, что весь материал такого рода восходит к «природным мифам». Олимпийские боги выступали *олицетворением* солнца, зари, ночи и так далее, и все рассказы о них изначально являлись *мифами*

(слово «аллегория» здесь подошло бы больше), отражающими наиболее значимые стихийные изменения и природные явления. Затем эпос, сказание о героях, сага локализовали эти рассказы в реальных местах и «очеловечили» их, приписав героическим предкам, превосходящим людей в могуществе, — и все-таки уже людям. И наконец, эти легенды, умалившись, превратились в народные сказания, *Märchen*, волшебные сказки — россказни для детской.

По-видимому, все это — правда, но, можно сказать, вывернутая наизнанку. Чем ближе так называемый «природный миф», или аллегория значительных явлений природы, подходит к своему предполагаемому архетипу, тем менее он интересен и, по правде сказать, тем меньше он принадлежит мифу, способному пролить хоть сколько-то света на мир. Давайте на мгновение предположим, как явствует из этой теории, что на самом деле ничего похожего на мифологических «богов» не существует: никаких индивидуальностей, лишь астрономические или метеорологические явления — и только. В таком случае эти природные явления могут обрести личностную значимость или величие только благодаря дару — дару персональному, дару самого

человека. Личностью способна наделить только личность. Боги могут черпать цвет и красоту в роскошном великолепии Природы, но именно Человек добыл для них и то и другое, взял их у солнца, и луны, и облака; свою индивидуальность боги получили напрямую от Человека; тень или отблеск божественного, что легли на них, они обретают из незримого мира, из Сверхъестественного — через Человека. Между высшей и низшей мифологиями глобального различия нет. Их народы живут — если живут вообще — той же самой жизнью, как в мире смертных — короли и селяне.

Возьмем, казалось бы, вполне самоочевидный пример божественного природного мифа: скандинавского бога Тора. Имя его означает — «Гром», по-английски — *Thunder; Thyrr* — скандинавский вариант этого слова; а его молот, Мьёлльнир, нетрудно интерпретировать как молнию. Однако Тор (судя по имеющимся у нас более поздним источникам) обладает и ярко выраженным характером или индивидуальностью, каковые с громом и молнией не имеют ничего общего, даже при том, что отдельные детали при желании можно, так сказать, соотнести с этими природными явлениями: например, рыжую бороду

Тора, его зычный голос, его буйный нрав, его неуклюжую, сокрушительную силу. И тем не менее бессмысленно спрашивать, что первично — природные аллегории олицетворенного грома в горах, что раскалывает деревья и скалы, или истории о раздражительном, недалеком рыжебородом фермере, силы которому отпущено с лихвой, — о персонаже, весьма смахивающем (во всем, кроме роста) на фермеров-скандинавов, на бондов, среди которых Тор был особенно популярен? Можно утверждать, будто Тор «умалился» до такого портрета — а можно предположить, будто бог — это намеренно преувеличенный портрет. Но я очень сомневаюсь, что какая-то из этих двух версий справедлива: нет, только не сама по себе и не тогда, когда вы настаиваете, что одно из этих двух непременно должно предшествовать другому. Разумнее предположить, будто фермер возник в тот самый момент, когда Гром обрел лицо и голос; что гром рокотал в далеких холмах всякий раз, как рассказчик слышал рассвирепевшего фермера.

Тор, разумеется, числится среди высшей мифологической аристократии: он — один из повелителей мира. Однако история, рассказанная о нем в «Песни о Трюме» (в «Старшей Эдде»), —

безусловно, всего лишь волшебная сказка. Для скандинавской поэмы она весьма древняя, но это — прошлое не столь отдаленное (где-то 900 год от Р. Х. или, в данном случае, чуть раньше). Тем не менее нет никаких причин предполагать, что эта история «не-исконна», по крайней мере по характеру: то есть потому, что она — что-то вроде народной сказки, причем довольно сниженной. Если бы мы могли углубиться в прошлое, то, возможно, обнаружили бы, что волшебная сказка меняется в деталях или уступает место иным типам повествования. Но пока есть Тор, будет и волшебная сказка. А там, где волшебная сказка иссякнет, останется просто-напросто гром, какого ухо человеческое вовеки не слыхивало.

В мифологии порою проглядывает нечто действительно «высокое»: Божественное начало, право на власть (в отличие от просто обладания властью), уместность поклонения — словом, «религия». Эндрю Лэнг сказал — и кое-кто его до сих пор за это хвалит[58], — что мифология и религия (в строгом смысле этого слова) — две совершенно разные вещи, которые неразрывно сплелись воедино, хотя мифология сама по себе религиозной

---

[58] Примечания: 58
Например, Кристофер Доусон в книге «Прогресс и религия».

значимости практически лишена[59].

Однако на самом деле они и впрямь смешались воедино или, может статься, давным-давно разделились, а с тех пор медленно пробираются на ощупь, сквозь лабиринт заблуждений, сквозь путаницу, назад, к воссоединению. Даже волшебные сказки в целом — трехлики: лик Мистический глядит в сторону Сверхъестественного, лик Магический обращен к Природе, а Зеркало презрения и жалости повернуто к Человеку. Главный же лик Фаэри — это средний, Магический. Но степень проявленности остальных (если они вообще проявлены) меняется и задается отдельно взятым рассказчиком. Магическое — волшебная сказка — может использоваться как *Зеркало человечества*; а может (хотя и не без труда) стать вместилищем Тайны. По крайней мере, именно этого пытался достичь Джордж Макдональд, создававший истории великой красоты и силы, когда успех ему

[59] Примечания: 59

Это подкрепляется более тщательным и чутким изучением «первобытных» народов, то есть народов, что по сей день живут в унаследованном язычестве и не являются, как мы говорим, цивилизованными. Поверхностный обзор выявляет лишь наиболее фантастические из их сказок, исследование более углубленное выявляет космологические мифы; но лишь терпение и знание народа «изнутри» обнаруживают философию и религию: истинное поклонение, где «боги» совсем не обязательно выступают воплощением чего бы то ни было, а если и выступают, то с переменным успехом (что зачастую зависит от решения самого индивидуума).

сопутствовал, как в «Золотом ключе» (сам автор называл его волшебной сказкой), и даже когда он отчасти терпел неудачу, как в «Лилит» (каковую называл романом).

Давайте на минутку вернемся к «Супу», упомянутому мною выше. Говоря об истории сказок, и в частности волшебных сказок, можно сказать, что Горшок с Супом, Котел Повествования, кипит не переставая и в него то и дело добавляются новые кусочки, лакомые и не очень. По этой самой причине — взять хоть первый попавшийся пример — тот факт, что историю, сходную с сюжетом сказки «Гусятница» («Die Gänsemagd» у братьев Гримм) в XIII веке рассказывали про Берту Большеногую, мать Карла Великого, — на самом деле ничего не доказывает: ни то, что история (в XIII веке) нисходила с Олимпа или Асгарда посредством уже ставшего легендой короля древности, постепенно превращаясь в *Hausmärchen*; ни то, что она, напротив, поднималась наверх. Этот сюжет распространен повсеместно, вне связи с матерью Карла Великого или с каким-либо иным историческим персонажем. Исходя из одного этого факта, мы никак не можем заключить, что в отношении матери Карла Великого он правдой не является, хотя чаще всего именно такие за-

ключения на основании подобных свидетельств и делаются. Мнение о том, что применительно к Берте Большеногой это неправда, должно иметь под собою совсем иные основания: то, что отдельные детали истории, согласно философии критика, в «реальной жизни» просто невозможны; то, что в правдивость истории критик ни за что бы не поверил, даже если бы нигде больше она не встречалась; либо наличие веских исторических свидетельств того, что биография Берты была совсем иной, так что в правдивости истории критик все равно усомнился бы, даже если бы его философия допускала, что в «реальной жизни» такое вполне возможно. Никто, сдается мне, не станет опровергать байку о том, как архиепископ Кентерберийский поскользнулся на банановой кожуре, только потому, что, как выясняется, подобный анекдот рассказывают о многих людях, и особенно — о высокопоставленных джентльменах преклонных лет. Историю можно было бы поставить под сомнение, если бы обнаружилось, что в ней ангел (или хотя бы фэйри) предостерегал архиепископа: дескать, он непременно поскользнется, если в пятницу станет щеголять в гетрах. Либо если бы утверждалось, что это произошло, допустим, в период

между 1940 и 1945 годом. Ну и довольно об этом. Это самоочевидный довод, и он уже приводился; однако я дерзну привести его снова (пусть и отклонившись слегка от моей нынешней темы), ибо те, кто изучает происхождение волшебных историй, его постоянно игнорируют.

А как же банановая кожура? Когда историки от нее открещиваются, мы к ней, что называется, только-только подступаемся. Выброшенная, она нам куда полезнее. Историк скорее всего скажет, что рассказ про банановую кожуру «впоследствии закрепился за архиепископом», точно так же как утверждает на основании веских свидетельств, что «сюжет сказки «Гусятница» закрепился за Бертой». Такая формулировка достаточно безвредна — в том, что принято называть «историческим процессом». Но на самом-то деле — верное ли это описание того, что происходит сейчас и происходило до сего времени в хронике сочинительства? Я так не думаю. Наверное, правильнее было бы сказать, что это архиепископ закрепился за банановой кожурой или что Берту превратили в Гусятницу. Или еще точнее: я бы сказал, что мать Карла Великого вместе с архиепископом были помещены в Котел — то есть угодили в Суп. Они — просто-напросто новые кусочки, добавленные

в бульон. Честь не из малых — ведь в этом супе варится много чего древнее, могущественнее, прекраснее, комичнее или ужаснее, нежели эти персонажи сами по себе (если воспринимать их только как исторических лиц).

Достаточно очевидно, что Артур, некогда фигура историческая (хотя в качестве таковой не то чтобы очень значимая), — тоже угодил в Котел. И долго там варился, вместе со многими еще более древними персонажами и приемами как мифологии, так и Фаэри, и даже с одной-двумя другими случайно подвернувшимися историческими косточками (как, например, борьба Альфреда с данами) — до тех пор, пока не вышел из Котла королем Фаэри. Точно так же получилось и с великим северным «артуровским» двором «щитовых королей» Дании, со Скильдингами (*Scyldingas*) древнеанглийской традиции. Король Хродгар и его семейство обладают целым рядом явных исторических черт, гораздо в большей степени, нежели Артур; однако в более древних (английских) источниках они ассоциируются со многими персонажами и событиями волшебной сказки: и они тоже побывали в Котле. Причем я ссылаюсь сейчас на обрывки древнейших записанных английских преданий о Фаэри (или

пограничных ее областях), при том, что в Англии они почти неизвестны, отнюдь не для того, чтобы рассуждать о превращении мальчика-медведя в витязя Беовульфа или объяснять вторжение людоеда Гренделя в королевский чертог Хродгара. Мне хотелось привлечь внимание к некоей иной составляющей этих преданий: к весьма показательному примеру взаимоотношений «элемента волшебной сказки» с богами, королями и людьми безымянными, иллюстрирующему (как мне кажется) то мнение, что данный элемент не то чтобы появляется и исчезает — нет, он все время там, в Котле Повествования, дожидается великих персонажей Мифа и Истории, и до поры безымянных Его или Ее, дожидается того момента, когда всех их побросают в побулькивающее варево, одного за другим или всех скопом, не считаясь со званиями и титулами.

Злейшим врагом короля Хродгара был Фрода, король хадобардов. Однако там, где речь заходит о дочери Хродгара Фреавару, мы слышим отголоски престранной повести — повести, для северного героического эпоса весьма необычной: сын врага ее дома, Ингельд, сын Фроды, полюбил ее и женился на ней — на беду. И это — крайне интересный и важный момент. На заднем плане

древней распри маячит фигура того самого бога, который у скандинавов звался Фрейр (Владыка) или Ингви-фрейр, а у англов — Инг: бог Плодородия и Зерна в древнескандинавской мифологии (и религии). Вражда королевских домов ассоциируется со священным местом культа этой религии. Ингельд и его отец носят имена из того же контекста. Сама Фреавару зовется «Защита Владыки (то есть Фрейра)». И однако ж из того немногого, что мы знаем о Фрейре из рассказов более поздних (на древнеисландском), основное — это история о том, как Фрейр издалека увидел дочь врагов богов — Герд, дочь великана Гюмира, полюбил ее и женился на ней. Доказывает ли это, что Ингельд и Фреавару и их любовная история — «всего-навсего миф»? Я так не думаю. История зачастую напоминает «Миф», потому что в основе своей они созданы из одного и того же материала. Если Ингельда и Фреавару и в самом деле никогда не существовало или они по крайней мере никогда не влюблялись друг в друга, значит, сказание свое они в конце концов получили от безымянных мужчины и женщины — или скорее вошли в их сказание. Они угодили в Котел, где на протяжении веков на медленном огне варится немало сильнодействующих ингредиентов, в том

числе — Любовь-с-Первого-Взгляда. То же и о боге. Если бы ни один юноша никогда не влюблялся в случайно встреченную девушку и между ним и его возлюбленной никогда не вставала древняя вражда, тогда бы и бог Фрейр никогда не увидел бы с престола Одина Герд, дочь великана. Но раз уж речь зашла о Котле, не должно забывать и о Поварах. В Котле много чего варится, но и Повара черпают из него половником не то чтобы наугад. И выбор их — важен. В конце концов, боги — это всё же боги; и что за истории про них рассказывают — это вам не пара пустяков. Так что приходится по доброй воле признать, что повесть о любви скорее всего расскажут про принца — реальное историческое лицо, и скорее всего она произойдет в некоем историческом семействе, продолжающем традиции золотого Фрейра и ванов, нежели среди последователей Одина Гота, Некроманта, пищи воронов, Владыки Павших. Неудивительно, что слово «заговор» [*spell*] означает как рассказанную историю, так и формулировку, дающую власть над живыми людьми.

Но когда мы сделали все, на что способно исследование, — собрали и сравнили истории многих земель; когда мы истолковали большин-

ство элементов, повсеместно содержащихся в волшебных сказках (таких как мачехи, заколдованные медведи и быки, ведьмы-людоедки, табуированные имена и все такое) как пережитки древних обычаев, некогда практикуемых в повседневной жизни, и верований, некогда бывших именно верованиями, а не «причудами фантазии», — останется еще один момент, про который слишком часто забывают: а именно, что за эффект производят эти древние элементы сказок как таковых *сегодня*.

Во-первых, сегодня они *стары* — а древность сама по себе притягательна. Красота и ужас «Можжевелового куста» («Von dem Machandelboom») с его изысканно-трагическим началом, отвратительным рагу из человечины, жуткими костями и яркой, мстительной птицей-духом, что вылетела из тумана, сгустившегося над можжевельником, преследуют меня с детства; и все же главное впечатление, что осталось от этой сказки в памяти, — это не красота и не ужас, но удаленность и бездонная пропасть времени, неизмеримая даже посредством *twe tusend Johr*[60]. Без рагу и костей — а в «сглаженных» пересказах братьев Гримм

[60] Примечания: 60

Двух тысяч лет (*нижненем.*) — цитата из самого начала сказки «Можжевеловый куст». — *Примеч. пер.*

детей от такого кошмара зачастую избавляют[61] — это ощущение практически потеряется. Не думаю, что мне как-то повредили ужасы «сказочного фона», уж к каким бы темным верованиям и обрядам прошлого они не восходили. Сегодня такие истории производят впечатление мифа — то есть впечатление цельное, анализу не поддающееся; впечатление это от данных Сравнительной Фольклористики нисколько не зависит — и ни испортить его, ни объяснить науке не под силу; они открывают дверь в Иное Время, и, переступив порог, пусть лишь на мгновение, мы оказываемся за пределами своего собственного времени — а может быть, вообще за пределами Времени как такового.

Если мы помедлим немного — не только того ради, чтобы отметить, что эти древние элементы и впрямь сохранились, но и чтобы задуматься, а как же им это удалось, мы, наверное, придем к выводу, что так получалось — зачастую, если не всегда — именно за счет пресловутого литературного эффекта. Вряд ли мы — или даже братья Гримм, если на то пошло — первыми это почувствовали. Волшебные сказки — никоим образом

[61] Примечания: 61

А избавлять не надо бы — разве что всю сказку отложить на потом, когда дети окрепнут настолько, чтобы суметь ее переварить.

не маточная порода, из которой ископаемые останки способен добыть разве что профессиональный геолог. Древние элементы нетрудно выковырять, или забыть и отбросить прочь, или заменить на другие составляющие: стоит сравнить несколько сходных вариантов одной и той же истории — и мы в этом убедимся. А все то, что в сказках есть, скорее всего сохранялось (или добавлялось) зачастую благодаря тому, что устные рассказчики, инстинктивно или сознательно, ощущали литературную «значимость»[62] этого материала. Даже когда запрет в волшебной сказке, по всей видимости, восходит к некоему практикуемому в древности табу, на более поздних стадиях он, вероятно, был сохранен по причине огромной мифической значимости запрета. Ощущение этой значимости, возможно, за некоторыми табу и впрямь стояло. Не смей — или уйдешь нищим и будешь сокрушаться до конца дней своих. Самые безобидные «детские сказки» об этом знают. Даже Кролику Питеру запретили доступ в сад; даже Кролик Питер потерял свою синюю курточку и захворал. Запертая Дверь — это вечное Искушение.

---

[62] Примечания: 62
См. *Примечание B* в конце.

Дети

Теперь я обращусь к детям и перейду наконец к последнему и самому важному из трех вопросов: каковы ценности и функции волшебных сказок *сегодня* — если таковые вообще есть? Принято считать, будто дети — естественная и наиболее подходящая аудитория для волшебных сказок. Описывая волшебную сказку, что, по их мнению, взрослые могли бы прочесть собственного удовольствия ради, рецензенты зачастую позволяют себе шуточки вроде: «Эта книга предназначена для детей от шести до шестидесяти лет». Но я в жизни не видел рекламы новой модели машины, которая бы начиналась со слов: «Эта игрушка позабавит младенцев от семнадцати до семидесяти лет», — что, на мой взгляд, прозвучало бы куда более уместно. Так есть ли какая-то устойчивая связь между детьми и волшебными сказками? Если взрослый читает сказки сам по себе — повод ли это для комментариев? То есть *читает* именно как сказки, а не *изучает* как некие курьезные древности. Коллекционировать и изучать взрослым дозволяется все что угодно — вплоть до театральных программок и бумажных пакетов.

Среди тех, у кого хватает мудрости не считать волшебные сказки чем-то пагубным, по всей видимости, бытует мнение, что между детским разумом и волшебными сказками существует некая естественная связь, точно такая же, как между детским организмом и молоком. Мне это представляется ошибкой; в лучшем случае — ошибкой, подсказанной неуместной сентиментальностью, причем чаще всего совершают ее те, кто, в силу каких бы то ни было личных причин (например бездетности), склонны воспринимать детей как существ особого рода и едва ли не иной расы, а не как нормальных, пусть и незрелых, членов конкретной семьи и человечества в целом.

Собственно говоря, ассоциация между детьми и волшебными сказками — это случайное следствие нашей доморощенной традиции. Волшебные сказки в современном книжном мире сослали в «детскую», как обшарпанную, старомодную мебель отправляют в комнату для игр, в первую очередь потому, что взрослым она ни к чему и они не против, даже если эту мебель и по-

портят ненароком[63]. Решение здесь принимают не сами дети. Дети как класс — а объединяет их разве что отсутствие опыта — любят волшебные сказки ничуть не больше и понимают их ничуть не лучше, чем взрослые; и ничуть не меньше любят многое другое. Они юны, они еще растут, на аппетит обычно не жалуются, так что волшебные сказки, как правило, проглатываются без труда. Но на самом-то деле лишь очень немногие дети и очень немногие взрослые питают к сказкам особую склонность; а ежели и питают, то склонность эта не то чтобы исключает все прочие и даже не обязательно является преобладающей[64]. Кроме того, эта склонность, как мне кажется, не возникла бы в самом раннем детстве без искусственных стимулов; а если эта склонность врожденная, то с годами она никоим образом не снижается, а, наоборот, растет.

---

[63] Примечания: 63

В том, что касается сказок и прочего детского фольклора, срабатывает еще вот какой фактор. Зажиточные семьи нанимали для своих детей нянь, и те рассказывали детям сказки, отчасти близкие к деревенскому и традиционному фольклору, позабытому их «господами». Этот источник давным-давно пересох, в Англии во всяком случае; но некогда он играл немаловажную роль. Но опять-таки, это отнюдь не доказывает, что дети — наиболее подходящая аудитория для восприятия этого исчезающего «фольклора». Няням с тем же успехом (или даже с бо́льшим) можно было бы поручить выбирать картины и мебель.

[64] Примечания: 64

См. *Примечание С* в конце.

Правда и то, что в наше время волшебные сказки обычно пишутся или «адаптируются» специально для детей. Но то же можно сказать и о музыке, и о стихах, и о романах, и об исторических работах, и об учебниках. Процесс этот опасен, даже когда и впрямь необходим. И спасает от катастрофических последствий только то, что искусства и науки отнюдь не сосланы в детскую в общем и целом; детской и классной комнатам дозволяется отведать и рассмотреть из взрослого мира ровно столько, сколько им подобает по мнению взрослых (зачастую весьма ошибочному). Любая наука, любой вид искусства, будучи оставлены в детской навечно, серьезно пострадают. Точно то же произошло бы с красивым столиком, с хорошей картиной или с полезным прибором (таким, как микроскоп) — оставьте их надолго в школьном классе без присмотра, и их или попортят, или поломают. Волшебные сказки, отправленные в такую ссылку, отрезанные от полноценного взрослого искусства, в конце концов погибнут; и, собственно, уже насколько сосланы, настолько и загублены.

Таким образом, значимость волшебных сказок, на мой взгляд, невозможно установить, обращаясь исключительно к детям. Сборники

волшебных сказок на самом деле по природе своей — чердаки и чуланы; а в игровые комнаты превращены лишь в силу преходящего местного обычая. Содержимое их в беспорядке и зачастую потрепано или искорежено: перед нами — мешанина всевозможных дат, замыслов и вкусов; но среди них то и дело попадается вещица-другая нетленной ценности: старинное произведение искусства, почти неповрежденное: только глупость могла убрать такое с глаз долой.

«Книги сказок» Эндрю Лэнга — это, пожалуй, не чуланы. А скорее что-то вроде прилавков на распродаже всякой рухляди. Некто зоркий на вещи, ценности не утратившие, вооружившись щеточкой для обметания, обшарил чердаки и кладовки. Сборники Лэнга по большей части — побочный продукт его взрослых исследований мифологии и фольклора; при этом их превратили в книги для детей и подали как таковые[65]. Некоторые из приведенных Лэнгом причин стоит рассмотреть отдельно.

В предисловии к первой книге серии говорится о «детях, которым и для которых эти сказки

---

[65] Примечания: 65

Сам Лэнг и его помощники. Большая часть содержания сборников в своей исходной форме (или в древнейших сохранившихся вариантах) такому определению не соответствует.

рассказываются». «Дети являют собою, — пишет Лэнг, — юность человека, верного своей первой любви; вера их еще не притупилась, и аппетит к чудесам не иссяк». «“Правда ли это?” — вот вопрос вопросов, что задают дети», — пишет Лэнг.

Я подозреваю, что «вера» и «аппетит к чудесам» здесь восприняты как нечто тождественное или тесно связанное. Но это — вещи совершенно разные, хотя аппетит к чудесам взрослеющий разум человеческий поначалу не сразу отличит от аппетита в целом. Достаточно очевидно, что Лэнг использовал слово «вера» в обычном его значении: вера в то, что нечто существует или может произойти в реальном (первичном) мире. А ежели так, то, боюсь, слова Лэнга, если убрать сантименты, подразумевают только то, что рассказчик чудесных историй для детей должен или может спекулировать — да, собственно, и спекулирует — на их *доверчивости* или недостатке опыта, в силу которых детям в отдельных случаях труднее отличить истину от вымысла, хотя отличие это само по себе непреложно для здорового человеческого разума и для волшебных сказок.

Разумеется, дети способны к «литературной вере», если рассказчик достаточно искусен, чтобы пробудить таковую. Такое состояние со-

знания называют «добровольным отказом от недоверия». Но мне кажется, описание это не то чтобы удачное. На самом деле суть в том, что рассказчик оказывается успешным «вторичным творцом». Он создает Вторичный Мир, в который получает доступ ваш разум. И в его пределах все, что рассказчик рассказывает, — «истинно»: все согласуется с законами этого мира. Потому вы верите каждому слову — пока находитесь, так сказать, внутри. Как только возникает недоверие — чары рушатся; магия или скорее искусство терпят неудачу. Вы снова оказываетесь снаружи, в Первичном Мире, и глядите на жалкий, несостоявшийся Вторичный Мир извне. Если вы вынуждены — будь то в силу обстоятельств или добросердечия — остаться, тогда от недоверия приходится временно отказаться (или подавить его); в противном случае слушать и смотреть просто невыносимо. Но этот временный отказ от недоверия — лишь подмена настоящего, уловка, к которой мы прибегаем, снисходя до игры или притворства, или когда пытаемся (более или менее добровольно) отыскать хоть какие-то достоинства в произведении искусства, в наших глазах неудавшемся.

Истинный любитель крикета находится во вла-

сти чар, то есть Вторичной Веры. Когда я смотрю матч, я нахожусь на уровне более низком. Я способен на (более или менее) добровольный отказ от недоверия, если меня в этом состоянии удерживает и поддерживает какое-либо иное побуждение, разгоняющее скуку: например, необоримое геральдическое предпочтение темно-синего — голубому. Таким образом, пресловутый отказ от недоверия — это порою всего лишь умственная усталость, убогость или сентиментальный настрой — и тем самым тяготеет к «взрослости». Полагаю, зачастую именно таков настрой взрослых перед лицом волшебной сказки. Их удерживает и поддерживает сентиментальность (воспоминания детства или представления о том, каким детству полагается быть); они считают, что сказка должна им нравиться. Но если сказка нравится им в самом деле, сама по себе, от недоверия им отказываться не придется; они просто поверят — в вышеописанном смысле.

Ежели Лэнг имел в виду что-то в этом роде, возможно, в словах его и есть доля правды. В самом ли деле детей подчинить чарам легче — это вопрос спорный. Возможно, что и так; хотя сам я в этом не уверен. Эта убежденность взрослых, как мне кажется, зачастую — лишь иллюзия, по-

рожденная детской застенчивостью, нехваткой у детей критического опыта и словарного запаса и их ненасытностью (подобающей стремительному росту). Детям нравится то, что им дают, или они честно стараются, чтобы все понравилось; а если что-то и не нравится, так дети не в состоянии толком выразить свое неприятие или объяснить его (и потому пытаются его скрыть); кроме того, им нравится огромное количество вещей самых разных, без разбора, причем проанализировать различные уровни своей веры дети даже не пытаются. В любом случае сомневаюсь, что эликсир сей — чары хорошей волшебной сказки — из числа тех, вкус которых «притупляется» со временем и которые с каждым новым глотком понемногу утрачивают силу.

«“Правда ли это?” — вот вопрос вопросов, что задают дети», — пишет Лэнг. Верно, задают; это я знаю; причем на этот вопрос опрометчиво или бездумно не ответишь[66]. Но он едва ли свидетельствует о «непритупившейся вере» или хотя бы о стремлении к таковой. Чаще всего вопрос подсказан желанием ребенка понять, с какого ро-

[66] Примечания: 66

Гораздо чаще дети спрашивали меня: «А он добрый? А он злой?» То есть им было важнее правильно обозначить стороны Добра и Зла. Ибо этот вопрос одинаково значим как в Истории, так и в Фаэри.

да литературой он имеет дело. Зачастую дети так мало знают о мире, что не в состоянии отличить сразу, без посторонней помощи, фантастическое от странного (то есть редкого и маловероятного), от абсурдного или от просто «взрослого» (то есть от заурядных явлений родительского мира, по большей части до поры не исследованного). Но то, что все это — разные категории, дети понимают, и нравится им то одно, то другое. Разумеется, границы порою размыты или неясны; но это справедливо не только в отношении детей. Мы все осознаём разницу между категориями, но не всегда уверены, куда именно отнести услышанное. Ребенок вполне может поверить сообщению о том, что в соседнем графстве живут великаны-людоеды; многим взрослым нетрудно поверить в это, если речь идет о другой стране; а уж что до другой планеты, так подавляющее большинство взрослых, по всей видимости, воображают, будто таковая населена (если вообще населена) не иначе как хищными чудовищами.

А я был одним из тех детей, к которым обращался Эндрю Лэнг (я родился примерно в то же время, когда вышла «Зеленая книга сказок»), — детей, для которых, по его мнению, волшебные сказки служат тем же, чем реалистический роман — для

взрослых, и о которых он говорил: «Вкусы их остаются такими же, как вкусы их нагих предков много тысяч лет назад; волшебные сказки им, по всей видимости, нравятся больше, чем история, поэзия, география или арифметика»[67]. Но много ли мы на самом деле знаем о пресловутых «нагих предках», кроме разве того, что разгуливали те отнюдь не нагишом? Наши волшебные сказки, уж к какой бы глубокой древности ни восходили отдельные их элементы, со всей определенностью не те же, что у них. И тем не менее если предположить, что волшебные сказки мы унаследовали именно от них, тогда, пожалуй, история, география, поэзия и арифметика у нас есть только потому, что нашим предкам они тоже нравились, ну, в доступной им форме и насколько те уже научились различать многочисленные ответвления общего интереса ко всему на свете.

Что же до современных детей, описание Лэнга не соответствует ни моим собственным воспоминаниям, ни моему опыту общения с детьми. Возможно, в отношении знакомых ему детей Лэнг заблуждался, но если нет, тогда надо признать, что дети разительно отличаются друг от

---

[67] Примечания: 67
Предисловие к «Сиреневой книге сказок».

друга, даже в тесных пределах Британии, и подобные обобщения, рассматривающие их как класс (невзирая на индивидуальные способности, влияние родной для них местности и воспитания), обманчивы. Я сам никакого такого особенного детского «желания поверить» не испытывал. Мне хотелось знать. А уже вера зависела от того, как именно подавались мне истории, будь то старшими или авторами, — а еще от характера, и настроя, и качества повести. Но не помню, чтобы когда-либо удовольствие, получаемое мною от сказки, зависело от веры в то, что такого рода вещи могут произойти или происходили встарь в «реальной жизни». Волшебные сказки со всей очевидностью имеют дело в первую очередь не с вероятностью, а с желательностью. Если сказки пробудили *желание* и утоляют его, при том что порою обостряют до непереносимого предела, — они удались. Пояснять подробнее здесь необходимости нет, ибо я надеюсь позже рассказать об этом желании — совокупности многих составляющих, из которых одни — универсальны, другие — свойственны лишь современному человеку (включая современных детей) либо даже определенным типам людей. Я не испытывал ровным счетом никакого желания пережить

приключения в духе «Алисы», будь то наяву или во сне; рассказ о них меня просто-напросто забавлял. Мне не особо хотелось искать зарытые клады или сражаться с пиратами; «Остров сокровищ» оставил меня равнодушным. Иное дело — краснокожие: в этих историях были луки и стрелы (меня и по сей день одолевает желание научиться метко стрелять из лука — желание, ни на йоту не утоленное), и странные языки, и отблески архаичного образа жизни, а главное — леса. Но земле Мерлина и Артура эти истории уступали, а лучше всего был безымянный Север Сигурда Вёльсунга и владыка всех драконов. Эти земли были несказанно желанны. Я ни на миг не думал, что дракон — существо того же порядка, что и конь. И не только потому, что коней я видел каждый день, но ни разу в жизни не встречал даже следа змиевой лапы[68]. Дракон просто-таки отмечен клеймом «Из Фаэри». В каком бы мире он ни обосновался, это — Иной Мир. Фантазия, создающая или смутно прозревающая Иные Миры, — это самая суть жажды Фаэри. Я жаждал драконов неутолимой жаждой. Разумеется, я, по своей телесной робости, вовсе не хотел, чтобы

[68] Примечания: 68
См. *Примечание D* в конце.

драконы поселились по соседству и вторгались в мой относительно безопасный мир, в котором возможно, например, спокойно и мирно почитывать себе книги, не испытывая ни малейшего страха[69]. Но мир, в котором есть хотя бы воображаемый Фафнир, — богаче и прекраснее, какими бы бедами нам это ни грозило. Житель мирных, плодородных равнин может услышать про истерзанные горы и бесплодное море — и затосковать о них в сердце своем. Ибо сердце стойко, даже если плоть слаба.

И все равно при том, что сейчас я вижу, насколько значим был для меня элемент волшебной сказки в самом начале знакомства с книжным миром, о себе как о ребенке могу сказать, что любовь к волшебным сказкам среди моих ранних пристрастий не то чтобы доминировала. По-настоящему я к ним пристрастился, уже выйдя из «детской», после того, как научился читать и пошел в школу, — одно от другого отделяли всего-то несколько лет, но тянулись они бесконечно. В те (я едва не написал «счастливые» или

---

[69] Примечания: 69

Естественно, именно это дети зачастую и имеют в виду, когда спрашивают: «А это правда?» Они подразумевают: «Мне это нравится, но водится ли такое в наши дни? Могу ли я спать спокойно в своей кроватке?» И услышать они хотят: «Разумеется, нынче в Англии драконов уже нет», — и всего-то навсего.

«золотые»; а на самом-то деле горькие и тяжкие) времена мне нравилось еще много чего другого — ничуть не меньше, а то и больше: например, история, астрономия, ботаника, грамматика и этимология. Я совершенно не соответствовал лэнгову обобщающему понятию «дети» в целом; вот разве что в отдельных деталях, и то по чистой случайности: так я, например, был абсолютно не восприимчив к поэзии и, если в историях встречались стихотворные отрывки, просто-напросто их пролистывал. Поэзию я открыл для себя значительно позже, в латыни и греческом, и главным образом — благодаря тому, что нас заставляли переводить стихи с английского на классические языки. Истинный вкус к волшебным сказкам пробудила филология на пороге взросления; оживила и стимулировала его война.

По этому вопросу я, пожалуй, сказал больше чем достаточно. По крайней мере ясно, что, на мой взгляд, волшебные сказки не следует ассоциировать *именно* с детьми. Да, с детьми они ассоциируются: естественным образом — ведь дети принадлежат к роду человеческому, а вкус к сказкам человеку свойственен от природы (хотя не обязательно всем подряд); и по чистой случайности — поскольку волшебные сказки

составляют значительную часть того литературного хлама, что современная Европа отправила на чердак; и противоестественным образом — в силу ошибочных представлений о детях — заблуждений, что по мере спада рождаемости только усиливаются.

Правда и то, что эпоха «детской сентиментальности» породила несколько чудеснейших книг (особенно притягательных, однако, для взрослых) волшебного плана или по крайней мере к нему приближенных; однако ж породила она и кошмарную поросль россказней, написанных или адаптированных применительно к тому, что является или считается пределом детского разума и потребностей. Старые сказки смягчаются или выхолащиваются, вместо того чтобы отложить их на потом; авторы либо откровенно валяют дурака (пиггвигенщина, причем даже бессюжетная), либо берут снисходительно-покровительственный тон, либо (что уж совсем губительно) похихикивают в кулак, искоса поглядывая на других находящихся тут же взрослых. Эндрю Лэнга я в хихиканье не обвиняю, но улыбаться про себя он улыбается и, безусловно, слишком уж часто поглядывает на других умников поверх голов своей детской аудитории — к великому ущербу

для «Хроник Пантуфлии».

Ханжам, раскритиковавшим его переводы скандинавских сказок, Дейзент ответил решительно и по существу. Однако он же совершил вопиющую глупость, специально *запретив* детям читать последние две сказки в своем сборнике. Профессионально изучать волшебные сказки — и при этом ума-разума не набраться: в такое просто с трудом верится. Но ни критика, ни возражения, ни запреты не понадобились бы, если бы дети не воспринимались безо всяких на то оснований как непременные читатели книги.

Я не отрицаю, что в словах Эндрю Лэнга (при всей их сентиментальности): «Тот, кто вступает в королевство Фаэри, должен обладать детским сердцем», — есть доля правды. Ибо детское сердце необходимо для любого истинного приключения, в царствах, как меньших, так и значительно бо́льших, чем Фаэри. Но смирение и невинность — а именно это и подразумевается под «детским сердцем» в таком контексте — вовсе не обязательно предполагают способность слепо принимать на веру любую небывальщину — и снисходительной мягкотелости тоже не предполагают. Честертон отметил как-то, что дети, в чьем обществе он смотрел «Синюю птицу» Метерлинка, остались

недовольны, «потому что пьеса не закончилась Судным Днем и герой и героиня так и не узнали, что Пес был им верен, а Кошка — предательница». «Ибо дети, — говорит Честертон, — невинны и любят справедливость; в то время как мы в большинстве своем греховны и, естественно, предпочитаем милосердие».

Здесь Эндрю Лэнг совсем запутался. Он изо всех сил старался оправдать принца Рикардо, убившего Желтого Гнома в одной из его собственных сказок.

«Я терпеть не могу жестокость, — писал автор, — …но это произошло в честном бою, противники сражались на мечах, и гном — да упокоится его прах! — пал, облаченный в доспехи». Однако ж не ясно, отчего «честный бой» менее жесток, нежели «справедливый суд»; или отчего пронзить гнома мечом более справедливо, нежели казнить коварных королей и злых мачех — чего Лэнг избегает: он отправляет преступников (как сам похваляется) на пенсию с богатым содержанием. Это — милосердие, не умеряемое справедливостью. Впрочем, заявление это обращено не к детям, но к родителям и опекунам — именно им Лэнг рекомендует своих «Принца Пригио» и «Принца Рикардо» как подходящую

литературу для их воспитанников[70]. Это родители и опекуны классифицировали волшебные сказки как «детскую литературу». И это лишь небольшой пример возникающей в результате фальсификации ценностей.

Если употреблять слово «ребенок» в положительном смысле (возможен и отрицательный, причем на вполне законных основаниях), никак нельзя позволить себе скатиться в сентиментальность, используя слова «взрослый» или «большой» только в отрицательном смысле (ведь есть и положительный, и тоже — вполне законный). В процессе взросления человек вовсе не обязательно становится хуже; хотя зачастую так и впрямь случается. Детям назначено вырасти, а не превратиться в Питеров Пэнов. Не утратить невинности и способности удивляться — но идти вперед по назначенному пути; и по пути этому следовать с надеждой ничуть не более отрадно, нежели добраться наконец до места; хотя, если мы хотим добраться до места, путешествовать должно с надеждой и не иначе. Но таков один из уроков волшебной сказки (если вообще возможно говорить об уроках там, где о нотациях речь не

---

[70] Примечания: 70
Предисловие к «Сиреневой книге сказок».

идет): зеленому юнцу, неуклюжему и эгоистичному, опасности, страдания и тень смерти придают достоинства, а порою даже и мудрости.

Так давайте же не будем делить род человеческий на элоев и морлоков: на прелестных детишек — «эльфиков», как зачастую по-идиотски называл их XVIII век, с их волшебными сказочками (тщательно выхолощенными), и темных морлоков с их машинами. Если волшебную сказку как жанр вообще стоит читать, она достойна того, чтобы ее писали для взрослых и чтобы взрослые ее читали. Разумеется, взрослые вложат в нее больше и извлекут из нее больше, нежели дано детям. Тогда и дети могут надеяться получить волшебные сказки — как разновидность подлинного искусства, — для них удобоваримые и вместе с тем доступные; точно так же, как могут рассчитывать на понятные введения в поэзию, историю и науки. Хотя детям, пожалуй, лучше бы читать книги, и особенно волшебные сказки, до которых они скорее «не дотягивают», нежели те, которые они переросли. Книги, как и одежда, должны быть «на вырост» — во всяком случае, книги должны росту способствовать.

Очень хорошо. Если взрослым пристало читать волшебные сказки как некий полноправный

литературный жанр — не играя при этом в детей, не притворяясь, будто они что-то выбирают для ребенка, и не будучи мальчиками, которые не желают взрослеть, — тогда каковы же ценности и функции этого жанра? Это, как мне кажется, последний и самый важный вопрос. На кое-какие свои ответы я уже намекал. Во-первых: если волшебная сказка написана искусно, первичная ее цель как литературы просто-напросто такова же, как у других литературных форм. Однако волшебные сказки также предлагают, особым образом и в известной степени, такие ценности, как Фантазия, Исцеление, Бегство, Утешение — все то, в чем дети, как правило, нуждаются менее взрослых. Сегодня повсеместно считается, что все эти вещи по большей части вредны для любого. Я рассмотрю их вкратце и начну с Фантазии.

Фантазия

Разум человеческий способен создавать мысленные образы отсутствующих перед глазами предметов. Способность создавать такие образы называется (или называлась), что только естественно, Воображением. Но в недавнее время в языке специальном, а не повседневном, Воображением зачастую именуют нечто более высокое, нежели просто создание образов, приписываемое работе Вымысла [Fancy] (сокращенная и уничижительная форма слова более древнего, Фантазия [Fantasy]); таким образом, предпринимается попытка свести Воображение — я бы даже сказал, злоупотребляя этим понятием, — к «способности наделять идеальные создания внутренней логичностью реальности».

Как ни нелепо для человека столь мало информированного иметь свое мнение по вопросу столь важному, я дерзну предположить, что лексические различия здесь с филологической точки зрения неоправданны, а анализ — неточен. Способность создания мысленных образов — это одно, один аспект, так сказать; его-то и полагается по праву называть Воображением.

Восприятие образа, понимание его скрытых смыслов и контроль над ним, необходимые для успешного выражения, могут разниться по яркости и силе: но это различие количественное, а не видовое. Достижение той выразительности, которая наделяет (или кажется, что наделяет) «внутренней логичностью реальности»[71], на самом деле — нечто совсем иное, иной аспект, и называть его следует иначе: это Искусство, рабочее звено между Воображением и конечным результатом, Вторичным Творением. В данный момент мне требуется слово, означающее искусство Вторичного Творчества как таковое и ощущение чужеродности и чуда в Выражении, проистекающем из Образа: качество, для волшебной сказки необходимое. Потому я присвою себе полномочия Шалтая-Болтая и использую для этой цели слово «Фантазия»: причем в том смысле, что совмещает в себе более древнее и высокое значение как синоним Воображения с производными понятиями «нереальности» (то есть непохожести на Первичный Мир), свободы от господства наблюдаемого «факта», иначе говоря — понятиями фантастического. Таким образом,

---

[71] Примечания: 71

То есть порождает Вторичную Веру или управляет ею.

я не только отдаю себе в этом отчет, я очень рад тому, что слова «фантазия» [fantasy] и «фантастическое» [fantastic] (то есть образы предметов, которые не просто «отсутствуют перед глазами», но которых в нашем первичном мире вообще нет — или считается, что нет) этимологически и семантически связаны. Но, даже признавая это, с уничижительным тоном я не согласен. То, что образы отражают предметы, в первичном мире отсутствующие (если такое вообще возможно), — это достоинство, а не порок. Фантазия (в этом смысле) является, как мне кажется, не низшей, но высшей формой Искусства — воистину, формой наиболее чистой и (если ее удается достичь) наиболее могущественной.

Разумеется, Фантазии изначально дано преимущество: она задерживает ощущение чужеродности, странности происходящего. Но это преимущество обращают против нее же; оно же Фантазию и компрометирует. Многие терпеть не могут, когда их «задерживают». Им не нравится любое вмешательство в Первичный Мир или в те его мимолетные отблески, что им хорошо знакомы. Потому они по глупости и даже по злонамеренности путают Фантазию со Снами, в

которых никакого Искусства нет[72]; и с душевными расстройствами, в которых даже контроль отсутствует: с маниями и галлюцинациями.

Но заблуждение или злоба, порожденные тревогой и подсказанной ею неприязнью, — отнюдь не единственная причина этой путаницы. Есть у Фантазии один существенный недостаток: достичь ее непросто. Фантазия может быть, как мне кажется, не менее, но более способна ко вторичному творчеству; но в любом случае на практике обнаруживается, что «внутренней логичности реальности» достичь тем труднее, чем более непохожи образы и перераспределение первичного материала на существующий порядок Первичного Мира. Такую «реальность» проще построить из материала более «здравого». В результате Фантазия слишком часто не получает должного развития; ее используют и использовали легкомысленно или по крайней мере лишь отчасти всерьез, или только как украшение; она остается всего лишь «причудой». Всякий, кто унаследовал фантастический инструмент языка человеческого, может сказать: «зеленое солнце».

---

[72] Примечания: 72

Это справедливо далеко не для всех снов. В некоторых Фантазия вроде бы играет некую роль. Но такие сны — исключение. Фантазия — деятельность рациональная, а не иррациональная.

И тогда многие способны вообразить его или нарисовать в уме. Но этого недостаточно — хотя это уже нечто более впечатляющее, нежели многие «краткие описания» или «слепки с самой жизни», удостоившиеся хвалебных рецензий.

Но для того чтобы создать Вторичный Мир, в пределах которого зеленое солнце покажется правдоподобным и породит Вторичную Веру, по всей видимости, потребуются и труд, и работа мысли, и всенепременно — особое умение, что-то вроде эльфийского мастерства. Немногие берутся за дело столь непосильное. Однако когда попытка предпринята и цель отчасти достигнута, тогда перед нами — редчайшее из произведений Искусства: речь идет об искусстве повествовательном, сочинительстве в его исходной и наиболее могущественной форме.

В человеческом искусстве Фантазия — то, что лучше предоставить словам, истинной литературе. В живописи, например, зримое представление фантастического образа технически слишком легко достижимо; рука склонна опережать мысли и даже разрушать их[73]. Что зачастую оборачивается глупостью или болезненностью.

---

[73] Примечания: 73
См. *Примечание Е* в конце.

И, к несчастью, Драма, искусство, коренным образом отличное от Литературы, слишком часто рассматривается заодно с нею или как ее разновидность. В числе этих несчастий можно назвать и обесценивание Фантазии. Ибо в какой-то мере это обесценивание подсказано естественным желанием критиков превознести те формы литературы или «воображения», что предпочитают они сами — от природы или в силу полученного образования. А литературная критика в стране, породившей Драматургию столь великую и обладающей трудами Уильяма Шекспира, склонна к чрезмерному драматизму. Но Драма по сути своей враждебна Фантазии. Даже простейшая Фантазия в виде Драмы обычно не удается, если Драма представлена должным образом — разыграна зримо и слышимо. Фантастические формы подделать невозможно. Люди, переодетые в говорящих животных, могут преуспеть в фиглярстве или имитации, но Фантазии они не достигнут. Хорошей тому иллюстрацией, как мне кажется, служит провал побочной формы, пантомимы. Чем ближе пантомима к «инсценированной волшебной сказке», тем она хуже. Терпима она лишь тогда, когда сюжет с его фантазией сведены просто-напросто к остаточному обрамлению фар-

са и ни в одном эпизоде представления никакой «веры» ни от кого не требуется и не ожидается. Это, разумеется, отчасти объясняется тем, что постановщики драмы вынуждены, или пытаются, работать с техникой для воссоздания либо Фантазии, либо Магии. Мне как-то довелось смотреть так называемую «детскую пантомиму», традиционного «Кота в сапогах», причем даже с превращением великана в мышь. Если бы такое превращение удалось осуществить механически, оно либо насмерть перепугало бы зрителей, либо показалось бы первоклассным фокусом. А так, хотя световые эффекты удались недурно, недоверие не то чтобы приостановилось «в подвешенном состоянии» — его немилосердно вздернули, выпотрошили и четвертовали.

При чтении «Макбета» с ведьмами я худо-бедно мирюсь: у них своя сюжетообразующая функция, и зловещий смысл тоже просматривается; хотя их, бедолаг, конечно, здорово опошлили. Но в постановке они почти невыносимы. И были бы совсем невыносимы, если бы меня не поддерживало воспоминание о том, каковы они в тексте пьесы. Говорят, я бы воспринимал все иначе, если бы мыслил как человек того времени, со всеми тогдашними охотами на ведьм и

инквизиционными процессами. То есть если бы я воспринимал ведьм как нечто возможное и даже вполне правдоподобное в Первичном Мире; иными словами, если бы они перестали быть «Фантазией». Аргумент несостоятелен. Если Фантазией попытается воспользоваться драматург, и даже такой, как Шекспир, Фантазии скорее всего суждено развеяться или опошлиться. Действительно, «Макбет» — это творение драматурга, которому следовало, хотя бы в этом случае, написать историю, обладай он необходимым для того талантом или терпением.

Причина более веская, сдается мне, нежели неадекватность сценических эффектов, заключается в следующем: Драма по природе своей уже в некотором роде фикция или по меньшей мере заменитель (скажем так) магии: *зримое и слышимое представление воображаемых персонажей повествования*. Это само по себе — попытка подделать волшебную палочку. Вводить, пусть даже при удачном техническом решении, в этот квазимагический вторичный мир еще толику фантазии или магии — все равно что, так сказать, предлагать внутренний или третий производный мир. Это уже слишком. Создать такое, пожалуй, не то чтобы совсем невозможно. Прав-

да, я в жизни не видел, чтобы в этом преуспели. Но по крайней мере нельзя утверждать, что драма, в которой ходячие и говорящие персонажи стали естественными инструментами Искусства и иллюзии[74], — это драма в типичной для нее форме.

Именно потому, что персонажей и даже отдельные сцены в Драме не воображают, а видят наяву, Драма — при том, что использует она сходный материал (слова, стихи, сюжет), — это искусство, коренным образом отличное от искусства повествовательного. Таким образом, если вы предпочитаете Драму Литературе (подобно многим литературоведам, которые этого и не скрывают) или формируете принципы литературоведения в первую очередь на основании мнения специалистов по драматургии или на основе Драмы как таковой, вы сочинительство чистой воды вообще не поймете и приметесь навязывать ему ограничения сценических пьес. Так, например, вы скорее всего предпочтете вещам характеры, даже самые низкопробные и скучные. Про деревья как таковые в пьесу почитай что ничего и не впихнешь.

---

[74] Примечания: 74
См. *Примечание F* в конце.

А вот «Драма Фаэри» — то есть пьесы, которые, если верить многочисленным свидетельствам, эльфы зачастую представляли перед людьми, — может творить Фантазию, обладающую реальностью и непосредственностью воздействия, далеко превосходящими любую человеческую технику. В результате обычно производимый ими (на человека) эффект таков, что человек выходит за пределы Вторичной Веры. Если вы вступили в драму Фаэри, вы и сами физически находитесь, или полагаете, что находитесь, в ее Вторичном Мире. Ощущение это, возможно, сходно с Грезой, и (по всей видимости) порою их путают (люди). Но в драме Фаэри вы пребываете в грезе, которую ткет иной разум, — причем осознание этого пугающего факта от вас, возможно, и ускользает. Вы соприкасаетесь с Вторичным Миром напрямую: зелье слишком крепко, так что вы верите в увиденное Первичной Верой, сколь бы невероятны ни оказались события. Вы обмануты — а уж эту ли цель преследуют эльфы (всегда или в какой-то определенный момент) — это вопрос другой. Во всяком случае, сами-то они не обманываются. Для них это — вид Искусства, отличный от Ведовства или Магии в прямом смысле этого слова. Эльфы во Вторичном Мире не живут — хотя, наверное,

могут позволить себе тратить на него больше времени, нежели художники-смертные. Первичный Мир, Реальность, для эльфов и людей — одна и та же, пусть воспринимают и оценивают они ее по-разному.

Для обозначения этого эльфийского умения нам потребуется отдельный термин, но все слова, до сих пор для того используемые, точный смысл утратили и употребляются достаточно произвольно. Первое, что приходит в голову, — это слово «Магия», и я им уже воспользовался, хотя делать этого не следовало: словом «Магия» следует обозначать действия Мага. Искусство — это процесс человеческий, порождающий, помимо прочего (ибо это не единственная и не конечная его цель), Вторичную Веру. К такому искусству могут прибегать и эльфы (пусть более умело и непринужденно) — во всяком случае, это вроде бы явствует из многочисленных свидетельств; но мастерство более могущественное и специфически эльфийское я при отсутствии иного, менее спорного слова стану называть Чарами. Чары создают Вторичный Мир, в который могут войти и создатель, и зритель, и мир этот будет восприниматься ими до тех пор, пока они в нем находятся; но это — чистой воды художественное

творение по замыслу и цели. Магия производит, или претендует на то, что производит, изменение в Первичном Мире. И не важно, кто ее якобы использует, фэйри или смертный, — она все равно отлична от первых двух; это не искусство, но технология; и стремится она к *власти* в этом мире, к подчинению сущностей и чужой воли.

Фантазия же стремится к эльфийскому мастерству, к Чарам; из всех видов человеческого искусства удавшаяся Фантазия наиболее приближена именно к ним. В самом сердце многих придуманных человеком историй про эльфов заключается, в явном или скрытом виде, в чистой форме или в виде примеси, стремление к живому, осуществленному искусству вторичного творчества, которое (при всем мнимом внешнем сходстве) внутренне не имеет ничего общего с жадностью до эгоцентричной власти — приметы просто-напросто Мага. Из этого стремления по большей части и созданы эльфы — лучшие из них (и всё же опасные); это от них мы узнаём, каково главное желание и упование человеческой Фантазии, даже (и тем более) если сами эльфы — лишь порождение Фантазии как таковой. Это творческое стремление подделки только сводят на нет, будь то безобидные, но неуклюжие ухищрения

драматурга из рода людей или злонамеренные фальшивки магов. В нашем мире желание это для людей неутолимо — и потому неизбывно. Не будучи искажено, оно не стремится ни к обману, ни к колдовству, ни к подчинению; взыскует оно взаимного обогащения, сподвижников в созидании и радости, а не рабов.

В глазах многих Фантазия — это искусство вторичного творчества, которое играет странные шутки с миром и всем, что в нем есть, соединяя существительные и перераспределяя прилагательные, кажется чем-то подозрительным, если не противозаконным. Кое-кто воспринимает ее как по меньшей мере детский вздор, уместный лишь в ранней юности, — идет ли речь об отдельных людях или целых народах. Что до законности, я ограничусь тем, что процитирую коротенький отрывок из письма, некогда написанного мною человеку, который называл миф и волшебную сказку «ложью»; хотя надо отдать ему должное, он по доброте душевной и в силу непонимания называл сочинительство волшебных сказок «нашептыванием лжи сквозь Серебро».

«О сэр! Хоть человек и отчужден,
Не вовсе пал и умалился он.

В опале он – но и в таком обличье
Хранит лохмотья прежнего величья.
Он – сотворец; в нем отраженный свет,
Как в зеркале, дробится; белый цвет
Дает тонов и красок сочетанья,
Что обретают плоть и очертанья.
Пусть эльфами и гоблинами мы
Заполним мир, пусть из лучей и тьмы
Творим богов, какие нам по нраву,
И их обители – в том наше право
(К добру иль к худу). В мире сотворенном
Творим и мы, верны его законам».

Фантазия — естественная для человека деятельность. Она никоим образом не разрушает Разум и даже не оскорбляет его; она ни притупляет аппетита к научной правде, ни затмевает восприятия таковой. Напротив. Чем острее и яснее разум, тем лучшую фантазию он создает. Ежели бы человек впал в такое состояние, в котором не желал бы знать или не мог воспринять истину (факты или объективные данные), тогда и Фантазия пришла бы в упадок — до тех пор, пока человек не исце-

лится. А если люди и впрямь однажды в такое состояние впадут (похоже, ничего невозможного в том нет), Фантазия погибнет и превратится в Болезненную Манию.

Ибо творческая Фантазия основана на ясном осознании того, что в мире все устроено так, как представляется взгляду под солнцем; на осознании этого факта — но не на слепом подчинении ему. Так на логике основан абсурд, явленный в сказках и стихах Льюиса Кэрролла. Если бы люди и впрямь не видели разницы между лягушкой и человеком, волшебные сказки про королей-лягушек никогда не возникли бы.

Разумеется, Фантазию возможно довести до крайности. Она может быть несовершенной. Ею можно воспользоваться во зло. Она даже может затуманить разум, которым сама же порождена. Но про что человеческое в этом падшем мире не скажешь того же? Люди придумали себе не только эльфов, но навоображали и богов, и принялись им поклоняться, и поклонялись даже тем, что наиболее обезображены порочностью их создателей. Но ложных богов люди творят и из других материалов: из своих убеждений, и знамен, и денег; даже науки и социально-экономические теории требуют человеческих жертв.

Abusus non tollit usum[75]. Фантазия остается правом человека: мы творим в меру отпущенных нам способностей и на вторичном плане, потому что сами мы сотворены: и не просто так, но по образу и подобию Творца.

[75] Примечания: 75
Злоупотребление не отменяет употребления (*лат.*). — *Примеч. пер.*

Исцеление, Бегство, Утешение

Что до старины, идет ли речь о нашем собственном возрасте или о принадлежности к определенной эпохе — возможно, как зачастую полагают, она и в самом деле налагает определенные ограничения. Но это — главным образом мысль, порожденная просто-напросто *изучением* волшебных сказок. Теоретическое изучение сказок столь же плохо готовит к тому, чтобы наслаждаться ими или их сочинять, сколь изучение драматургии всех времен и стран с исторической точки зрения — к тому, чтобы писать пьесы или получать от них удовольствие. Порой это занятие и впрямь вгоняет в тоску. Исследователь того и гляди почувствует, что в результате всех трудов своих собрал лишь несколько листочков (причем многие ныне изорваны или увяли) с необозримой кроны Древа Сказок, коей устлан Лес Дней. Что смысла умножать этот сор? Кто способен измыслить новый лист? Все узоры и формы от почки до развертывания во всей красе листа, все оттенки от весенних до осенних — их люди открыли много лет назад. Но это неправда. Семя дерева можно пересадить в практически любую почву, даже в

почву, настолько пропитанную дымом (по словам Лэнга), как английская. И весна, разумеется, на самом деле ничуть не менее прекрасна оттого, что мы наслышаны о других похожих событиях или видели их своими глазами: сходные события никогда не повторяются в точности, от начала мира и до его конца. Каждый лист — будь то дуб, ясень или терновник — уникальное воплощение заданного узора, а для некоторых именно этот, нынешний год может оказаться тем самым, единственным воплощением, впервые увиденным и осознанным, при том, что дубы одевались в листву на протяжении бессчетных поколений.

Мы не опускаем руки и не бросаем рисовать — по крайней мере не должны — только потому, что все линии — либо изогнутые, либо прямые; и писать красками тоже не бросаем только потому, что «основных» цветов только три. Вероятно, мы и впрямь сделались старше, в том смысле, что мы — наследники и радостей, и умений многих поколений предков в искусстве. Это унаследованное богатство, возможно, заключает в себе опасность — того и гляди, заскучаешь или потянет на оригинальность, а это, чего доброго, приведет к неприятию тонкой прорисовки, изящества узора и «прелестных» оттенков либо к откро-

венным подделкам и заумным переработкам старого материала — к занятию высокоинтеллектуальному и бессердечному. Но истинный путь к бегству от этой усталости — не в нарочитом огрублении, неуклюжести и бесформенности; не в том, чтобы изобразить все в черном цвете, воплощением необузданной жестокости; не в том, чтобы продолжать смешивать цвета, двигаясь от утонченности к серому однообразию и к фантастической усложненности форм, вплоть до нелепости и дальше, к болезненному бреду. Еще до того, как мы достигаем этих пределов, мы уже нуждаемся в исцелении. Нам следует еще раз взглянуть на зеленый цвет — и вновь изумиться (не будучи ими ослепленными) синему, и желтому, и красному. Мы повстречаем кентавра и дракона, а там, быть может, подобно пастухам древности, вдруг увидим овец, собак и лошадей — и волков. В этом исцелении волшебные сказки нам и помогают. Лишь в таком смысле любовь к волшебным сказкам может сделать нас детьми — или помочь сохранить в себе детские качества.

Исцеление (включающее в себя возвращение и восстановление здоровья) — это новообретение, вновь-обретение ясности зрения. Я не говорю «умение видеть вещи такими, какие они есть»

и не припутываю сюда философов — хотя дерзнул бы сказать: «умение видеть вещи такими, какими нам предназначено (или предназначалось встарь) их увидеть» — то есть как нечто вне нас. В любом случае нам не худо бы вымыть окна — чтобы все то, что мы видим ясно, освободилось от тусклого налета обыденности или привычности — освободилось от собственничества. Фантазии всего труднее фокусничать с лицами наших близких; именно на них особенно трудно посмотреть свежим взглядом, подмечая сходство и несходство: ведь это и вправду лица, и притом неповторимые. Эта обыденность на самом деле — расплата за «собственничество»: обыденное или (в дурном смысле) привычное — это все те сущности, что мы «присвоили», юридически или мысленно. Мы говорим, будто их знаем. Они стали — словно вещи, некогда привлекавшие нас своим блеском, или цветом, или формой, мы же прибрали их к рукам и заперли в своей сокровищнице, завладели ими, а завладев, перестали на них смотреть.

Разумеется, волшебные сказки — не единственное средство исцеления или предотвращения утраты. Смирения тоже достаточно. Есть (особенно для смиренных) еще и «Янйефок», или

Фантазия Честертона. «Янйефок» — слово фантастическое, и однако начертано оно в любом городе здешней земли. Это — «Кофейня»; именно так прочтется вывеска, если поглядеть на нее изнутри сквозь стеклянную дверь; именно так одним пасмурным лондонским днем ее увидел Диккенс; а Честертон использовал это слово, чтобы обозначить странность ставших обыденными вещей, внезапно увиденных под неожиданным углом. Такого рода «фантазию» большинство людей, так уж и быть, сочтут более-менее здравой; а недостатка в материале у нее вовеки не будет. Однако, как мне кажется, возможности у нее весьма ограничены: возвращение свежести восприятия — ее единственная заслуга. Слово «Янйефок» вас, возможно, заставит вдруг осознать, что Англия — абсолютно чуждая земля, затерянная либо в некоем далеком минувшем веке, прозреваемом в истории, либо в некоем странном, смутном будущем, досягаемом лишь при помощи машины времени; заставит увидеть, насколько потрясающе необычны и интересны ее обитатели, их обычаи и меню; но только на это она и способна — работать этаким временным телескопом, сфокусированным в одной точке. Творческая фантазия главным образом стремится

достичь иного (а именно создать что-то новое): она, чего доброго, распахнет двери вашей сокровищницы, и все, что там заперто, разлетится точно птицы из клетки. Все драгоценные камни превратятся в цветы или в языки пламени, а тебя предостерегут: все, чем ты владел (и все, что ты знал), опасно и обладает немалым могуществом, и цепи тут бессильны: вольные и дикие, все эти привычные вещи принадлежат тебе не более, чем ты — им.

«Фантастический» элемент в стихах и прозе других разновидностей, даже когда он лишь случаен или играет декоративную роль, такому высвобождению немало содействует. Но не настолько полно, как волшебная сказка, построенная целиком на Фантазии или вокруг нее, ибо Фантазия — ее сердцевина и суть. Фантазия создана из Первичного Мира, но хороший мастер любит свой материал и знает и чувствует глину, камень и дерево так, как позволяет только искусство творения. Когда откован был Грам, в мир явилось холодное железо; через создание Пегаса были возвеличены кони; в Древах Солнца и Луны покрыли себя славой корень и ствол, цветок и плод.

Волшебные сказки имеют дело по большей

части или (лучшие из них) главным образом с вещами простыми и непреложными, Фантазией нетронутыми, — но эти простые сущности благодаря оправе сияют еще ярче. Ибо сочинитель, позволивший себе «повольничать» с Природой, может быть ее возлюбленным, а не рабом. Именно в волшебных историях я впервые распознал могущество слов и открыл для себя чудесную суть таких вещей, как камень, древесина и железо; дерево и трава; дом и огонь; хлеб и вино.

В завершение я рассмотрю Бегство и Утешение, что по природе своей тесно между собою связаны. Хотя волшебные сказки, разумеется, никоим образом не являются единственным средством Бегства, сегодня они — одна из самых очевидных и (в глазах некоторых) вопиющих форм «эскапистской» литературы; потому разумно было бы при их рассмотрении уделить внимание и самому термину «бегство» в литературной критике как таковой.

Я утверждал, что Бегство — одна из основных функций волшебных сказок, и, поскольку я их нисколько не осуждаю, ясно, что того презрительного или жалостливого оттенка, который сегодня так часто вкладывается в слово «Бегство», я не признаю; для такого тона использование

этого слова за пределами литературоведения не дает ни малейших оснований. В том, что противники Бегства называют Реальностью, Бегство, как правило, более чем уместно, а порою даже героично. В реальной жизни осудить за него трудно, разве что побег закончится провалом; а литературоведы воспринимают бегство тем более негативно, чем более оно удалось. Со всей очевидностью мы имеем дело с неправильным словоупотреблением и путаницей в мыслях. Можно ли презирать человека, если, оказавшись в тюрьме, он попытается из нее выбраться и вернуться домой? Или если, не будучи в состоянии бежать, он размышляет и разговаривает о чем угодно, кроме тюремщиков и тюремных стен? Внешний мир отнюдь не стал менее реальным оттого, что узник не может его видеть. Говоря о «Бегстве» в этом смысле, критики неправильно выбрали слово и, более того, путают — причем не всегда по простоте душевной — Бегство Узника с Побегом Дезертира. Точно так же партийный оратор мог бы заклеймить как предательство попытку уйти от страданий фюрерского или любого другого рейха и даже просто недовольство рейхом. Точно так же эти критики, чтобы усугубить путаницу и смешать с грязью своих

противников, клеймят презрением не только дезертирство, но и подлинное Бегство и его обычных спутников, Отвращение, Гнев, Осуждение и Бунт. Они не только отождествляют бегство узника с побегом дезертира; они, похоже, предпочли бы молчаливое соглашательство «предателя» сопротивлению патриота. Если так рассуждать, то достаточно сказать: «Земля, которую вы любили, обречена», — чтобы извинить любое предательство, более того — его возвеличить.

Вот вам небольшой пример: не упомянуть (собственно, не выставить напоказ) в своей истории электрические фонари серийного производства — это Бегство (в таком смысле). Но данный просчет может быть и скорее всего является следствием сознательного отвращения к этому столь типичному продукту Эпохи Роботов, что соединяет в себе сложность и хитроумие технического решения с безобразием и (зачастую) с неполноценным результатом. Такие фонари можно исключить из сказки только потому, что это плохие фонари; и возможно, что один из уроков сказки как раз в осознании этого факта и состоит. Но тут-то и берутся за большую дубинку: дескать, «электрические фонари есть и будут». Давным-давно Честертон совершенно

справедливо заметил: как только он слышит, что нечто «есть и будет», он знает: то, о чем идет речь, вскорости заменят — и станут воспринимать как нечто безнадежно устаревшее и убогое. «Наука, подстегиваемая военными нуждами, движется вперед неумолимым маршем… что-то неизбежно выбрасывая за борт и предвещая новые открытия в использовании электричества» — образчик рекламы. Здесь говорится о том же самом, только более угрожающе. Электрический фонарь и впрямь возможно проигнорировать, просто-напросто потому, что он настолько незначителен и преходящ. В любом случае в волшебных сказках речь идет о вещах куда более постоянных и непреложных. Например, о молнии. Эскапист не столь рабски подчинен прихотям мимолетной моды, как его оппоненты. Он не творит из предметов (каковые с точки зрения разумности вполне возможно счесть «дурными») хозяев или богов, поклоняясь им как чему-то неизбежному и даже «неумолимому». Но его оппоненты, столь скорые на презрение, не имеют никаких гарантий того, что здесь-то он и остановится: что, если эскапист поднимет людей крушить уличные фонари? Ибо у Эскапизма есть еще один, куда более злобный лик: Реакция.

Не так давно — невероятно, но факт! — я слышал, как один клирик из Оксенфорда объявил, что «готов приветствовать» соседство фабрик-автоматов массового производства и рев самим себе мешающих автомобилей, ибо тем самым его университет «вступает в контакт с реальной жизнью». Возможно, он имел в виду следующее: то, как люди живут и работают в XX веке, с пугающей стремительностью приобретает характер все более варварский, и публичная демонстрация этого на улицах Оксфорда может послужить предостережением — невозможно сохранить надолго оазис здравомыслия в пустыне неразумия посредством всего-навсего заборов и оград, не прибегая к наступательным мерам (практическим и интеллектуальным). Боюсь, впрочем, что ничего подобного клирик в виду не имел. В любом случае выражение «реальная жизнь» в данном контексте явно недотягивает до академических стандартов. Мысль о том, что автомобили более «живы», нежели, например, кентавры или драконы, довольно любопытна; утверждать, будто они более «реальны», чем, например, кони, — вздор и нелепость. До чего настоящей, до чего потрясающе живой представляется фабричная труба в сравнении с вязом: вот уж точно отжившие свой

век бедняги, иллюзорные грезы эскаписта!

Со своей стороны, я не в силах убедить себя, что крыша вокзала в Блетчли более «реальна», нежели облака. А как творение рук человеческих она, на мой взгляд, вдохновляет куда менее, нежели легендарный небесный свод. По мне, так мост к платформе номер 4 куда менее интересен, нежели Биврёст, охраняемый Хеймдаллем с Гьяллахорном. В необузданности сердца своего я постоянно задаюсь вопросом: а если бы в воспитании дорожных инженеров фантазия играла роль более значимую, не успешнее ли воспользовались бы они всеми отпущенными им обширными средствами, нежели получается в большинстве случаев? Волшебные сказки, как мне кажется, оказались бы куда лучшими Магистрами Искусств, нежели упомянутый мною университетский преподаватель.

Все то, что он (как я полагаю) и другие (со всей определенностью) называют «серьезной» литературой, — не что иное, как игра под стеклянной крышей у городского бассейна. Волшебные сказки могут изобретать чудовищ, летающих в небе либо живущих в глубинах океана, но по крайней мере те не пытаются бежать с неба или из воды.

А если ненадолго забыть о «фантазии», так я

не думаю, что читателю или сочинителю волшебных сказок вообще стоит стыдиться бегства в архаику: того, что он предпочитает не драконов, но коней, замки, парусные корабли, луки и стрелы; не только эльфов, но рыцарей, королей и священников. Ибо в конце концов для человека разумного вполне возможно по зрелом размышлении (вне всякой связи с волшебной сказкой или рыцарским романом) прийти к осуждению — подразумеваемому по меньшей мере в умолчаниях «эскапистской» литературы — таких «прогрессивных явлений», как фабрики или пулеметы и бомбы, что представляются наиболее естественным и неизбежным, чтобы не сказать «неумолимым», продуктом помянутых фабрик.

«Грубость и безобразие жизни современной Европы» — та самая реальная жизнь, к контакту с которой нам полагается стремиться — «это признак биологической неполноценности, неудовлетворительной или неправомерной ре-

акции на среду»[76]. Самый безумный замок, что когда-либо являлся из сумы великана в сумасброднейшей гэльской сказке, не только гораздо менее безобразен, нежели машинная фабрика, но еще и (говоря современным языком) «в самом реальном смысле» на порядок более реален. Отчего бы нам не бежать от «мрачной ассирийской» абсурдности цилиндров или от морлокского кошмара фабрик — отчего бы нам не осудить их? Ведь их осуждают даже авторы самой эскапистской из всех разновидностей литературы — научной фантастики. Эти пророки зачастую предсказывают (причем многие явно предвкушают) мир, похожий на один огромный вокзал под стеклянной крышей. Но от них, как правило, очень трудно добиться, что именно люди в таком мире-городе станут *делать*. Они, возможно, и откажутся от «полного викторианского облачения» ради про-

[76] Примечания: 76

Кристофер Доусон, «Прогресс и религия», с. 58, 59. Ниже он добавляет: «Полное викторианское облачение из цилиндра и фрака, вне всякого сомнения, в культуре XIX века символизировало нечто важное, символизирует и по сей день, ведь культура эта распространилась по всему миру так, как ни одной моде на одежду прежде не удавалось. Возможно, что наши потомки усмотрят в ней некую мрачную ассирийскую красоту, символ, достойный века безжалостного и великого, ее породившего; но, как бы там ни было, моде этой недостает ясной, очевидной красоты, что необходима любой одежде, ибо, подобно исходной культуре, викторианская мода утратила связь с природой, в том числе и человеческой».

сторных ниспадающих одежд (на молнии), но, по-видимому, станут использовать эту свободу главным образом на то, чтобы забавляться механическими игрушками в быстро приедающейся гонке на повышенной скорости. Судя по некоторым таким рассказам, люди останутся столь же похотливыми, мстительными, алчными, какими были всегда; а идеалы их идеалистов идут не далее великолепных замыслов построить новые города того же типа на других планетах. Вот уж воистину «эпоха усовершенствованных средств для достижения выродившихся целей». Острое осознание уродства и порочности трудов наших — неотъемлемая составляющая главного недуга наших дней, порождающего желание бежать, причем не от жизни, а от современности с ее напастями, которыми мы обязаны лишь самим себе. В результате для нас зло и уродство неразрывно связаны. Нам трудно вообразить себе зло и красоту, слитые воедино. Страх перед прекрасной феей, свойственный эпохам более древним, нам почти недоступен. Что еще более тревожно: добродетель сама по себе лишена подобающей ей красоты. В Фаэри и впрямь возможно вообразить великана-людоеда, обладателя замка, отвратительного, как ночной кошмар (ибо такова злобная

воля великана), но невозможно вообразить себе дом, выстроенный с благими намерениями — таверну, постоялый двор, чертог великодушного и благородного короля, — который при этом был бы тошнотворно уродлив. А в нынешние времена опрометчиво надеяться на иное — разве что дом этот выстроили бы задолго до нас.

Таков, однако, современный и частный (или побочный) «эскапистский» аспект волшебных сказок, объединяющий их с рыцарскими романами и с другими историями из прошлого или о прошлом. Многие истории из прошлого стали притягательно-«эскапистскими» лишь потому, что пришли из тех времен, когда люди, как правило, радовались трудам рук своих, и сохранились до наших дней, когда столь многие преисполнены отвращения ко всему искусственному.

Но есть и другие, куда более серьезные побуждения к «эскапизму», что неизменно возникают в волшебной сказке и в легенде. Есть ужасы гораздо более мрачные, от которых приходится бежать, нежели шум, вонь, жестокость и блажь двигателя внутреннего сгорания. Есть голод, жажда, нищета, боль, страдания, несправедливость, смерть. И даже когда люди не сталкиваются с такого рода бедами, есть еще древние ограничения, бежать от

которых волшебные сказки отчасти и помогают; и есть также исконные стремления и желания (затрагивающие самые корни фантазии) — и здесь сказки предлагают своего рода утоление и утешение. Некоторые из них — вполне простительные слабости или просто любопытство: такие как желание нырнуть, вольно, как рыба, в глубины моря; или тоска по беззвучному, благодатному, практичному полету птицы — тоска, которую не в состоянии утолить самолет, кроме как в те редкие моменты, когда видишь издалека, как он делает вираж на фоне солнца, причем благодаря ветру и расстоянию шума не слышно; то есть именно тогда, когда самолет воображают, а не используют. Но есть желания куда более глубокие: например, желание разговаривать с другими живыми существами. На этом желании, древнем, как Грехопадение, главным образом и основано умение говорить у зверей и прочих существ в волшебных сказках, и особенно — магическое свойство людей понимать их язык. Суть — именно в этом, а вовсе не в «путанице мыслей», приписываемой людям далекого, не отраженного в письменных источниках прошлого, не в предполагаемом «отсутствии ощущения обособ-

ленности от животных»[77]. Острое ощущение этой обособленности уходит в глубокую древность, равно как и ощущение того, что связь была разорвана; странная у нас судьба, и вина лежит на нас. Другие существа — что другие страны, с которыми Человек расторг отношения и теперь глядит на них лишь извне, с расстояния, ибо находится с ними в состоянии войны или тревожного перемирия. Немногим счастливцам дозволено малость попутешествовать за границей; прочим приходится довольствоваться рассказами путешественников. Даже в том, что касается лягушек. Рассуждая об этой довольно-таки странной, но широко распространенной волшебной сказке, «Король-лягушка», Макс Мюллер по своему обыкновению чопорно спрашивает: «Откуда вообще взялась эта сказка? Хотелось бы верить, что люди во все эпохи были достаточно просвещены, чтобы понимать: брак между лягушкой и королевиной дочерью — это нелепость». Воистину хотелось бы верить, что так! Ибо в противном случае в сказке не было бы никакого смысла — ведь она главным образом на ощущении нелепости происходящего и построена. Фольклорные корни (или догадки на

[77] Примечания: 77
См. *Примечание G* в конце.

этот счет) здесь вообще неуместны. Рассуждения о тотемизме здесь вам не помогут. Ибо со всей определенностью, какие бы уж обычаи и верования касательно лягушек и колодцев ни стояли за сюжетом, лягушачье обличие и сохранялось, и сохранилось в волшебной сказке[78] именно в силу того, что было настолько странным, а брак — нелепым до отвращения. Хотя, разумеется, в тех вариантах, что интересуют нас — гэльских, немецких, английских[79], — на самом деле ни о каком браке между принцессой и лягушкой не идет и речи: лягушка оказывается заколдованным принцем. И мораль истории не в том, чтобы воспринимать лягушек как возможных кандидатов в женихи, но в том, что слово нужно держать (даже когда последствия представляются невыносимыми): это правило, вкупе с необходимостью соблюдать запреты, распространяется на всю Волшебную страну. Эта нота звучит в напеве рогов Эльфландии, и не то чтобы тихо.

И наконец, есть еще желание самое древнее и глубокое, есть Великое Бегство: Бегство от Смер-

---

[78] Примечания: 78

Или в группе сходных сказок.

[79] Примечания: 79

«Королева, желавшая испить из некоего Колодца, и Лорганн» (Кэмпбелл, xxiii); «Король-лягушка»; «Девушка и лягушка».

ти. Волшебные сказки содержат в себе немало примеров и вариантов этого, если можно так выразиться, *эскапистского* духа или (как сказал бы я) стремления к *бегству*. Но то же самое можно сказать и об иных историях (что примечательно, вдохновленных наукой), и об иных изысканиях. Волшебные сказки сочиняют люди, а не фэйри. Эльфийские сказки про людей, вне всякого сомнения, насыщены Бегством от Бессмертия. Но наши сказки не всегда могут подняться выше стандартного уровня. Хотя зачастую им это удается. И мало о чем говорят сказки более убедительно, нежели о тяжком бремени такого рода бессмертия или скорее бесконечно повторяющейся жизни, к которой «беглец» стремится. Ибо для того чтобы преподать этот урок, волшебная сказка подходит всего лучше — как встарь, так и сегодня. Джорджа Макдональда тема смерти особенно вдохновляла.

Но «утешение» волшебных сказок содержит в себе и еще один аспект, в придачу к воображаемому утолению древних желаний. Куда более важно Утешение Счастливого Финала. И я бы дерзнул утверждать, что все идеальные волшебные сказки должны заканчиваться счастливо. По крайней мере я бы сказал, что Трагедия — это

истинная форма Драмы, ее высшая функция; а вот в отношении Волшебной Сказки справедливо прямо противоположное. И поскольку у нас, по-видимому, нет слова для обозначения этого противоположного понятия, я назову его «Эвкатастрофа». *Эвкатастрофическая* сказка — это истинная форма волшебной сказки и ее высшая функция.

Утешение волшебными сказками, радость счастливого финала или, точнее, радость благой катастрофы, внезапный «поворот» к радости (ибо на самом-то деле никакого финала у волшебной сказки не бывает)[80]: эта радость — одно из ощущений, что волшебные сказки порождают особенно успешно, — по сути своей не имеет отношения ни к «эскапизму», ни к «бегству». В обрамлении волшебной сказки, или иномирия, — это внезапная чудесная благодать, на повторение которой напрасно рассчитывать. Она не отрицает существования *дискатастрофы*, то есть горя и неудачи: возможность и такого исхода — залог радости спасения; она отрицает (перед лицом многих фактов, если угодно) финальное поражение на вселенском уровне и в этом смысле

[80] Примечания: 80
См. *Примечание H* в конце.

является *евангелием*, благой вестью, дарящей мимолетный отблеск Радости, Радости за пределами стен мира, острой, как горе.

Таков признак хорошей волшебной сказки — сказки более высокого и более совершенного уровня, — какими бы неправдоподобными ни были ее события, какими бы фантастическими или ужасными приключениями она ни изобиловала, когда наступает «поворот», у ребенка или взрослого, ее выслушивающего, перехватывает дыхание, замирает сердце, а на глаза едва не наворачиваются (а то и впрямь наворачиваются) слезы. Подобной силой воздействия обладает любая форма литературного искусства, и все же ощущение это — особого свойства.

Даже современные волшебные сказки способны порою на подобный эффект. Это дело непростое: воздействие зависит от всей сказки в целом, она служит обрамлением «поворота к лучшему» и при этом отражает его великолепие, словно зеркало. Сказка, хоть сколько-то в этом преуспевшая, не вовсе безнадежна, при всех ее недостатках, при всей путанице и невнятности замысла. Даже в «Принце Пригио» — волшебной сказке, вышедшей из-под пера самого Эндрю Лэнга, но во многом неудовлетворительной, этот

эффект присутствует. Когда «все рыцари ожили и, потрясая мечами, закричали: “Да здравствует принц Пригио!”» — эта радость содержит в себе толику того странного мифического свойства волшебной сказки, свойства более великого, нежели описываемые события. В сказке Лэнга ничего подобного не было бы, если бы это описание не включалось в сказочную «фантазию» более серьезную, нежели основное содержание этой истории, в общем и целом куда более легковесное, с полунасмешливой улыбкой придворной, изысканной *Conte*[81]. Серьезная повесть о Фаэри производит впечатление куда более сильное и острое[82]. В таких сказках, когда наступает внезапный «поворот к лучшему», мы видим слепящий отблеск радости, исполнения заветного желания, что на мгновение выходит за пределы рамки, да что там — разрывает саму ткань исто-

[81] Примечания: 81

Для колеблющихся лэнговых весов такое весьма характерно. На поверхностный взгляд сказка подражает «придворной» французской *conte* с сатирическим уклоном, и теккереевской «Розе и Кольцу» в частности, — такая сказка, будучи неглубокой и даже легковесной по природе своей, не производит да и не стремится произвести эффекта столь сильного; но под внешним лоском таится более серьезный дух Лэнга-романтика.

[82] Примечания: 82

Такие сказки Лэнг называл «традиционными» и на самом деле предпочитал их всем прочим.

рии и впускает внутрь луч света.

Семь долгих лет служила я ради тебя,

На стеклянную гору взбиралась я ради тебя,

Кровавую рубашку отжимала я ради тебя,

Неужто ты не проснешься, не поглядишь на меня?

Он услышал — и оборотился к ней[83].

[83] Примечания: 83
«Черный бык Норроуэйский».

Эпилог

Эта «радость», каковую я выбрал как характерный признак настоящей волшебной сказки (или рыцарского романа) или как своего рода печать, их отмечающую, заслуживает более подробного рассмотрения.

Возможно, каждый писатель, создающий вторичный мир, фантазию, каждый творец вторичной реальности в какой-то степени мечтает быть истинным творцом или надеется, что приближается к реальности; надеется, что особое, неповторимое ощущение от его вторичного мира (если не все детали)[84] заимствовано из Реальности или перетекает в нее. Если автор и в самом деле добивается того качества, что подходит под словарное определение «внутренняя логичность реальности», то очень трудно представить себе, как такое может быть, если произведение никоим образом с реальностью не соприкасается. Особое свойство «радости» в удавшейся Фанта-

[84] Примечания: 84

Ибо все детали до одной могут не быть «истинными»: нечасто «вдохновение» оказывается настолько сильным и длительным, чтобы оживить все в целом и не оставить практически ничего банального, скучного и «надуманного».

зии, таким образом, объясняется как внезапный проблеск основополагающей реальности или истины. Это не только «утешение» в горестях сего мира, но еще и чувство удовлетворенности и ответ на вопрос: «Правда ли это?» В самом начале я ответил на этот вопрос иначе (и тоже совершенно справедливо): «Если вы хорошо построили свой малый мир, то да: в вашем мире это правда». Для художника (или для эстетической его составляющей) этого довольно. Но при «эвкатастрофе» мы в мимолетном видении прозреваем, что ответ может быть более значим — может оказаться далеким отблеском или эхом *евангелия*, благой вести реального мира. Это слово и дает некое представление о моем эпилоге. Это — дело серьезное и опасное. С моей стороны затрагивать такую тему куда как самонадеянно; но ежели то, что я говорю, высшей милостью хоть в чем-то справедливо, так это, разумеется, лишь одна из граней бесконечно многообразной истины; и конечна она лишь потому, что способности Человека, ради кого все это делалось, тоже конечны.

Я бы дерзнул утверждать, что, если рассматривать Христианскую Легенду под таким углом, я давно чувствовал (и радостное же это чувство!), что Господь исправил искаженную сущность

сотворенных творцов — нас, людей, — с учетом именно этой способности, равно как и других свойств нашей странной природы. Евангелия содержат в себе волшебную сказку или сказку еще более великую, вобравшую в себя самую суть волшебных сказок. Евангелия содержат немало чудес — исключительно художественных[85], прекрасных и трогательных: «мифических» в своей совершенной, законченной значимости; а в числе чудес — величайшую и совершеннейшую из всех мыслимых эвкатастроф. Но этот сюжет вошел в Историю и в первичный мир; желание и стремление к вторичному творчеству возвысились до воплощения Господнего замысла. Рождение Христа — это эвкатастрофа истории человечества. Воскресение — это эвкатастрофа повести о Воплощении. Эта повесть начинается с радости и радостью завершается. Она превыше всех прочих обладает «внутренней логичностью реальности». Нет и не было другого сказания, в которое люди так стремились бы поверить; нет другой такой повести, что столько скептиков признали бы истиной в силу ее собственных достоинств. Ибо ее Искусство обладает высшей

[85] Примечания: 85

Здесь Искусство представлено скорее в самой сказке, нежели в пересказе таковой; ибо Автором ее были отнюдь не евангелисты.

убедительностью Первичного Искусства, то есть Творения. Отвергая эту повесть, приходишь либо к унынию, либо к гневу.

Нетрудно вообразить себе те неповторимые волнение и радость, что охватят человека, если некая особенно красивая волшебная сказка сбудется на «первичном» плане, а сюжет ее вплетется в историю, не утрачивая при этом былой мифической или аллегорической значимости. Нетрудно, ибо от нас не требуется вообразить нечто неведомого доселе свойства. Радость окажется абсолютно такова же по настрою, если не по степени, как та, что чувствуешь в момент сказочного «поворота к лучшему»: такая радость обладает привкусом первичной истины. (В противном случае она называлась бы иначе.) Она предвкушает впереди (или позади: здесь направление не важно) Великую Эвкатастрофу. Христианская радость, *Gloria*, того же толка; но несказанно (я сказал бы «бесконечно», не будь конечны наши способности) высока и радостна. Потому что это — величайшая из всех сказок, и она — правдива. Искусство прошло проверку на подлинность. Господь — Владыка ангелов, и людей, и — эльфов. История и Легенда сошлись — и слились воедино.

Но в Царстве Божием великое не подавляет малое. Человек спасенный остается человеком. Сказка и фантазия по-прежнему продолжаются — и заканчиваться не должны. Евангелие, благая весть, не отменила легенд; она освятила легенды, в особенности же «счастливый финал». Христианину по-прежнему должно трудиться — и духовно, и телесно; должно страдать, и надеяться, и умереть; но ныне ему дано осознать, что все его склонности и способности преследуют некую цель, причастную искуплению. И столь велика оказанная ему милость, что теперь человек, пожалуй, вправе осмелиться на такое предположение: Фантазией он ни много ни мало как содействует украшению и многократному обогащению сотворенного мира. Все сказки могут однажды сбыться — и тогда наконец, очищенные и возрожденные, они будут так же похожи и непохожи на те формы, что мы им придаем, как Человек спасенный будет похож и непохож на того падшего, которого мы знаем.

Примечания

А

В самой основе их «чудес» (и это касается не только использования) лежит сатира, насмешка над неразумием; и элемент «сна» — это не просто машинерия введения и заключения; он неразрывно связан с действием и переходами от одной темы к другой. Все это дети вполне способны уловить и воспринять — если предоставить их самим себе. Но многим — как было и со мною — «Алиса» преподносится как волшебная сказка, и пока длится это заблуждение, ощущается и неприязнь к машинерии сна. В «Ветре в ивах» о сне не идет и речи. «Все утро Крот трудился в своем маленьком домике не покладая лап: пришла пора весенней уборки». Так рассказ начинается, и этот абсолютно верный тон поддерживается на протяжении всего повествования. Тем более примечательно, что А. А. Милн, столь страстный поклонник этой замечательной книги, предваряет инсценировку «затейливым» прологом: ребенок беседует по телефону с нарциссом. Или, возможно, ничего примечательного в том нет, ибо чуткий поклон-

ник книги (в отличие от страстного поклонника) никогда и пытаться не стал бы ее инсценировать. Естественно, что представить в такой форме возможно лишь простейшие составляющие — пантомиму и сатирические элементы сказки о животных. Пьеса, на низшем уровне драмы, довольно забавна, особенно для тех, кто книгу не прочел; но некоторые дети, которых я водил на «Жаба из Жаб-Холла», вынесли из театра главным образом отвращение к прологу. Что до остального, они предпочли свои воспоминания о книге.

B

Разумеется, такие подробности, как правило, попадали в сказки только потому, что обладали сюжетообразующей ценностью — *даже в те дни, когда подобные обычаи и впрямь существовали*. Если бы я, например, сочинял историю, в которой кого-то вздернули на виселицу, в последующие эпохи, если бы текст сохранился — а это само по себе признак того, что рассказ обладает некоей непреходящей, а не только локальной или временной ценностью, — этот эпизод, *возможно*, послужил бы подтверждением того, что история была написана в тот период, когда и в самом деле существовала юридическая практика казни че-

рез повешение. Я говорю «возможно»: разумеется, в будущем такое заключение самоочевидным отнюдь не покажется. Ибо для вящей уверенности будущему исследователю необходимо будет точно выяснить, когда практиковались повешения и когда именно жил я. Я мог заимствовать эту подробность из иных времен и мест, из других текстов; я мог ее просто-напросто выдумать. Но даже если это заключение по чистой случайности и справедливо, сцена с повешением фигурировала бы в рассказе только при условии, что (*a*) я осознавал, какой драматический, трагический или жуткий эффект оказывает этот эпизод на повествование в целом, и (*b*) те, кто передавал этот мотив из поколения в поколение, ощущали силу его эффекта в достаточной степени, чтобы эпизод сохранить. Временн*ая* дистанция, древность и чужеродность как таковые впоследствии обострили бы трагизм или ужас; но и то и другое должно содержаться в тексте изначально, дабы эльфийскому оселку «старинности» было что править. Так что совершенно бессмысленно (в литературоведении по крайней мере) спрашивать об Ифигении, дочери Агамемнона: в самом ли деле легенда о принесении ее в жертву в Авлиде дошла до нас с тех времен, когда практиковались

человеческие жертвоприношения? Отвечать на такой вопрос тоже смысла нет.

Я говорю «как правило», поскольку то, что сегодня воспринимается как «сказка», возможно, некогда по замыслу являлось чем-то совсем иным: например, записью некоего события или ритуала. «Записью» в прямом смысле этого слова. Сказка, придуманная, чтобы объяснить ритуал (некоторые считают, что такое происходило довольно часто), все равно в первую очередь остается сказкой. Именно такую форму она обретает, и сохранится она (по всей очевидности, надолго пережив ритуал) лишь в силу своих художественных достоинств. В ряде случаев подробности, что сегодня примечательны лишь своей необычностью, некогда, возможно, были настолько привычными и будничными, что попадали в повествование мимоходом, сами собою: как, например, упоминание о том, что человек «приподнял шляпу» или «сел в поезд». Но такие случайные подробности смену повседневных привычек переживают ненадолго. Во всяком случае, во времена устной традиции. В период письменности (и стремительной смены обычаев) рассказ может довольно долго не меняться, и тогда даже пустячные его детали приобретают

оттенок странности и архаичности. Именно таковы по большей части романы Диккенса. Сегодня можно открыть какой-либо из его романов, что был куплен и впервые прочитан тогда, когда в будничной жизни все было в точности так же, как в повествовании, при том, что эти бытовые подробности сегодня уже столь же далеки от нашей повседневных привычек, как, скажем, елизаветинская эпоха. Но современная ситуация — это нечто особое. Антропологи и фольклористы такого рода условий даже вообразить себе не могут. Но если они имеют дело с незафиксированной устной традицией, им тем более следует задуматься о том, что в этом случае они работают с элементами, основная функция которых — сюжетообразующая; и в силу именно этой причины они и сохранились. «Король-лягушка» — это не кредо и не справочник по тотемизму; это занятная сказка с самоочевидной моралью.

C

Насколько мне известно, дети с рано проявившейся склонностью к сочинительству не то чтобы стремятся к написанию именно волшебных сказок, разве что это — практически единственный известный им вид литературы;

и все их такого рода попытки, что характерно, терпят крах. Это форма не простая. Если дети к чему-то и тяготеют, так это к сказке о животных, каковую взрослые зачастую путают с волшебной сказкой. Из всего, что я видел, лучшие истории, написанные детьми, были либо «реалистичны» (по замыслу), либо в качестве персонажей в них фигурировали звери и птицы, что по сути своей являлись зооморфными существами, обычными для сказки о животных. Я так понимаю, эта форма используется настолько часто главным образом потому, что допускает высокую степень реализма: изображение домашней жизни и бесед, детям хорошо знакомых. Однако форма как таковая, как правило, бывает подсказана или даже навязана взрослыми. В литературе, повсеместно предлагаемой детям, — как в плохой, так и в хорошей, — она, как ни странно, преобладает: наверное, взрослые думают, будто эта форма хорошо сочетается с полунаучными книгами по «естественной истории» — книгами про зверей и птиц, что также считаются подобающей пищей для юных умов. И в помощь тут — игрушечные мишки и кролики, в последнее время едва ли не вовсе вытеснившие кукол из детской, даже у девочек. Дети сочиняют саги про своих кукол

— зачастую длинные и прихотливые. Если куклы у них в обличье мишек, персонажами саг станут мишки; но заговорят они как люди.

D

С зоологией и палеонтологией («для детей») меня познакомили столь же рано, как и с Фаэри. Мне показывали картинки с изображением живых зверей и настоящих (как меня уверяли) доисторических животных. «Доисторические» мне понравились больше; они по крайней мере жили давным-давно, а на гипотезу (основанную на данных довольно-таки скудных) всегда падает отблеск фантазии. Но я терпеть не мог, когда мне объясняли, что вот эти-то существа и есть «драконы». До сих пор живо помню, как раздражали меня в детстве заверения поучающих родственников (или подаренных ими книжек), что, дескать, «снежинки — это эльфийские драгоценности» или «снежинки прекраснее эльфийских драгоценностей»; «чудеса океанских глубин куда удивительнее волшебной страны». Дети ощущают разницу, хотя проанализировать ее не способны и рассчитывают на то, что старшие ее объяснят или хотя бы признают; дети не ждут, что взрослые проигнорируют эту

разницу или станут вовсе ее отрицать. Я чутко ощущал красоту «Реальности», но считал, что нечестно смешивать ее с чудесами «Иномирия». Я жадно стремился изучать Природу — пожалуй, даже больше, чем читать волшебные сказки (как правило); но мне совершенно не хотелось, чтобы люди, которые явно полагали, будто в силу какого-то первородного греха я непременно должен предпочитать волшебные сказки, но волею некоей новой религии меня необходимо заставить любить науку, — чтобы эти люди обманом залучали меня в науку и выдворяли из Фаэри. Природа — это, безусловно, школа жизни либо школа вечности (для наиболее одаренных); но некая часть человека «Природе» не принадлежит вовсе и оттого не обязана изучать ее и на самом деле совершенно ею не удовлетворена.

E

Так, в сюрреализме, например, повсеместно присутствует нечто болезненное или тревожное, что в литературных фантазиях встречается довольно редко. Разум, породивший подобные зримые образы, зачастую уже может быть заподозрен в нездоровой впечатлительности, однако это объяснение срабатывает не во всех случаях.

Странное душевное расстройство нередко возникает непосредственно в процессе рисования картин такого рода — состояние, по характеру и осознанию болезненности сходное с ощущениями при высокой температуре, когда разум во всем, что его окружает, видит нечто зловещее и гротескное и с пугающей легкостью множит образ за образом.

Безусловно, я здесь говорю о непосредственном проявлении Фантазии в «изобразительном» искусстве, не об «иллюстрациях» и не о кинематографе. Иллюстрации, как бы хороши они ни были, волшебным сказкам не на пользу. Радикальное отличие всех видов искусства (включая драму), предлагающих зримое представление, от настоящей литературы состоит в том, что они навязывают одну-единственную зримую форму. Литература передает образы напрямую от сознания к сознанию и потому более плодотворна. Она более универсальна — и более ощутимо конкретна. Если литература говорит о хлебе или вине, о камне или дереве, она ссылается на понятия в целом, архетипы как таковые; и при этом каждый из слушателей в своем воображении придаст им индивидуальное личностное воплощение. Если в рассказе говорится: «Он ел хлеб», — режиссер-

постановщик или художник способны показать лишь «ломоть хлеба» в соответствии с собственными предпочтениями и вкусами; но слушатель подумает о хлебе вообще и представит его по-своему. Ежели в рассказе сообщается: «Он поднялся на холм и внизу, в долине, увидел реку», — иллюстратор может уловить, или почти уловить, свое собственное ви'дение такого пейзажа; но любой, кто воспринял эти слова на слух, создаст собственную картину, составленную из всех холмов, рек и долин, когда-либо им виденных, но главным образом — из Холма, Реки и Долины, что впервые воплотили для него это слово.

F

Я, разумеется, в первую очередь имею в виду фантазию форм и зримых очертаний. В драме может идти речь о влиянии на смертных персонажей некоего порожденного Фантазией или Фаэри события, где никакой машинерии не требуется, — можно просто предположить или сообщить, что событие и в самом деле произошло. Но в том, что касается драматического эффекта, это — не фантазия; на первом плане — персонажи-люди, именно к ним приковано внимание. Такого рода драму (примером ее могут послужить некоторые

из пьес Барри) можно использовать в развлекательных целях, или как орудие сатиры, или для озвучивания тех «мыслей», что драматург задумал донести до зрителей-людей. Драма антропоцентрична. Волшебная сказка и Фантазия — не обязательно. Так, например, существует немало историй о том, как мужчины и женщины вдруг исчезали из мира смертных и много лет жили среди фэйри, не замечая хода времени и не старея. «Мэри-Роз» Барри — пьеса как раз на эту тему. Никаких фэйри мы не видим. Перед нашими глазами все время — жестоко терзаемые люди. Несмотря на сентиментальную звездочку и хор ангельских голосов в конце (в опубликованном варианте), это — мучительная пьеса и играючи переделывается в сатанинскую: всего-то и нужно, что заменить (как я однажды видел) «ангельские голоса» в финале на эльфийский зов. Волшебные сказки, драмами не являющиеся, тоже могут пробуждать жалость и ужас — там, где речь идет о жертвах из рода смертных. Но опять-таки не обязательно. В большинстве таких сказок фэйри представлены наравне с людьми. В некоторых историях именно они интерес и вызывают. Многие из коротких фольклорных рассказов о таких происшествиях служат своего рода «свидетель-

ствами» существования фэйри, фрагментами в многовековом накоплении «знаний» о них и об их образе жизни. Страдания людей, вступивших с ними в общение (зачастую умышленно), таким образом, воспринимаются совсем в ином свете. Можно сочинить драму об ученом, пострадавшем в результате радиологических исследований, но о самом радии — вряд ли. Однако интересоваться главным образом радием (не радиологами) вполне возможно — равно как и интересоваться в первую очередь Фаэри (а не муками смертных). В первом случае интерес породит научный труд, во втором — волшебную сказку. А Драме не под силу ни то, ни другое.

G

Отсутствие этого ощущения у людей забытых эпох — чистой воды гипотеза, уж от каких бы диких заблуждений ни страдали наши современники, опустившиеся или просто сбитые с толку. Но не меньше прав на существование имеет гипотеза о том, что некогда это ощущение проявлялось сильнее; причем такое предположение куда лучше согласуется с немногими письменными свидетельствами касательно представлений людей древности на этот счет. Да, фантазии, объ-

единяющие человеческое обличье с образами животных и растений либо наделяющие зверей человеческими способностями, и впрямь уходят корнями в глубокую древность, однако о путанице в мыслях это отнюдь не свидетельствует. А свидетельствует, если угодно, о прямо противоположном. Фантазия не размывает четкие очертания реального мира; Фантазия от них зависит. В том, что касается нашего, западного, мира, то есть Европы, это «ощущение обособленности» на самом-то деле в современности подрывает и ослабляет не фантазия, а научная теория. Не легенды о кентаврах, вервольфах или заколдованных медведях, но гипотезы (или догматические догадки) авторов-ученых, что классифицировали Человека не просто как «животное» — эта совершенно справедливая классификация тоже пришла из далекой древности, — но как «только животное и ничего больше». И в результате восприятие оказалось искажено. Естественная любовь человека не вовсе падшего к животным и человеческое желание «побывать в шкуре» всего живого вышли из установленных рамок. Сегодня есть люди, которые животных любят больше, нежели себе подобных; которым до того жаль овец, что они проклинают пастухов, словно

волков; которые проливают слезы над погибшим боевым конем и чернят павших солдат. Это сегодня, а не в те дни, когда возникали волшебные сказки, мы имеем дело с «отсутствием ощущения обособленности».

Н

Словесная формулировка финала (обычно считается, что такое окончание для волшебной сказки столь же типично, сколь оборот «Некогда в стародавние времена...» в качестве зачина) — «И жили они долго и счастливо до самой смерти» — это искусственный прием. Он никого не в силах обмануть. Такого рода концовки должно уподобить окаймлению и рамкам иллюстраций; они ничуть не больше являются истинным финалом отдельно взятого фрагмента бесшовного Полотна Повествования, нежели рамка служит окончанием воображаемой сцены или створным переплетом Внешнего Мира. Такие формулировки могут быть просты или прихотливы, лаконичны или вычурны — они столь же искусственны и столь же необходимы, как рамы — простые, или резные, или золоченые. «И ежели они не уехали, так живут там и по сей день». «Вот и сказка вся — а вот и серый мышонок; кто его

поймает, сошьет себе шапку». «И жили они долго и счастливо до самой смерти». «А как свадьбу сыграли, так меня домой отослали, в бумажных башмаках да по насыпи из битого стекла».

Такого рода концовки волшебным сказкам подходят как нельзя лучше, ведь такие сказки куда лучше чувствуют и постигают бесконечность Мира Повествования, нежели большинство современных «реалистических» историй, уже втиснутых в тесные пределы их собственного коротенького временного отрезка. Глубокая прореха в бесконечном гобелене обозначается подобающей формулировкой, пусть гротескной или комической. Это благодаря стремительному развитию современной иллюстрации (по большей части фотографической) от полей пришлось отказаться, а «картина» заканчивается теперь там же, где и бумага. Для фотографии такой метод, возможно, и подходит; но для картин, что иллюстрируют волшебную сказку или ею вдохновлены, он абсолютно не годится. Заколдованный лес нуждается в опушке, в четко обозначенной границе. Отпечатать его на всю страницу, как «кадр» Скалистых гор в «Пикчер пост», точно это и впрямь «моментальный снимок» волшебной страны или «мгновенная

зарисовка», — глупость и кощунство.

Что до сказочных зачинов, ничего лучше формулировки «Некогда в стародавние времена…» и придумать нельзя. Эффект ее — мгновенный. Оценить его можно, прочтя, например, волшебную сказку «Ужасная голова» в «Синей книге сказок». Это — пересказ легенды о Персее и горгоне Медузе, сделанный Эндрю Лэнгом. Сказка начинается со слов «Некогда в стародавние времена…», не называя ни года, ни страны, ни героя. Такой подход можно было бы назвать «превращением мифологии в волшебную сказку». Я бы сказал, что это — превращение высокой волшебной сказки (ибо греческая легенда именно такова) в некую специфическую форму, сегодня в нашей стране весьма распространенную: в детскую, или «бабушкину», сказку. Безымянность — не достоинство, но случайность; подражать ей не надо; ибо такая неопределенность — это снижение, искажение в силу забывчивости и неумения. Но безвременность — совсем другое дело. Такое начало не убого, но, напротив, значимо. Оно одним-единственным штрихом создает ощущение необъятного, неисследованного мира времени.

Послесловие

Один из больших плюсов работы книжным иллюстратором — это повод и возможность вернуться к историям, прочитанным много лет назад, и снова их перечитать — зачастую с бо́льшим вниманием к деталям — равно как и насладиться произведениями, которые для меня внове. Некоторые из вещей, вошедших в этот том, я впервые прочел только несколько месяцев назад и пожалел, что у меня их не было под рукой, когда мои дети каждый вечер просили рассказать им перед сном сказку.

Многие самые популярные детские сказки возникают как истории, придуманные для чьих-то конкретных детей, и такой подход — или, если угодно, счастливый случай — порождает поток идей, которые впоследствии, будучи должным образом обработаны, становятся шедеврами классической литературы. В малой прозе и в стихах Толкина я особенно живо ощущаю присутствие автора и его детей. Там есть элементы и события настолько ярко оригинальные, что появиться они могли только в результате наблюдений и непринужденной болтовни двух или нескольких

неуемных фантазеров. Мне видится, что мореход из «Признания» возник, когда автор показывал детям какое-то насекомое, скользящее по поверхности озерца или летящее над водой летним днем, и рассуждал о предстоящих ему приключениях. Мне кажется, именно такие моменты — еще больше, чем фантастические и чудесные образы, — сотворяют то чудо сопричастности, когда идея, возникшая в одной голове, укореняется в другой и на свет рождается новая история или новый персонаж.

Для некоторых стихотворений и сказок характерен более прочувствованный, личностный элегический тон. Я с легкостью могу представить себе, как они сочинялись в кабинете профессора между лекциями и индивидуальными занятиями со студентами в те редкие минуты, когда Толкин мог позволить себе отдохнуть или ему случалось заскучать, — подобно переписчикам, чьи похожие на хайку размышления сохранились на полях старинных рукописей. Каково бы ни было происхождение этих произведений, мне кажется, они удивительным образом приближают меня к автору, и я еще больше восхищаюсь его мастерством рассказчика, ценя легкость изложения и изящество вымысла, которые он привносит в

свои менее значимые вещицы.

Я считаю, что сегодня нам нужны хорошие рассказчики ничуть не меньше, чем в те времена, когда истории передавались из уст в уста; что рассказывание и выслушивание историй замечательно развивает мозг. Качество историй, окружающих нас по мере того, как мы растем и взрослеем, жизненно важно для нашего благополучия так же, как качество еды и здоровая окружающая среда. А что до сотворчества при рассказывании историй — и у нас есть великолепные тому примеры в «Сказках Волшебной страны» — самое прекрасное заключается вот в чем: взаимодействие между рассказчиком и его слушателями подразумевает, что они вместе отправляются в путь, который может завести в самые неожиданные и удивительные места.

Алан Ли